

БОЛШЕВО

литературный историко-краеведческий
АЛЬМАНАХ



2.1992



БОЛШЕВО

литературный историко-краеведческий
АЛЬМАНАХ

Редколлегия:

Ю. А. Тешкин (главный редактор),
Л. М. Горовой (ответственный секретарь),
В. А. Миронов, Б. П. Никитин,
Л. А. Никитина, А. С. Балакин.

Составление и подготовка текста
Ольга Жданова, Маэль Фейнберг.
Макет и оформление — Юлия Голованова.

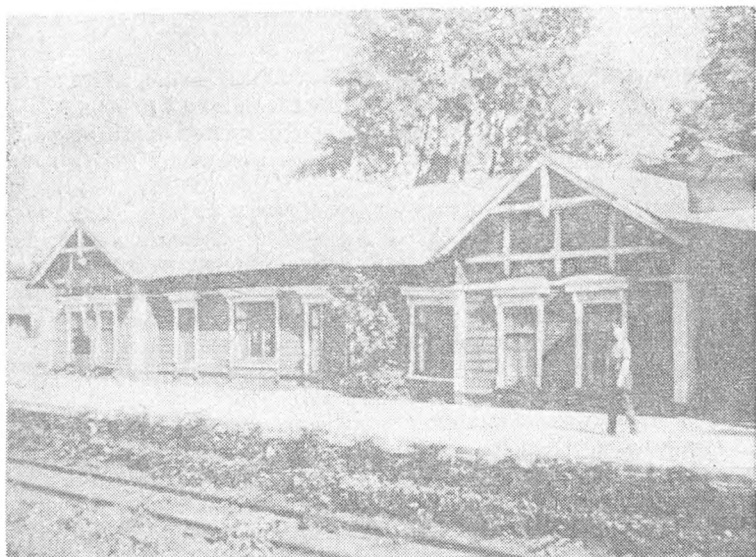
ТОВАРИЩЕСТВО «ПИСАТЕЛЬ»
МОСКВА 1992

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Историко-краеведческий и литературный альманах «Болшево», в задачу которого входит знакомство читателя с историей и современностью, культурой, этого по-своему замечательного места ближнего Подмосковья, рассчитан на широкую аудиторию, поскольку темы и адрес наших публикаций гораздо шире узких территориальных границ.

Так, настоящий выпуск альманаха (вып. 2) целиком посвящен пребыванию М. И. Цветаевой и ее семьи в Болшеве.

- © Составление и подготовка текста
- Жданова, М. Фейнберг, 1992.
- © Макет и оформление Ю. Голованова, 1992.
- © Фотографии, публикуемые впервые, 1992.



Станция «Болшево». (Современная фотография.)

В этом доме жила Марина Цветаева с 19 июня по 11 ноября 1939 года. Поселок «Новый Быт», дача 4/33. Сейчас улица Марины Цветаевой, д. 15. (Современная фотография).

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Марина Цветаева прожила в Болшеве в поселке, носившем название «Новый быт», дача 33/4, с 19 июня по 11 ноября 1939 года. В этом доме к 100-летию со дня рождения поэта открыт музей, а улица переименована — теперь эта улица носит имя Марины Цветаевой.

Судьба всех, кто жил тогда в этом доме в 1938 — 1939 году, сложилась трагически. Сергей Яковлевич Эфрон, Антонина Николаевна и Николай Алексеевич Клепинины, связанные во Франции общей работой на НКВД, были арестованы в 1939 году и в 1941 — расстреляны. Старшие их дети — Ариадна Эфрон и Алексей Сеземан отправлены в лагеря. Прошел лагерь и Дмитрий Сеземан — младший сын Клепининой. Георгий Эфрон, сын Цветаевой, погиб на фронте в 1944 году.

В этот выпуск альманаха включены стихи Цветаевой, ее письма того времени разным адресатам, включая Л. Берия, ее дневниковые записи.

Впервые в нашей стране публикуется статья Сергея Эфрона «О Добровольчестве» и большой его очерк «Октябрь (1917 г.)». Также впервые публикуются вступление и заключение из книги Николая Клепинина «Святой и Благоверный великий князь Александр Невский».

В альманахе собраны письма и воспоминания всех, кто жил тогда на болшевской даче — Ариадны Эфрон, Георгия Эфрона Алексея Сеземана, Дмитрия Сеземана, Софьи Львовой, Ирины Горошевской.

Публикуются воспоминания Нины Гордон.

В отдельном разделе сборника статья швейцарского историка Питера Хубера «Смерть в Лозанне» и отрывок из воспоминаний Эльзы Порецкой, рассказывающий об убийстве ее мужа, советского резидента-невозвращенца Игнатия Рейсса. Публикуется и его письмо в ЦК ВКП.

В статье Н. Катаевой-Лыткиной рассказывается о жизни Цветаевой в Болшеве. В статье М. Фейнберг и Ю. Клюкина опубликованы и документы из реабилитационного дела Сергея Эфрона, Ариадны Эфрон и Клепининых.

В приложении дан новый перевод эпистолярной повести Цветаевой «Девять писем...».

В воспоминаниях, статьях и документах, печатающихся в альманахе, есть повторы, так как речь идет об одних и тех же событиях и людях, все работы были написаны не специально для этого издания. Составители не сочли возможным делать сокращения и давать свои комментарии.

Альманах иллюстрирован фотографиями и документами, многие из которых публикуются впервые.



Марина Цветаева. Москва. 1940 год.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ТЕБЕ — ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу, —
Из самых недр, — как на смерть осужденный,
Своей рукой — пишу:

— Друг! Не ищи меня! Другая мода!
Меня не помнят даже старики.
— Ртом не достать! — Через летейски воды
Протягиваю две руки.

Как два костра, глаза твои я вижу,
Пылающие мне в могилу — в ад, —
Ту видящие, что рукой не движет,
Умершую сто лет назад.

Стихи печатаются по изданиям: Марина Цветаева «Избранные произведения» Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание. М. -Л. 1965. Сост., подг. текста, прим. А. Эфрон и А. Саакянц. и Марина Цветаева «Стихотворения и поэмы» Библиотека поэта. Издание третье. Л. 1990. Сост., подг. текста, прим. Е. Коркина. Марина Цветаева Сочинения т. 1, М. 1980.

Со мной в руке — почти что горстка пыли —
Мои стихи! — я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я — или
 В котором я умру.

На встречах женщин — тех, живых, счастливых, —
Горжусь, как смотришь, и ловлю слова:
— Сборище самозванок! Все мертвы вы!
 Она одна жива!

Я ей служил служеньем добровольца!
Все тайны знал, весь склад ее перстней!
Грабительницы мертвых! Эти кольца
 Украдены у ней!

О, сто моих колец! Мне тянет жилы,
Раскаиваюсь в первый раз,
Что столько я их вкривь и вкось дарила, —
 Тебя не дождалась!

И грустно мне еще, что в этот вечер,
Сегодняшний — так долго шла я вслед
Садящемуся солнцу, — и навстречу
 Тебе — через сто лет.

Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье
Моим друзьям во мглу могил:
— Все восхваляли! Розового платья
 Никто не подарил!

Кто бескорыстней был?! — Нет, я корыстна!
Раз не убьешь, — корысти нет скрывать,
Что я у всех выпрашивала письма,
 Чтоб ночью целовать.

Сказать? — Скажу! Небытие — условность.
Ты мне сейчас — страстнейший из гостей,
И ты откажешь перлу всех любовниц
 Во имя той — костей.

Август 1919

ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Сергею

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце оставляли след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня.
И сердце матери, — вчера.
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам всё вершины были малы
И мягок самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я видела, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...

О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли.

Что́ так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острее —
И весело переходили
В небытие.

26 декабря 1913
Феодосия

С <ЕРГЕЮ> Э <ФРОНУ>

1

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови
И сравни его с собой!
— То усталость голубой,
Ветхой крови.

Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.

Вашего полка — драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь — так он юн!
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

19 июля 1913

Как водоросли Ваши члены,
 Как ветви мальмэзонских ив...
 Так Вы лежали в брызгах пены,
 Рассеянно остановив

На светло-золотистых дынях
 Аквамарин и хризопраз
 Сине-зеленых, серо-синих,
 Всегда полузакрытых глаз.

Летели солнечные стрелы
 И волны — бешеные львы.
 Так Вы лежали, слишком белый
 От нестерпимой синевы...

А за спиной была пустыня
 И где-то станция Джанкой...
 И тихо золотилась дыня.
 Под Вашей длинной рукой.

Так, драгоценный и спокойный,
 Лежите, взглядом не даря,
 Но взглянете — и вспыхнут войны,
 И горы двинутся в моря,

И новые зажгутся луны,
 И лягут радостные львы —
 По наклоненью Вашей юной,
 Великолепной головы.

1 августа 1913

АЛЕ

Ах, несмотря на гаданья друзей,
 Будущее — непроглядно!
 В платьеце — твой вероломный Тезей,
 Маленькая Ариадна!

Аля! — Маленькая тень
 На огромном горизонте.
 Тщетно говорю: не троньте!
 Будет день —

Милый, грустный и большой,
 День, когда от жизни-рядом
 Вся ты оторвешься взглядом
 И душой.

День, когда с пером в руке
Ты на ласку не ответишь.
День, который ты отметишь
В дневнике.

День, когда летя вперед,
— Своенравно! — Без запрета! —
С ветром в комнату войдет —
Больше ветра!

Залу, спящую на вид,
И волшебную как сцена,
Юность Шумана смутит,
И Шопена...

Целый день — на скакуне,
А ночами — черный кофе,
Лорда Байрона в огне
Тонкий профиль.

Метче гибкого хлыста —
Остроумье наготове,
Гневно сдвинутые брови.
И уста.

Прелесть двух огромных глаз,
— Их угроза, их опасность —
Недоступность — гордость — страстность
В первый раз...

Благородным без границ
Станет профиль — слишком белый,
Слишком длинными ресниц
Станут стрелы,

Слишком грустными — углы
Губ изогнутых и длинных.
И движенья рук невинных —
Слишком злы.

Ворожит мое перо!
— Аля! Будет всё, что было:
Так же ново и старо,
Так же мило.

Будет (с сердцем не воюй,
Грудь Дианы и Минервы!)
Будет первый бал и первый
Псцелуй.

Будет «он» (ему сейчас
Года три или четыре...)
— Аля! — Это будет в мире —
В первый раз.

13 ноября 1913
Феодосия

С. Э.

Я с вызовом ношу его кольцо!
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге! —
Чрезмерно узкое его лицо
Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями раскинутых бровей —
Две бездны.

В его лице я рыцарству верна.
— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

3 июня 1914
Коктебель

АЛЕ

Ты будешь невинной, тонкой,
Прелестной — и всем чужой!
Стремительной амазонкой,
Пленительной госпожой,

И косы свои, пожалуй,
Ты будешь носить, как шлем,
Ты будешь царицей бала
И всех молодых поэм.

И многих пронзит, царица,
Насмешливый твой клинок,
И все, что мне — только снится,
Ты будешь иметь у ног.

Всё будет тебе покорно,
И все при тебе — тихи.
Ты будешь, как я — бесспорно —
И лучше — писать стихи...

Но будешь ли ты — кто знает? —
Смертельно виски сжимать,
Как их вот сейчас сжимает
Твоя молодая мать.

5 июня 1914

Четвертый год.
Глаза — как лед.
Брови — уже роковые.
Сегодня впервые
С кремлевских высот
Наблюдаешь ты
Ледоход.

Льдины, льдины
И купола.
Звон золотой,
Серебряный звон.
Руки — скрещены,
Рот — нем.
Брови сдвинув — Наполеон! —
Ты созерцаешь — Кремль.

— Мама, куда — лед идет?
— Вперед, лебеденок!
Мимо дворцов, церквей, ворот —
Вперед, лебеденок!
Синий
Взор — озабочен.
— Ты меня любишь, Марина?
— Очень!
— Навсегда?
— Да.

Скоро — закат,
Скоро — назад:

Тебе — в детскую, мне —
Письма читать дерзкие,
Кусать рот.

А лед
Все
Идет.

24 марта 1916

СТИХИ О МОСКВЕ

1

Облака — вокруг,
Купола — вокруг.
Надо всей Москвой —
Сколько хватит рук! —
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!

В дивном граде сем,
В мирном граде сем,
Где и мертвой мне
Будет радостно, —
Царевать тебе, горевать тебе,
Принимать венец,
О мой первенец!

Ты постом — говей,
Не сурьми бровей,
И все сорок — чти —
Сороков церквей.
Исходи пешком — молодым шажком! —
Все привольное
Семихолмие.

Будет твой черед:
Тоже — дочери
Передашь Москву
С нежной горечью.
Мне же — вольный сон, колокольный звон,
Зори ранние
На Ваганькове.

31 марта 1916

2

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке — все сорок сороков
И реющих над ними голубков;

И Спасские — с цветами — ворота,
Где шапка православного снята;

Часовню звездную — приют от зол —
Где вытертый — от поцелуев — пол;

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил...
— Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916

3

Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат!

Греми, громкое сердце!
Жарко целуй, любовь!
Ох, этот рев зверский!
Дерзкая — ох! — кровь.

Мой — рот — разгарчив,
Даром что свят — вид.
Как золотой ларчик,
Иверская горит.

Ты озорство прикончи
Да засвети свечу,
Чтобы с тобой нонче
Не было — как хочю.

31 марта 1916

4

Настанет день, — печальный, говорят! —
Отцарствуют, отплачут, отгорят, —
Остужены чужими пятаками, —
Мои глаза, подвижные, как пламя.
И — двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит — лик.

О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!

А издали — завижу ли и вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет.
К моей руке, которой больше нет.

На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу — впервые.
Меня окутал с головы до пят,
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску.
Святая у меня сегодня Пасха.

По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.

И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.

11 апреля 1916

5

Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.

Гремучий опрокинулся прибой
Над женщиной, отвергнутой тобой.

Царю Петру и вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари: колокола.

Пока они гремят из синевы —
Неоспоримо первенство Москвы.

— И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!

28 мая 1916

6

Над синевою подмосковных роц
Накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы Калужскою дорогой, —

Калужской — песенной — привычной, и она
Смывает и смывает имена
Смиранных странников, во тьме поющих бога.

И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской, —

Надену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь — и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по Калужской.

Троицын день, 1916

7

Семь холмов — как семь колоколов,
На семи колоколах — колокольни.
Всех счетом: сорок сороков, —
Колокольное семихолмие!

В колокольный я, во червонный день
Иоанна родилась Богослова.
Дом — пряник, а вокруг плетень
И церковки златоголовые.

И любила же, любила же я первый звон —
Как монашки потекут к обедне,
Вой в печке, и жаркий сон,
И знахарку с двора соседнего.

— Провожай же меня, весь московский сброд,
Юродивый, воровской, хлыстовский!
Поп, крепче позаткни мне рот
Колокольной землей московскою!

8 июля 1916

8

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем — нож.
Издайка-далече —
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма.
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
— Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

8 июля 1916
Александров

9

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

16 августа 1916

СТИХИ К ДОЧЕРИ

— Марина! Спасибо за мир!
Дочернее странное слово.
И вот — расступился эфир
Над женщиной светлоголовой.

Но рот напряжен и суров.
Умру, — а восторга не выдам!
Так с неба Господь Саваоф
Внимал молодому Давиду.

Страстной Понедельник 1918

АЛЕ

1

Не знаю — где ты́ и где я́.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!

И так хорошо нам вдвоем —
Бездомным, бессонным и сирым...
Две птицы: чуть встали — поем,
Две странницы: кормимся миром.

2

И бродим с тобой по церквам
Великим — и малым, приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим — и знатным, господским.

Когда-то сказала: — Купи! —
Сверкнув на кремлевские башни.
Кремль — твой от рождения. — Спи,
Мой первенец светлый и страшный.



Марина Цветаева. Париж. Рисунок Ариадны Эфрон.

И как под землю трава
Дружится с рудой железной, —
Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.

Сивилла! — Зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина...

24 августа 1918

Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспоминаньем,

Там, в памяти твоей голубоокой
Затерянным — так далеко-далёко.

Забудешь ты мой профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе папиросы,

И вечный смех мой, коим всех морочу,
И сотню — на руке моей рабочей —

Серебряных перстней, — чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...

Как в страшный год, возвышены Бедою,
Ты — маленькой была, я — молодою.

Ноябрь 1919

Из книги
ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

18 января 1918,
Москва

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
— Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

26 мая 1917

Голубые, как небо, воды,
И серебряных две руки.
Мало лет — и четыре года:
Ты и я — у Москвы-реки.

Лодки плыли, гудки гудели,
Распоясанный брел солдат.
Ребятишки дрались и пели
На отцовский унылый лад.

На ревнителем бога Марса
Ты тихонько кривила рот.
Ледяными глазами барса
Ты глядела на этот сброд.

Был твой лик среди этих, темных,
До сиянья, до блеска — бел.
Не забуду — а ты не вспомнишь —
Как один на тебя глядел.

6 июня 1917

ЮНКЕРАМ, УБИТЫМ В НИЖНЕМ

Сабли взмах —
И вздохнули трубы тяжко —
Провожать
Легкий прах.
С веткой зелени фуражка —
В головах.

Глуше, глуше
Праздный гул.
Отдадим последний долг
Тем кто долгу отдал — душу.
Гул — смолк.
— Слуша-ай! На-кра-ул!

Три фуражки.
Трубный звон.
Рвется сердце.
— Как, без шашки?
Без погон
Офицерских?
Поутру —
В безымянную дыру?

Смолкли трубы.
Доброй ночи —
Вам, разорванные в клочья —
На посту!

17 июля 1917

ДОН

1

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:
Белое тело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...

Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

11 марта 1918

2

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
Где были *вы?* — вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: — На Дону!

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

17 марта 1918
NB! Мои любимые.

3

Волны и молодость — вне закона!
Тронулся Дон. — Погибаем. — Тонем.
Ветру веков доверяем снести
Внукам — лихую весть:

Да! Проломилась донская глыба!
Белая гвардия — да! — погибла.
Но покидая детей и жен,
Но уходя на Дон,

Белою стайей летя на плаху,
Мы за одно умирали: хаты!

Перекрестясь на последний храм,
Белогвардейская рать — векам.
Москва
Благовещение 1918

Белогвардейцы! Гордиев узел
Доблести русской!
Белогвардейцы! Белые грузди
Песенки русской!

Белогвардейцы! Белые звезды!
С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди
В ребра Антихристу!

27 июля 1918

Под рокот гражданских бурь,
В лихую годину,
Даю тебе имя — мир,
В наследье — лазурь.

Отыйди, отыйди, Враг!
Храни, Триединый,
Наследницу вечных благ
Младенца Ирину!

26 августа 1918

Колыбель, оваянная красным!
Колыбель, качаемая чернью!
Гром солдат — вдоль храмов — за вечерней...
А ребенок вырастет прекрасным.

С молоком кормилицы рязанской
Он всосал наследственные блага:
Триединство Господа — и флага,
Русский гимн — и русские пространства.

В нужный день, на Божьем солнце ясном,
Вспомнит долг дворянский и дочерний —
Колыбель, качаемая чернью,
Колыбель, оваянная красным!

26 августа 1918

АЛЕ

В шитой серебром рубашечке,
— Грудь как звездами унизана! —
Голова — цветочной чашечкой
Из серебряного выреза.

Очи — два пустынные озера,
Два Господних откровения —
На лице, туманно-розовом
От Войны и Вдохновения.

Ангел — ничего — всё! — знающий,
Плоть, былинкою довольная,
Ты отца напоминаешь мне —
Тоже Ангела и Воина.

Может — всё мое достоинство —
За руку с тобою странствовать.
— Помолись о нашем Воинстве
Завтра утром, на Казанскую!

5 июля 1919

С. Э.

Хочешь знать, как дни проходят,
Дни мои в стране обид?
Две руки пилою водят,
Сердце — имя говорит.

Эх! Прошел бы ты по дому —
Знал бы! Так в ночи пою,
Точно по чему другому —
Не по дереву — пилю.

И чуют, чуют пилою
Руки — вольные досель.
И метет, метет метлою
Богородица-Метель.

Ноябрь 1919

Дорожкой простонародною,
Смиренною, богоугодною,
Идем — свободные, немодные,
Душой и телом — благородные.

Сбылися древние пророчества:
Где вы — Величества? Высочества?

Мать с дочерью идем — две странницы.
Чернь черная навстречу чванится.
Быть может — вздох от нас останется,
А может, Бог на нас оглянется...

Пусть будет — как *Ему* захочется:
Мы не Величества, Высочества.

Так, скромные, богоугодные,
Душой и телом — благородные,
Дорожкой простонародною —
Так, доченька, к себе на родину:

В страну Мечты и Одиночества —
Где *мы* — Величества, Высочества.

1 октября 1918

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатými —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной ещё совсем не понято,
Что дитя моё в земле.

Первая половина апреля 1920

С. Э.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец, — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! любим! —
Расписывалась радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зжатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

Есть в стане моем — офицерская прямоть,
Есть в ребрах моих — офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.

А зóрю слышу — Отец ты мой рóдный! —
Хоть райские — штурмом — врата!
Как будто нарочно для сумки походной —
Раскинутых плеч широта.

Всё может — какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что-то от этого дня — уцелело:
Я слово беру — на прицел!

И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет — корми — не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.

Сентябрь 1920

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

С <ергею> Э <фрону>

1

В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.

Меж водорослей —
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях — моего!

В заоблачную
Песнопенную высь —
Двумолнием
Осмеливаюсь — и вот

Мне жаворонок
Обронил с высоты —
Что за морем ты,
Не за облаком ты!

2 июля 1921

Жив и здоров!
Громче громов —
Как топором —
Радость!

Нет, топором
Мало: быком
Под обухом
Счастья!

Оглушена,
Устрашена.
Что ж взамен —
Вырвут?

И от колен
Вплоть до корней
Вставших волос —
Ужас.

Стало быть жив?
Веки смежив
Дышишь, зовут —
Слышишь?

Вывез корабль?
О мой журавль
Младший — во всей
Стае!

Мертв — и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом

По голове, —
Нет, по эфес
Шпагою в грудь —
Радость!
3 июля 1921

С <ергею> Э <фрону>

Как по тем донским боям, —
В серединку самую,
По заморским городам
Все с тобой мечта моя.

Со стены сниму кивот
За труху бумажную.
Всё продажное, а вот
Память не продажная.

Нет сосны такой прямой
Во зеленом ельнике.
Оттого что мы с тобой —
Одноколыбельники.

Не для тысячи судеб —
Для единой родимся.
Ближе, чем с ладонью хлеб —
Так с тобою сходимся.

Не унес пожар-потоп
Перстенька червонного!
Ближе, чем с ладонью лоб
В те часы бессонные.

Не возьмем мое вдовство
Ни муки, ни мельника...
Нерушимое родство:
Одноколыбельники.

Знай, в груди моей часы
Как завел — не ржавели.
Знай, на красной на Руси
Все ж самодержавие!

Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.

— Ну-кошь, до меня охоч!
Не зевай, брательники!
Так вдвоем и канем в ночь:
Одноколыбельники.

30 ноября 1921

НОВОГОДНЯЯ

С < ергею > Э < фрону >

Братья! В последний час
Года — за русский
Край наш, живущий — в нас!
Ровно двенадцать раз —
Кружкой о кружку!

За почетную рвань,
За Тамань, за Кубань,
За наш Дон русский,
Старых вер Иордань...
Грянь,
Кружка о кружку!

Товарищи!
Жива еще
Мать — Страсть — Русь!
Товарищи!
Цела еще
В серд — цах Русь!

Братья! Взгляните в даль!
Дельвиг и Пушкин,
Дел и сердец хрусталь...
— Славно, как сталь об сталь —
Кружкой о кружку!

Братства славный обряд —
За наш братственный град
Прагу — до — хрусту!
Грянь, богемская грань!
Грянь,
Кружка о кружку!

Товарищи!
Жива еще
Ступь — стать — сталь.
Товарищи!
Цела еще
В серд — цах — сталь.

Братья! Последний миг!
Уж на опушке
Леса — исчез старик...
Тесно — как клык об клык —
Кружкой о кружку!

Добровольная дань,
Здравствуй, добрая брань!
Еще жив — русский
Бог! Кто верует — встань!
Грянь,
Гружка о кружку!

2 января 1922

С <ергею> Э <фрону>

Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться за грубые руки,
Хватающиеся за хлеб и за соль?
— Товарищества трудовая мозоль!

О, не прихорашивается для встречи
Любовь. — Не прогневайся на просторечье
Речей, — не советовала б пренебречь:
То летописи огнестрельная речь.

Разочаровался? Скажи без боязни!
То — выкорчеванный от дружб и приятней
Дух. — В путаницу якорей и надежд
Прозрения непоправимая брешь!

10 января 1922

Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
Не жалеите: всё сбылось,
Все в груди слилось и — спелось.

Спелось — как вся даль слилась
В стонущей трубе крайны.
Господи! Душа сбылась, —
Умысел твой самый тайный.

Несгорающую соль
Дум моих — ужели пепел
Фениксов отдам за смоль
Временных великолепий?

Да и ты посеребрел,
Спутник мой! К громам и дымам,

К молодым сединам *дел* —
Дум моих причти седины.

Горделивый златоцвет,
Роскошью своей не чванствуй:
Молодым сединам *бед*
Лавр пристал — и дуб гражданский.

Между 17 и 23 сентября 1922.

РАССВЕТ НА РЕЛЬСАХ

Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю.

Из сырости — и свай,
Из сырости — и серости.
Покамест день не встал
И не вмешался стрелочник.

Туман еще *цадит*,
Еще в холсты запахнутый
Спит ломовой гранит,
Полей не видно шахматных...

Из сырости — и стай...
Еще вестями шальными
Лжет вороня сталь —
Еще Москва за шпалами!

Так, под упорством глаз —
Владением бесплотнейшим
Какая разлилась
Россия — в три полотница!

И — шире раскручу:
Невидимыми рельсами
По сырости пуцу
Вагоны с погорельцами:

С пропавшими навек
Для Бога и людей!
(Знак: сорок человек
И восемь лошадей).

Так, посредине шпал,
Где даль шлагбаумом выросла,
Из сырости и шпал,
Из сырости — и сирости,

Покамест день не встал
С его страстями стравленными —
Во всю горизонталь —
Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи:
Даль — да две рельсы синие...
Эй, вон она! — Держи!
По линиям, по линиям...

12 октября 1922

ПОЭТЫ

1

Поэт — издалека заводит речь.
Поэта — далеко заводит речь.

Планетами, приметами, окольных
Притч рытвинами... Между да и нет
Он даже размахнувшись с колокольни
Крюк выморочит... Ибо путь комет —

Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности! — вот связь его! Кверх лбом —
Отчаяться! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто *спрашивает* с парты,
Кто Канта наголову бьет,

Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы — всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...

— ибо путь комет

Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая — взрыв и взлом —
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

8 апреля 1923

2

Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоём.
(Не числящимся в ваших справочниках
Им свалочная яма — дом.)

Есть в мире полые, затолканные,
Немотствующие — навоз,
Гвоздь — вашему подолу шелковому!
Грязь брезгует из-под колес!

Есть в мире мнимые, невидимые:
(Знак: лепрозариумов крап!)
Есть в мире Иовы, что Иову
Завидовали бы — когда б:

Поэты мы — и в рифму с париями,
Но, выступив из берегов,
Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!

22 апреля 1923

3

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям —
Страсти! где насморком
Назван — плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! — как провод! загар! Сибирь!
По наважденьям своим — как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

22 апреля 1923

ПРОКРАСТЬСЯ...

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени

На стенах...

 Может быть — отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.

А может — лучшая потеха
Перстом Севастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха

На урну...

 Может быть — обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...

14 мая 1923

КРЕСТИНЫ

Воды не перетеглил
В чану, зазнобил — как надобно —
Тот поп, что меня крестил.
В ковше плоскодонном, свадебном

Вина не пересластил —
Душа да не шутит брашнами!
Тот поп, что меня крестил
На трудное дело брачное:

Тот поп, что меня венчал.
(Ожжась, поняла, танцовщица,
Что сок твоего, Анчар,
Плода в плоскодонном ковшике

Вкусила...)

 — на вечный пыл
В печи смоляной поэтовой
Крестил — кто меня крестил
Водю неподогретою,

Беспримесным тем вином.
Когда поперхнусь — напомните!
Каким опалюсь огнем?
Всё страсти водою комнатной

Мне кажутся. Трижды прав
Тот пог, что меня обкарнывал.
Каких убоюсь отрав?
Все яды — водой отварною

Мне чудятся. Что мне рок
С его родовыми страхами —
Раз собственные, вдоль щек,
Мне слезы — водою сахарной!

А ты, что меня крестил
Водой исступленной Савловой
(Так Савл, занеся костыль,
Забывчивых останавливал) —

Молись, чтоб тебя простил —
Бог.

1 января 1925

Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится.
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...

Ты, в погудке дождей и бед
То ж, что Гомер — в гексаметре,
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты.

7 мая 1925
Вшеноры

РАЗГОВОР С ГЕНИЕМ

Глыбами — лбу
Лавры похвал.
«Петь не могу!»
— «Будешь!» — «Ппропал,

(На толокно
Переводи!)
Как молоко —
Звук из груди.

Пусто. Суха.
В полную веснь —
Чувство сука«.
— «Старая песнь!

Брось, не морочь!»
«Лучше мне впредь —
Камень толочь!»
— «Тут-то и петь!»

«Что я, снегирь,
Чтобы день-деньской
Петь?»
— «Не моги,
Пташка, а пой!

На зло врагу!»
«Коли двух строк
Свесть не могу?»
— «Кто когда — *мог?!*» —

«Пытка!» — «Терпи!»
«Скошенный луг —
Глотка!» — «Хрипи:
Тоже ведь — звук!»

«Львов, а не жен
Дело». — «*Детей:*
Распотрошен —
Пел же — Орфей!»

«Так и в гробу?»
— «И под доской».
«*Петь* не могу!»
— «*Это* воспой!»

Мёдон
4 июня 1928

СТРАНА

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны — на карте
Нет, в пространстве — нет.

Выпита как с блюда,
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который — срыт?

Заново родися —
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню

Сбросившему! Кости
Целы-то хотя?
Эдакому гостю
Булочник ломтя

Ломанного, плотник —
Гроба не продаст!
...Той ее — *несчетных*
Верст, *небесных* царств,

Той, где на монетах —
Молодость моя —
Той России — нету.

— Как и той меня.

Конец июня 1931
Мёдон

СТИХИ К СЫНУ

1

Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край — всем краям наоборот! —
Куда *назад* идти — *вперед*
Иди, особенно — тебе,
Руси не видывавшее

Дитя мое... Мое? *Ее* —
Дитя! То самое былье,
Которым порастает быль.
Землицу, стершуюся в пыль, —



Ариадна и Сергей Эфрон. Чехия, 1925 год.



Марина Цветаева и Георгий Эфрон. Клармар. 1933 год. (?)

Ужель ребенку в колыбель
Нести в трясущихся горстях:
— «Русь — этот прах, чти — этот прах!»

От неиспытанных утрат —
Иди — куда глаза глядят!
Всех стран — глаза, со всей земли —
Глаза, и синие твои
Глаза, в которые гляжусь:
В глаза, глядящие на Русь.

Да не поклонимся словам!
Русь — прадедам, Россия — нам,
Вам — просветители пещер —
Призывное: СССР, —
Не менее во тьме небес
Призывное, чем: SOS

Нас родина не позовет!
Езжай, мой сын, домой — вперед —
В *свой* край, в *свой* век, в *свой* час, — от нас —
В Россию — вас, в Россию — масс,
В *наш*-час — страну! в *сей*-час — страну!
В на-Марс — страну! в без-нас — страну!
Январь 1932

2

Наша совесть — не ваша совесть!
Полно! — Вольно! — О всем забыв,
Дети, сами пишите повесть
Дней своих и страстей своих.

Соляное семейство Лота —
Вот семейственный ваш альбом!
Дети! Сами сводите счета
С выдаваемым за Содом —

Градом. С братом своим не дравшись —
Дело чисто твое, кудряш!
Ваш край, *ваш* век, *ваш* день, *ваш* час,
Наш грех, *наш* крест, *наш* спор, *наш* —

Гнев. В сиротские пелеринки
Облаченные отродясь —
Перестаньте справлять поминки
По Эдему, в котором вас

Не было! по плодам — и видом
Не видели! Поймите: слеп —
Вас ведущий на панихиду
По народу, который хлеб

Ест, и вам его даст, — как скоро
Из Мёдона — да на Кубань.
Наша ссора — не ваша ссора!
Дети! Сами творите брань

Дней своих.

Январь 1932

3

Не быть тебе нулем
Из молодых — да вредным!
Ни медным королем,
Ни попросту — спортсмедным

Лбом, ни слепцом путей,
Коптителем кают,
Ни парой челюстей,
Которые жуют, —

В сём полагая цель.
Ибо в любую щель —
Я — с моим ветром буйным!
Не быть тебе буржуем.

Ни галльским петухом,
Хвост заложившим в банке,
Ни томным женихом
Седой американки, —

Нет, ни одним из тех,
Дописанных, как лист,
Которым — только смех
Остался, только свист

Достался от отцов!
С той стороны весов
Я — с черноземным грузом!
Не быть тебе французом.

Но также — ни одним
Из нас, досадных внукам!
Кем будешь — Бог один...
Не будешь кем — порукой —

Я, что в тебя — всю Русь
Вкачала — как насосом!
Бог видит — побожусь! —
Не будешь ты отбросом
Страны своей.

22 января 1932

РОДИНА

О неподатливый язык!
Чего бы по-просту — мужик,
Пойми, певал и до меня:
— Россия, родина моя!

Но и с калужского холма
Мне открывалась *она* —
Даль, — тридевятая земля!
Чужбина, родина моя!

Даль, прирожденная, как боль,
Настолько родина и столь
Рок, что повсюду, через всю
Даль — всю ее с собой несу!

Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!»

Со всех до горних звёзд
Меня снимающая мест!

Недаром, голубей воды,
Я далью обдавала лбы.

Ты! Сей руки своей лишусь, —
Хоть двух! Губами подпишусь
На плахе: распрь моих земля —
Гордыня, родина моя!

12 мая 1932

БУЗИНА

Бузина цельный сад залила!
Бузина зелена, зелена!
Зеленее, чем плесень на чане,
Зелена — значит, лето в начале!
Синева — до скончания дней!
Бузина моих глаз зеленей!

А потом — через ночь — костром
Ростопчинским! — в очах красно
От бузиновой пузырячатой трели.
Красней кори на собственном теле
По всем порам твоим, лазорь,
Рассыпающаяся корь

Бузины...
Не звени! Не звени!
Что за краски разведены
В мелкой ягоде, слаще яда!
Кумача, сургуча и ада —
Смесь, коралловых мелких бус —
Блеск, запекшейся крови — вкус!

Бузина казнена, казнена!
Бузина — цельный сад залила
Кровью юных и кровью чистых,
Кровью веточек огнекистых —
Веселейшей из всех кровей:
Кровью сердца — твоей, моей...

А потом — водопад зерна,
А потом — бузина черна,
С чем-то сливовым, с чем-то липким.
Над калиткой, стонавшей скрипкой
Возле дома, который пуст, —
Одинокий бузиновый куст.

Новосёлы моей страны!
Из-за ягоды бузины,
Детской жажды моей багровой,
Из-за древа и из-за слова:
Бузина (по сей день — ночьюми...),
Яда — всосанного очьми...

11 сентября 1931 — 21 мая 1935

СТОЛ

2

Тридцатая годовщина
Союза — верней любви.
Я знаю твои морщины,
Как знаешь и ты мои,

Которых — не ты ли — автор?
Съедавший за дестью десть,
Учивший, что нету — завтра,
Что только сегодня — есть.

И деньги, и письма с почты —
Стол — сбрасывающий — в поток!
Твердивший, что каждой строчки
Сегодня — последний срок.

Грозивший, что счетом ложек
Создателю не воздашь,
Что завтра меня положат —
Дурищу — да на тебя ж!

Около 15 июля 1933 — 29—30 октября 1935

ОТЦАМ

1

В мире, ревущем:
— Слава грядущим!
Что во мне шепчет:
— Слава прошедшим!

Вам, проходящим,
В счет не идущим,
Чад не родящим,
Мне — предыдущим.

С клавишем, с кистью ль
Спорили, с дестью ль
Писчею — чисто
Прожили, с честью.

Белые — краше
Снега сокровищ —
Волосы — вашей
Совести — повесть.

14—15 сентября 1935
Фавьер

Поколенью с сиренью
И с Пасхой в Кремле,
Мой привет поколенью —
По колено в земле,

А сединами — в звездах!
Вам, слышней камыша,
— Чуть зазыблется воздух —
Говорящим: ду — ша!

Только душу и спасшим
Из фамильных богатств —
Современникам старшим,
Вам, без равенств и братств —

Руку веры и дружбы,
Как кавказец — кувшин
С виноградным! — врагу же —
Две протягивавшим!

Не Сиреной — сиренью
Заключенное в грот —
Поколенья — с пареньем!
С тяготением — *от*

Земли, *над* землей, прочь от
И червя и зерна —
Поколенья — без почвы,
Но с такою — до дна

Днища — узренной бездной,
Что из впалых орбит
Ликом девы любезной —
Как живая глядит.

Поколенья, где краше
Был — кто жарче страдал!
Поколенья! Я — ваша!
Продолженья зеркал.

Ваша — сутью и статью,
И почтеньем к уму,
И презрением к платью
Плоги — временному!

Вы, ребенку — поэтом
Обреченному быть —

Кроме звонкой монеты
Всё — внушившие — чтить:

Кроме бога Ваала,
Всех богов — всех времен
— и племен...
Поколению — с провалом —
Мой бессмертный поклон!

Вам, в одном небывалом
Умудрившимся *быть*,
Вам, средь шумного бала
Так умевшим — любить!

До последнего часа
Обращенным к звезде —
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

16 октября 1935
Ванв

СТИХИ К ЧЕХИИ

МАРТ

8

О, слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!

О, черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет,

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

15 марта — 11 мая 1939

Пора снимать янтарь*,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...

февраль 1941

* «Нева», 1982, № 4. Публикация, подготовка текста Е. Б. Коркиной

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

Российскому читателю не известны талантливые высоко ценимые Мариной Цветаевой сочинения Сергея Яковлевича Эфрона. Читателю предлагается вышедшая в эмиграции в начале 20-х годов его статья «О добровольчестве» и «Октябрь 1917 года». Они открывают нам натуру Эфрона, события тех лет и новые факты из жизни поэта. «Лебединый стан» и поэму «Перекоп» Марина Цветаева посвятила Сергею Эфрону: «Моему дорогому и вечному добровольцу». «Добрая воля к смерти» — говорила она.

— Через десять лет забудут!

— Через двести вспомнят!

(МЦ — 1928 г.)

Вспомним через сто лет!

Трагический совместный путь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — высокая сага о беспредельной верности их друг другу, минуя все сиюминутное, поверх всех барьеров. В ее московских записях «Чердачное» есть неразгаданное 18 января: «С марта месяца ничего не знаю о С., последний раз видела его 18-го января 1918 г., как и где — когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает».

В тот же день 18 января стихи:

Я помню ночь и лик пресветлый

В аду солдатского вагона.

Я волосы гоню по ветру,

Я в ларчике храню погоны.

Что было 18 января? Загадку удалось разгадать только после публикации М. Фейнберг и Ю. Клюкиным очерка С. Эфрона «Декабрь 1917 г.»

Эфрон был в опасной разведке, посланный из Новочеркаска в Москву для формирования белого полка.

Каждая такая публикация — бесценный источник наших знаний. Благодаря им мы приближаемся к точности, к правде.

С. Эфрон прошел на передовой весь путь «Ледового похода» до Перекопа и Галлиполи. Гражданская война и Добровольческая Армия начались в первых числах ноября 1917 года из Новочеркаска с генералом Алексеевым и закончились в ноябре 1920 года эвакуацией из Крыма с войсками генерала Врангеля.

Увидим эти события глазами Эфрона.

Добровольчество. «Добрая воля к смерти» (слова поэта), тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и... «белогвардейщина», к.-разведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр. и пр. Где же правда? Кто же они или, вернее, кем были — героями-подвижниками или разбойниками-душегубами? Одни называют их «Георгиями», другие — «Жоржиками».

Я был добровольцем с первого дня и, если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем. Позвольте же мне — добровольцу на вопрос, «где правда», дать попытку ответа.

Как зародилось добровольчество?

Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. Не по физическим испытаниям (тогда еще только начинались), а по непередаваемому чувству распада, расползания, умирания, которое охватило нас всех. Дуновение тлена становилось все явственнее. Дорастерзывали и допредавали. Говорить разучились, вопили.

В ушах — грохот, визг, вопли; перед глазами — ураган, обернувшийся каруселью, а в сердце — смертное томление: не умираю, а умирает.

Это и было началом. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнившим душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающегося добровольчества: — не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать, — лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками. Борьба с ними стала первым лозунгом и *негативной* основой добровольчества.

Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, была Родина. Родина, как идея — бесформенная, безликая, не завтрашний день ее, не «федеративная», или «самодержавная», или «республиканская», или еще какая, а как неопределимая ни одной формулой, и необъемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали русские на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы Российской, — мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины.

Итак — «За Родину, против большевиков.» — было начертано на нашем знамени, и за это знамя тысячи и тысячи положили душу свою и «имена их, Господи, ты един веси!»

О завтрашнем дне мы не думали. Всякое оформление, уточнение казались профанацией. И потом, можно ли было думать о будущем благоустройстве дома, когда все усилия были направлены на преодоление крышки гробовой. Жизнетворчество и формотворчество казались такими далекими во времени, что об этом мы, добровольцы, просто и не говорили.

С этим знаменем было легко умирать — и добровольцы это доказали, — но победить было трудно.



Сергей Яковлевич Эфрон (третий справа во втором ряду). В санитарном поезде. 1915 год.



Прежде всего и с самого начала, мы не обрели народного сочувствия. Добровольчество ни одного дня и часа не было движением народным. С московских кровавых октябрьских дней до последнего Крыма мы ратоборствовали, либо окруженные равнодушием, либо, гораздо чаще, — нелюбовью и ненавистью (исключение казаки, но на то были причины особые).

Народ требовал достоверностей, мы же от достоверностей отворачивались. Мы предлагали умирать за Родину, народ вожделем землю. Отсюда большая народность даже «Махновщины» с лозунгом — «за землю, за мужиков, против большевиков, буржуев и помещиков», и ненародность Добровольчества с нашей «Единой и Неделимой».

О помещиках мы забыли, но они не забыли нас. Белая идея начала обрывать черной плотью. Мы бежали *достоверностей* — достоверность гналась за нами. В то время, как добровольцы прорывались, истекая кровью, вперед к «Единой», за их спинами и могилами жизнь оформлялась и направлялась не народом, а наростшей черной плотью добровольчества. Эта плоть также требовала достоверностей, но противоположных тем, что требовала революционная народная стихия. Тоже земля, но возвращенная прежним владельцам.

А мы назад не оглядывались. До этого ли? Вчера бой, сегодня бой, завтра бой. Вчера — смерть, сегодня — смерть, завтра — смерть. Противник дрогнул, отступает — скорей добить, скорей вперед — туда, к Москве, там все решится, там все устроится к общей радости, к общему благу, к общему счастью.

А сзади — борьба с крестьянами, карательные отряды, порка, виселица, отбирание награбленного. В ответ — стихийная, растущая с каждым часом, ненависть к нам:

— Помещики! — Баре! — Офицеры! — Золотопогонники!

От того, что ползло сзади, мы отмахивались.

— Не важно! — Временные меры! —

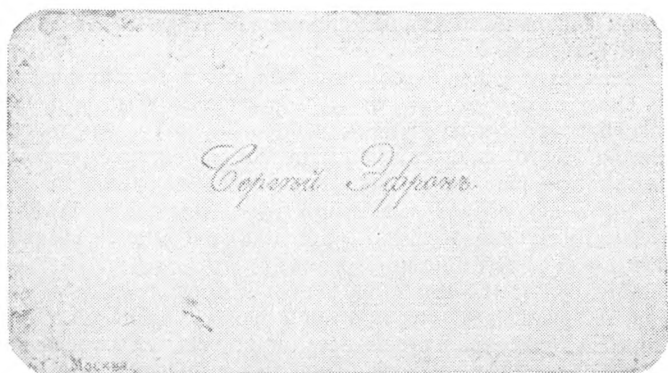
— Всегда так бывает! — В белых перчатках не воюют! — Вот в Москве, там... Скорей в Москву!

Разложение пошло с хвоста. Мы были окружены ненавистью. Оторванные от народа, мы принимали его равнодушие, его недоброжелательство и, наконец, его злобу, как темное непонимание нашей белой цели. Мы за них, а они на нас.

Черная плоть приросла крепко, мы к ней привыкли, перестали замечать ее, а в ответ на равнодушие, недоброжелательство, злобу — равнодушие, недоброжелательство и злоба же. Кто не с нами, тот против нас, — кто против нас, тот против Родины, а потому...

Идея отрывалась от земли все выше. Земля наваливалась на нас всей своей тяжестью.

И опять дух тлена, но уже над нами. С каждым днем черная плоть удушала все теснее, все сильнее захлестывало чувство злобы, мстительности, отчаяния, усталости. Мы изнывали от язв, внутренних и внешних. Малодушные отставали и опускались, сильных косила смерть, а наша цель — Москва, приблизилась, как никогда. Еще



Сергей Яковлевич Эфрон (фрагмент групповой фотографии).

Визитная карточка Сергея Эфрона, найденная на чердаке дома в Борисоглебском переулке, 6. Публикуется впервые.

одно последнее усилие, еще раз, последний раз, напрячь мускулы духа — и мы обретем «Единую и Неделимую».

Но яд проник чересчур глубоко. Гангрена с хвоста, через центр, поползла до действующих полков. Нужный мускул не напрягся, а только судорожно вздрагивал. Удар и... сначала поползла, а потом понесла назад разложив шаяся, мародерствующая, изъязвленная, озлобленная лавина. Орел, Курск, Обоянь, Белгород, Харьков, и дальше, дальше — к Ростову. Последний удар, — за Дон, зализывать раны.

И странно, чем хуже, чем чернее, тем сильнее гордыня. Пьяный мародер бил себя кулаком в грудь и кричал, что он доброволец: взятчик — к.-разведчик, вымогатель, кокаинист, преступник проповедовал «Единую и Неделимую»; начальник государственной стражи, бывший пристав или становой, от которого стонала вверенная ему округа, призывал к исполнению долга и принесению всевозможных жертв на «алтарь Отечества».

На Дону не удержались. От нас отвернулись кубанцы. Ордой переплыли в Крым. Последняя отчаянная попытка. Вчерашний мародер снова пошел умирать, уже не помышляя о грабежах, к.-разведчик сжался и спрятался, нач. государственной стражи присмирел. Землю крестьянам решили отдать за небольшой выкуп.

Но время было упущено. Там, в России, нам уже не верили. Отступающая лавина оставила после себя незабываемый след. Да и от черной плоти мы отделались лишь наполовину. Она не была уничтожена, а лишь притихла, припряталась по углам до лучшего для себя времени.

Четырехмесячная неравная борьба. Опять тысячи и тысячи могил. Смерти, смерти, смерти и... Сброшенные в море, изрыгнутые Россией, добровольцы очутились на пустынном Галлиполийском побережье. Год голодного томления, переезд в Болгарию, Сербию, распыление, постепенное превращение армии в «во рассеянии сущих».

Таков круг добровольчества. Я с умыслом сделал этот краткий обзор пути. Без него нельзя было бы дать ответа, чем же были добровольцы — «Георгиями» или «Жоржиками»?

Мой ответ: «Георгий» продвинул Добровольческую Армию до Орла, «Жоржик» разбил, разложил и оттянул ее до Крыма и дальше, «Георгий» похоронен в русских степях и полях, «положив душу свою за други своя», «Жоржик» жив, здравствует, политиканствует, проповедует злобу и мщенье, источает хулу, брань и бешеную слюну, стреляет в Милюкова, убивает Набокова, кричит на всех перекрестках о долге, любви к Родине, национализме. Первый — лик добровольчества, второй — образина его.

Но не все добровольцы «не-Жоржики» убиты. Тысячи и тысячи их рассеяны по рудникам Болгарии, по полям Сербии, по всем просторам земным не только Европы, но и Афѳрики, Азии, Америки. Многие, может быть, большинство из них, после гражданской войны научились умирать, разучились жить, потеряли вкус к жизни. Святое дело, которому служил, провалилось; жизнь, которую отдавал, осталась; Родина, ради которой шел на подвиг, — отвернулась и отвергла.

И вот, вместо жизни — прозябание, вместо надежды и веры — равнодушие.

Что делать и в чем дело?

Должен оговориться: Я делю добровольчество на «Геоorgia» и на «Жоржика». Но отсюда не следует, что каждый данный доброволец является либо тем, либо другим. Два начала перемешались, переплелись. Часто бывает невозможно установить, где кончается один и начинается другой.

И первейший наш долг и перед Родиной, и перед теми, кто похоронен тысячами в России, и перед самими нами, освободиться, наконец, в себе и во вне, от этого тупого, злого, бездарного Жоржика, застилающего нам глаза запоздавшими на столетия прописями, затыкающего нам уши своими надсадными воплями, — всеми способами мешающего нам всматриваться и вслушиваться в то, что нарождается там, в России.

И первое, что все мы, нежелающие порывать связи с Россией, верящие в нее, должны сделать, — это отбросить, избавиться от гордыни и злости. Не будем бояться язв своих. Чтобы от них избавиться, нужно их обнаружить. А чтобы их обнаружить, нужно обрести смирение. Не скрыть, а вскрыть. Мы потерпели поражение, и поражение это не случайно, оно в нас самих.

Почувствовать собственную вину, собственные ошибки, собственные преступления мы обязаны, если не хотим порвать окончательно связи с Россией, не хотим сделаться духовными изгоями.

Мы не должны самообеляться, взваливая ответственность на вождей. Язвы наши носили общий и стихийный характер. Мы все виноваты: черная плоть, выросшая на нашем попустительстве, сделалась частью нас самих. Мы поддерживали друг друга, питались друг другом, заряжались друг от друга. Мы оказались не обладающими необходимым иммунитетом.

А народ?

Возненавидев большевиков, он не принял и нас, хотя и жаждал власти, порядка и мира. Он пошел своей дорогой — не большевистской и не белой.

И сейчас в России со страшным трудом и жертвами он пробивает себе путь, путь жизни от сжавших его кольцом большевиков.

Мы, научившиеся умирать и разучившиеся жить, должны, освободившись от язв и не устыдившись их, — ибо не ошибается только тот, кто сидит сложа руки (а сколько таких!), — мы должны ожить и напитаться духом живым, обратившись к Родине, к России, к тому началу, что давало нам силу на смерть.

Наш стяг остался прежним. «Все для Родины» должно пребыть, но с добавлением, которое уже не дает возможности повторения старых ошибок:

— «С народом, за Родину!»

Ибо одно от другого неотделимо.



Сергей Яковлевич Эфрон, 1917 год.

ОКТЯБРЬ

(1917 г.)

«...Когда б на то не Божья воля,
не отдали б Москвы!»

Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул «Русские Ведомости» или «Русское слово», не ожидая, после провала корниловского выступления, ничего хорошего.

На первой странице бросилась в глаза напечатанная жирным шрифтом строчка:

— Переворот в Петрограде. Арест членов Временного Правительства. Бои на улицах города.

Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день, и мысль о чем так старательно отгонялась всеми — свершилось.

Предупредив сестру (жена в это время находилась в Крыму) я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели небольшой револьвер Ивер и Джонсон и полетел в полк, где, конечно, должны были собраться офицеры, чтобы сговориться о ближайших действиях.

Я знал наверно, что Москва без борьбы большевикам не достанется. Наступил час, когда должны были выступить с одной стороны большевики, а с другой — все действительное, могущее оказать им сопротивление. Я недооценивал сил большевиков и их поражение казалось мне несомненным.

Мальчишеский задор, соединенный с долго накапливаемой и сдерживаемой энергией, давали себя чувствовать так сильно, что я не мог побороть лихорадочной дрожи.

Ехать в полк надо было к Покровским воротам трамваем. Газетки поминутно вскакивали в вагон, выкрикивая страшную весть.

Глава из книги «Записки добровольца». (Прим. С. Э.).

«На чужой стороне». Историко-литературные сборники под редакцией В. А. Мякотина, при ближайшем участии Е. А. Ляцкого и С. П. Мелгунова. Прага, «Пламя», 1925, XI.

Газеты рвались нарасхват. С жадностью всматривался я в лица, стараясь прочесть в них, как встречается москвичами полученное известие. Замечалось лишь скрытое волнение. Обычно столь легко выявляющие свои чувства, москвичи на этот раз как бы боялись выказать то или иное отношение к случившемуся. В вагоне царило молчание, нарушаемое лишь шелестом перелистываемых газет.

Я не выдержал. Нарочно вынул из кармана газету, сделал вид, что впервые читаю ее и, пробежав несколько строчек, проговорил громче, чем собирался:

— Посмотрим. Москва — не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы.

Сидящий против меня господин улыбнулся и тихо ответил:

— Дай Бог!

Остальные пассажиры хранили молчание. Молчание не иначе мыслящих, а просто не желающих высказаться.

Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии.

Мрачное старое здание Покровских казарм. Перед казармами небольшой плац. Обычный будничный вид. Марширующие шеренги и взводы. Окрики и зычные слова команды.

— Взво-о-од кру-у-гом! Напра-а-во!

«Голову выше!», «Ноги не слышу!» и. т. д.

Будто бы ничего не случилось. В то время как почти наверное уже завтра Москва будет содрогаться от выстрелов.

Прохожу в свою десятую роту. По коридорам подметают уборщицы. Проходящие солдаты отдают честь. При моем появлении в роте раздается полагающаяся команда. Здравуюсь. Отвечают дружно. Подбегает с рапортом дежурный по роте.

Подходит фельдфебель — хитрый хохол Марченко.

— Как дела, Марченко? Все благополучно?

— Так точно, г-н прапорщик. Происшествий никаких не случилось. Все слава Богу.

По уклончивости взгляда и многозначительности интонации — вижу, что он все знает.

— Из г-под офицеров никто не приходил?

— Всех, г-н прапорщик, в собрании найдете. Туда всех созвали.

Оглядываю солдат. Ничего подозрительного не замечаю и направляюсь в офицерское собрание.

В небольшом помещении собрания — давка. С большим трудом протискиваюсь в середину. По лицам вижу, что настроены сдержанно, но решительно. Собрание протекает напряженно, но в полном порядке. Это скорее частное совещание. Командиры батальонов общаются, что по батальонам тихо и никаких выступлений ожидать не приходится. Кто-то из офицеров спрашивает, приглашен ли командир полка*.

* К-р полка обычно на собрании офицеров не присутствует. (Прим. С. Э.)

Его ждут с минуты на минуту. До его прихода офицеры разбиваются на группы и делятся мыслями о случившемся. Большинство наивно уверено в успехе несуществующих антибольшевистских сил.

— Вы подсчитайте только — кипятится молодой прапорщик, в нашем полку триста офицеров, а всего в Московском гарнизоне тысяч до двадцати. Ведь это же громадная сила! Я не беру в счет военных училищ и школ прапорщиков. С одними юнкерами можно всех большевиков из Москвы изгнать.

— А после что? — спрашивает старый капитан Ф.

— Как после что? — возмущается прапорщик. — Да ведь Москва-то, это — все. Мы установим связь с казаками, а через несколько дней вся Россия в наших руках.

— Вы говорите, как ребенок, — начинает сердиться капитан. — Сейчас в Совете Раб. Деп. идет работа по подготовке переворота, и я уверен, что такая же работа идет и в нашем полку. А что мы делаем? Болтаем, болтаем и болтаем. Керенщина проклятая! — и он, с раздражением отмахнувшись, отходит в сторону.

В это время раздается возглас одного из к-ров батальонов: «Господа офицеры!» — Все встают. В собрание торопливо входит в сопровождении адъютанта (впоследствии одного из первых перешедшего к большевикам) командир полка.

Маленький, подвижный и легкий, как на крыльях, с подергивающимся после контузии лицом, с черной повязкой на выбитом глазу, с белым крестиком на груди. Обводит нас пытливым и встревоженным взглядом своего единственного глаза. Мы чувствуем, что он принес нам недобрые вести.

— Простите, господа, что заставил себя ждать, — начинает он при наступившей мертвой тишине. — Но вина в этом не моя, а кто виноват — вы сами узнаете.

В первый раз мы видим его в таком волнении. Говорит он прерывающимся голосом, барабана пальцами по столу.

— Вы должны, конечно, все понимать, сколь серьезно сейчас положение Москвы. Выход из него может быть найден лишь при святом исполнении воинского долга каждым из нас. Мне нечего повторять вам, в чем он заключается. Но, господа, найти верный путь к исполнению долга бывает иногда труднее, чем самое исполнение его. И на нашу долю выпало именно это бремя. Я буду краток. Господа, мы — к-ры полков, предоставлены самим себе. Я беру на себя смелость утверждать, что командующий войсками полковник Рябцов нас предает. Сегодня с утра он скрывается. Мы не могли добиться свидания с ним. У меня есть сведения, что в то же время он находит досуг и возможность вести какие-то таинственные переговоры с главарями предателей. Итак, повторяю, нам придется действовать самостоятельно. Я не могу взять на свою совесть решения всех возникающих вопросов единолично. Поэтому я прошу вас определить свою ближайшую линию поведения. Я кончил. Напомню лишь, что промедление смерти подобно. Противник лихорадочно готовится. Есть ли какие-либо вопросы?

О чем было спрашивать? Все было ясно.

После ухода полковника страсти разгорелись. Часть офицеров требовала немедленного выступления, ареста главнокомандующего, ареста совета, другие склонялись к выжидательной тактике. Были среди нас два офицера, стоявших и на советской платформе.

Проспорив бесплодно два часа, вспомнили, что у нас в Москве есть собственный, отделившийся от рабочих и солдатских — Совет офицерских депутатов. Вспомнили и ухватились, как за якорь спасения. Решили ему подчиниться ввиду измены командующего округом, поставить его об этом в известность и ждать от него указаний. Пока же держать крепкую связь с полком.

Я вышел из казармы вместе с очень молодым и восторженным юношей — прап. М., после собрания пришедшим в возбужденно-воинственное состояние.

— Ах, дорогой С. Я., если бы вы знали, до чего мне хочется поскорее начать наступление. А потом, отдавая должное старшим, я чувствую, что мы, молодежь, временами бываем гораздо мудрее их. Пока старики будут раздумывать, по семи раз примеривая, все не решаясь отмерить — большевики начнут действовать и застанут нас врасплох. Вы идете к себе на Поварскую?

— Да.

— Если вы не торопитесь — пойдемте через город и посмотрим, что там делается.

Я охотно согласился. Наш путь лежал через центральные улицы Москвы. Пройдя несколько кварталов, мы заметили на одном из углов группу прохожих, читавших какое-то объявление. Ускоряем шаги.

Подходим. Свежеприклеенное воззвание Совдепа. Читаем приблизительно следующее:

«Товарищи и граждане!

Налетел девятый вал революции. В Петрограде пролетариат разрушил последний оплот контр-революции. Буржуазное Временное Правительство, защищавшее интересы капиталистов и помещиков, арестовано. Керенский бежал. Мы обращаемся к вам, сознательные рабочие, солдаты и крестьяне Москвы с призывом довершить дело. Очередь за вами. Остатки Правительства скрываются в Москве. Все с оружием в руках — на Скобелевскую площадь к Совету Р. С. и Кр. Деп. Каждый получит определенную задачу.

Ц. И. К. М. С. Р. С. и К. Д.»

Читают молча. Некоторые качают головой. Чувствуется подавленное недоброжелательство и, вместе с тем, нежелание даже жестом проявить свое отношение.

— Черт знает что такое! Негодяи! Что я вам говорил, С. Я.? Они уже начали действовать!

И не ожидая моего ответа, пр. М. срывает воззвание.

— Вот это правильно сделано, — раздается голос позади нас.

Оглядываемся, — здоровенный дворник, в белом фартуке, с метлой в руках, улыбка во все лицо.

— А то, все читают да головами только качают. Руку протянуть, сорвать эту дрянь — бояться.

— Да как же не бояться, — говорит один из читавших с обидой. — Мы что? Махнет раз и нет нас. Господа офицеры — дело другое: у них оружие. Как что — сейчас за шашку. Им и слово сказать побоятся.

— Вы ошибаетесь, — отвечаю я. — Если, не дай Бог, нам придется применить наше оружие для самозащиты, поверьте мне, и наших костей не соберут!

Мой спутник М. пришел в неистовый боевой восторг. Очевидно, ему показалось, что наступил момент открыть военные действия. Он обратился к собравшимся с целой речью, которая заканчивалась призывом — каждому проявить величайшую сопротивляемость «немецким наймитам — большевикам». А в данный час эта сопротивляемость должна была выразиться в дружном и повсеместном срывании большевистских воззваний. Говорил он с воодушевлением искренности и потому убедительно. Его слова были встречены общим, теперь уже не скрываемым, сочувствием.

— Это правильно. Что и говорить!

— На Бога надейся, да сам не плошай!

— Эти бумажонки обязательно срывать нужно. Новое кровопролитство задумали, окаянные!

— Все жиды да немцы — известное дело — им русской крови не жалко. Пусть себе льется ручьями да реками!

Какая-то дама возбужденно пожалала наши руки и объявила, что только на нас, офицеров и надеется.

— У меня у самой — сын под Двинском!

Наша группа стала обрастать.

Я еле вытянул М., который готов был разразиться новой речью.

— Знаете, С. Я., — мы теперь будем идти и по дороге все объявления срывать! — объявил он мне с горящими глазами.

Мы пошли через Лубянку и Кузнецкий мост. В городе было еще совсем тихо, но несмотря на тишину — налет всеобщего ожидания. Прохожие внимательно осматривали друг друга; на малейший шум, гудок автомобиля, окрик извозчика — оглядывались. Взгляды скрецивались. Каждое лицо казалось иным — любопытным: свой или враг?

Обычная жизнь шла своим чередом. Нарядные дамы с покупками, спешащий куда-то деловой люд, даже фланеры Кузнецкого моста вышли на свою традиционную прогулку (время было между 3-мя и 4-мя).

Мы с М. не пропустили ни одного воззвания.

Здесь прохожие — сплошь «буржуи», не стесняясь, выражали свои чувства. На некоторых домах мы находили лишь обрывки воззваний: нас уже опередили.

С Дмитровки свернули влево и пошли Охотным рядом к Тверской, с тем чтобы выйти на Скобелевскую площадь — сборный пункт

большевиков. Здесь характер толпы уже резко изменился. «Буржуазии» было совсем мало. Группами шли солдаты в расстегнутых шинелях, с винтовками и без винтовок. Попадались и рабочие, но терялись в общей солдатской массе. Все шли в одном направлении — к Тверской. На нас злобно и подозрительно поглядывали, но затрагивать боялись.

Я уже начал раздумывать — стоит ли идти на Тверскую, как неожиданное происшествие заставило нас ознакомиться на собственной шкуре с тем, что происходило не только на Тверской, но и в самом Совдепе.

На углу Тверской и Охотного ряда группа солдат, человек в десять, остановилась перед злополучным воззванием. Один из них громко читает его вслух.

— С. Я., это-то воззвание мы должны сорвать!

Слова эти были так произнесены, что я не посмел возразить, хотя и почувствовал, что сейчас мы совершим вещь бесполезную и непоправимую.

Подходим. Солдат, читавший вслух, умолкает. Остальные с задорным любопытством нас оглядывают. Когда мы делаем движение подойти ближе к воззванию — со злой готовностью расступаются (прочитай моё, что тут про вашего брата-кровопивца написано).

На этот раз протягиваю руку я. И сейчас ясно помню холодок в спине и пронзительную мысль: это — самоубийство. Но мною уже владеет не мысль, а протянутая рука.

Раз! Комкаю бумагу, бросаю и медленно выхожу из круга, глядя через головы солдат. Рядом — звонкие шаги М., позади — тишина. Тишина, от которой сердце сжалось. Знаю, что позади много солдатских голов смотрят нам вслед и что через мгновение начнется страшное и неминуемое. Помогите, Господи!

Скашиваю глаза в сторону пр. М. Лицо его мертвенно бледно. И ободряющая мысль — «хорошо, что мы вдвоем» (громадная сила — «вдвоем»).

Мы успели сделать по Тверской шагов десять, не меньше. И вот... Позади гул голосов, потом крик:

— Держи их, товарищи! Утякут, сволочи!

Брань, крики и топот тяжелых сапог.

Останавливаемся и резко оборачиваемся в сторону погони. Опускаю руку в боковой карман и нащупываю револьвер. Быстро шепчу М-у:

— «Вы молчите. Говорить буду я». (Я знал, что говорить с ними он не сумеет.)

Первая минута была самой тяжелой. К чему готовиться? Ожидая, что солдаты набросятся на нас, я порешил при первом нанесенном мне ударе выстрелить в нанесшего удар, а потом — в себя.

Нас с воплями окружили.

— Что с ними разговаривать! Бей их, товарищи! — кричали напиравшие сзади.

Передние, стоявшие вплотную к нам, кричали меньше и, очевидно, не совсем знали, что с нами делать. Необходимо было инициативу взять на себя. Чувство самосохранения помогло мне крепко овладеть собой. По предшествующему опыту (дисциплинарный суд, комитеты и пр.) я знал, что для достижения успеха необходимо непременно направлять внимание солдат в желательную для себя сторону.

— Чего вы от нас хотите? — спрашиваю, как могу спокойнее.

В ответ крики:

— Он еще спрашивает!

— Сорвал и спрашивать смеет!

— Что с ними св... разговаривать! Бей их! — напирают задние.

— Убить нас всегда успеете. Мы в вашей власти. Вас много, всю улицу запрудили, нас — двое.

Слова мои действуют. Солдаты стихают. Пользуюсь этой передышкой и задаю толпе вопросы — лучший способ успокоить ее.

— Вас возмущает, что я сорвал воззвание. Но иначе я поступить не мог. Присягали вы Временному Правительству?

— Ну и присягали! Мы и царю присягали!

— Царь отрекся от престола и этим снял с вас присягу. Отреклось Временное Правительство от власти?

Последние слова приняты совсем неожиданно.

— А! Царя вспомнил! Про царя заговорил! Вот они кто! Царя захотели!

И опять дружный вопль:

— Бей их!

Но первая минута прошла. Теперь, несмотря на вопли, стало легче. То, что сразу на нас не набросились, давало надежду. Главное — оттянуть время.

Покрывая их голоса, кричу:

— Если вы не признаете власти Временного Правительства, какую же вы власть признаете?

— Известно какую! Не вашу — офицерскую! Советы — вот наша власть!

— Если Совет признаете — идемте в Совет! Пусть там нас рассудят, кто прав, кто виноват.

На генерал-губернаторский дом я рассчитывал, как на возможность бегства. Я знал приблизительное расположение комнат, ибо ранее приходилось несколько раз быть там начальником караула.

К этому времени вокруг нас образовалась большая толпа. Я заметил при этом, что вновь прибывающие были гораздо свирепее других настроены.

— Итак, коли вы Советы признали — идем в Совет. А здесь на улице нам делать нечего.

Я сделал верный ход. Толпа загалдела. Одни кричали, что с нами нужно здесь же покончить, другие стояли за расправу в Совете, остальные просто бранились.

— Долго мы здесь стоять будем? Или своего Совета боитесь?

— Чего ты нас Советом пугаешь? Думаете, вашего брата там по

головке поглядят? Как бы не так! Там вам и кончание придет. Ведем их, товарищи, взаправду в Совет! До него тут рукой подать.

Самое трудное было сделано.

— В Совет так в Совет!

Мы первые двинулись по направлению к Скобелевской площади. За нами гудящая толпа солдат.

Начинались сумерки. Народу на улицах было много.

На шум толпы выбегали из кафе, магазинов и домов. Для Москвы, до сего времени настроенной мирно, вид возбужденной, гудящей толпы, ведущей двух офицеров, был необычен.

Никогда не забуду взглядов, бросаемых нам вслед прохожими и особенно женщинами. На нас смотрели, как на обреченных. Тут было и любопытство, и жалость, и бессильное желание нам помочь. Все глаза были обращены на нас, но ни одного слова, ни одного движения в нашу защиту.

Правда, один неожиданно за нас вступился. С виду приказчик или парикмахер — маленький тщедушный человечек в запыленном котелке. Он забежал вперед, минуту шел с толпой и вдруг, волнуясь и заикаясь заговорил:

— Куда вы их ведете, товарищи? Что они вам сделали? Посмотрите на них. Совсем молодые люди. Мальчики. Если и сделали что, то по глупости. Пожалейте их. Отпустите!

— Это еще что за защитник явился? Тебе чего здесь нужно? Мать твою так и так — видно жить тебе надоело! А ну, пойдём с нами!

Котелок сразу осел и замахал испуганно руками.

— Что вы, товарищи? Я разве что сказал? Я ничего не говорю. Вам лучше знать... И он, нырнув в толпу, скрылся.

Неподалеку от Совета я чуть было окончательно не погубил дела. Я увидел в порядке идущую по Тверской полуроту нашего полка под командой молоденького прапорщика, лишь недавно прибывшего из училища. Меня окрылила надежда. Когда голова отряда поровнялась с нами, я, быстро сойдя с тротуара, остановил его (это был наряд, возвращающийся с какого-то дежурства). Перепуганный прапорщик, ведший роту, смотрел на меня с ужасом, не понимая моих намерений.

Но нельзя было терять времени. Толпа, увидав стройные ряды солдат, стихла.

Я обратился к полуроте.

— Праздношатающиеся по улицам солдаты, в то время как вы исполняли свой долг, неся наряд, задержали двоих ваших офицеров. Считаете ли вы их вправе задерживать нас?

— Нет! Нет! — единодушный и дружный ответ.

— Для чего же у нас тогда комитеты и дисциплинарные суды, избранные вами?

— Правильно! Правильно!

Я совершил непоправимую ошибку. Мне нужно было сейчас

же повести под своей командой солдат в казармы. Нас, конечно, никто не посмел бы тронуть. Вместо этого я проговорил еще не менее двух минут. Опомнившаяся от неожиданности толпа начала просачиваться в ряды роты. Снова раздались враждебные нам голоса.

— Вы их не слушайте, товарищи! Неужто против своих пойдете? — Они тут на всю улицу царя вспоминали! — А мы их в Совет ведем. Там дело разберут! — Наш Совет — солдатский! Или Совету не доверяете?

Время было упущено. Кое-кто из роты заговорил уже по-новому:

— А и правда, братцы! Коли ведут, значит за дело ведут. Нам нечего мешаться. В Совете, там разберут!

— Правильно! — так же дружно, как мне, ответили солдаты.

Говорить с ними было бесполезно. Передо мною была уже не рота, а толпа. Наши солдаты стояли вперемежку с чужими. Во мне поднялась злоба, победившая и страх и волнение.

— Запомните, что вы своих офицеров предали! Идем в Совет!

До Совета было рукой подать, что не дало возможности сызнава разъярившейся толпе с нами расправиться.

Скобелевская площадь оцеплена солдатами. Первые красные войска Москвы. Узнаю автомобилистов.

— Кто такие? Куда идете?

— Арестованных офицеров ведем. Про царя говорили. Объявления советские срывали.

— Чего же привели эту с...? Прикончить нужно было. Если всех собирать, то и места для них не хватит! Кто же проведет их в Совет? Не всей же толпой идти!

Отделяется человек пять-шесть. Узнаю среди них тех, что нас первыми задержали. Ведут через площадь, осыпая неистовой бранью. Толпа остается на Тверской. Я облегченно вздыхаю — от толпы отделались.

Подымаемся по знакомой лестнице генерал-губернаторского дома. Провожатым — кто-то из местных.

Проходим ряд комнат. Мирная канцелярская обстановка. Столы, заваленные бумагами. Барышни, неистово выстукивающие на машинках, спящие молодые люди с папками. Нас провожают удивленными взглядами.

У меня снова появляется надежда на счастливый исход. Чересчур здесь мирно.

Дверь с надписью: «Дежурный член И.К.».

Входим. Почти пустая комната. С потолка свешивается старинная хрустальная люстра. За единственным столом сидит солдат — что-то пишет.

Подымает голову. Лицо интеллигентное, мягкое. Удивленно смотрит на нас.

— В чем дело?

— Мы, товарищ, к вам арестованных офицеров привели. Ваши

объявления срывали. Про царя говорили. А дорогой, как вели, сопротивление оказали — бежать хотели.

— Пустили в ход оружие? — хмурится член И.К.

— Никак нет. Роту свою встретили, уговаривали освободить их.

— Та-а-ак-с — тянет солдат. — Ну, вот что — я сейчас сниму с вас показания, а господа офицеры (!!!) свои сами напишут.

Он подал нам лист бумаги:

— Пусть напишет один из вас, а подпишутся оба.

Нагибаюсь к М. и шепчу:

— Боюсь верить, но, кажется, спасены!

Быстро заполняю лист и слушаю, какую ахинею несут про нас солдаты. Оказывается, кроме сорванного объявления за нами числится: монархическая агитация, возглас — «Мы и ваше Учредительное собрание сорвем, как этот листок», призыв к встретившейся роте выступить против Совета.

Член И.К. все старательно заносит на бумагу. Опрос окончен.

— Благодарю вас, товарищи, за исполнение вашего революционного долга, — обращается к солдатам член комитета. — Вы можете идти. Когда нужно будет, мы вас вызовем.

Солдаты мнутяся.

— Как же так, товарищ. Вели мы их, вели, и даже не знаем, как вы их накажете.

— Будет суд, вас вызовут, тогда узнаете. А теперь идите. И без вас много дела.

Солдаты, разочарованные, уходят.

— Что же мне теперь с вами делать? — обращается к нам с улыбой член комитета по прочтении моего показания.

— Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту. Мы еще не победители, а потому не являемся носителями власти. Борьба еще впереди. Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова. Сейчас вы срывали наши. Но, — он с минутку помолчал, — у нас есть исполнительный орган — «семерка», которая настроена далеко не так, как я. И если вы попадете в ее руки — вам уже отсюда не выбраться.

Я не верил ушам своим.

— Что же вы собираетесь с нами делать? — спрашиваю.

— Что делать? Да попытаюсь вас выпустить.

У меня мелькнула мысль, не провоцирует ли он. Если нас выпустят — на улице мы неминуемо будем узнаны и, на этот раз, неминуемо растерзаны.

— Лучше арестуйте нас, а на верный самосуд мы не выйдем.

Он задумывается.

— Да, вы правы. Вам одним выходить нельзя. Но мы это устроим — я вас провожу до трамвая.

В это время открывается дверь и в комнату входит солдат сомнительной внешности. Отсмотрев нас с головы до ног, он обращается к члену комитета.

— Товарищ, это арестованные офицеры?

— Да.

— Не забудьте про постановление «семерки» — всех арестованных направлять к ней.

— Знаю, знаю. Я только сниму с них допрос наверху. Идемте.

Мы поднялись по темной, крутой леснице. Входим в большую комнату с длинным столом, за которым заседают человек двадцать штатских, военных и женщин. На нас никто не обращает внимания. Наш провожатый подходит к одному из сидящих и что-то шепчет ему на ухо. Тот, оглядывая нас, кивает головой. До меня долетает фраза произносящего речь лохматого человека в пенсне:

«Товарищи, я предупреждал вас, что С.-Р. нас подведет. Вот телеграмма. Они предают нас»...

Возвращается наш спутник. Проходим в следующую комнату. Там на кожаном диване сидят трое: подпоручик, ни разу не поднявший на нас глаз, еврей — военный врач и бессловесный молодой рабочий.

Член комитета рассказывает о нашем задержании и своем желании нас выпустить. Возражений нет. Мне кажется, что на нас пошматривают с большим смущением.

Но опять испытание. В комнату быстро входит солдат, напоминавший о постановлении «семерки».

— Что же это вы задержанных офицеров вниз не ведете? «Семерка» ждет.

— Надоели вы со своей «семеркой»!

— Вы подрываете дисциплину!

— Никакой дисциплины я не подрываю. У меня у самого голова на плечах есть. Задерживать офицеров за то, что они сорвали наше воззвание — идиотизм. Тогда придется всех офицеров Москвы задержать.

Представитель «семерки» смирно смотрит в нашу сторону.

— Можно быть Александрами Македонскими, но зачем же наши возвания срывать?

Я не могу удержать улыбки.

Еще минут пять солдата уговаривают еврей-доктор, рабочий и член комитета. Наконец, он, махнув рукой и хлопнув дверью, выходит:

— Делайте, как знаете!

Опять идем коридорами и лестницами — впереди член комитета, позади я с М. Думали выйти черным ходом — заперто. Нужно идти через вестибюль.

При нашем появлении солдаты на площади гудом:

— Арестованных ведут! Куда ведете, товарищ?

— На допрос — в комитет, а оттуда в Бутырки.

— Так их, таких-сяких! Попили нашей кровушки. Как бы только не удрали!

— Не удерут!

Мы идем мимо тверской гауптвахты к трамваю. На остановке прощаемся с нашим провожатым.

— Благодарите Бога, что все так кончилось, — говорит он нам. — Но я вас буду просить об одном: не срывайте наших объявлений. Этим вы ничего, кроме дурного, не достигнете. Воззваний у нас хватит. А офицерам вы сегодня очень повредили. Солдаты, что вас задержали, теперь ищут случая, чтобы придрататься к кому-нибудь из носящих золотые погоны.

Приближался трамвай. Я пожал его руку.

— Мне трудно благодарить вас, — проговорил я торопливо. — Если бы все большевики были такими, — словом... Мне хотелось бы когда-нибудь помочь вам в той же мере. Назовите мне вашу фамилию.

Он назвал, и мы расстались.

В трамвае то же, что сегодня утром. Тишина. Будничные лица.

Во все время нашей истории я старался не смотреть на М. Тут впервые посмотрел ему прямо в глаза. Он покраснел, улыбнулся и вдруг рассмеялся. Смеется и остановиться не может. Начинаю смеяться и я.

Сквозь смех М. мне шепчет:

— Посмотрите, вокруг дураки и дуры, которые ничего не чувствуют, ничего не понимают.

И новый взрыв смеха, подхваченный мною. Кондуктор, нерешительно, очевидно принимая нас за пьяных, просит взять билет...

Дома я нахожу ожидающего меня артиллериста Г., моего друга детства.

— С., наконец-то! — встречает он меня радостно. — А я тебя по всему городу ищу! Идем скорее в Александровское училище — там собрание Совета Офицерских Депутатов. Необходимо присутствовать. Вокруг Александровского училища сейчас организуются все силы против большевиков.

За ужином рассказываю сестре и Г. о происшедшем со мною и тут только осознаю, что меня даже не обезоружили — шашка и револьвер налицо.

После ужина бежим с Г. в Александровское училище.

В одной из учебных комнат находим заседающий Совет. Лица утомленные и настроение подавленное. Оказывается, заседают уже несколько часов — и, пока что, — тщетно. Один за другим вяло выступают ораторы — и правые, и левые, и центр. И те и другие призывают к осторожности. Сообщаю о виденном мною в Совете и предлагаю действовать как можно решительнее, так как большевики открыто и лихорадочно готовятся к восстанию.

Говорим до глубокой ночи и решаем на следующий день с утра созвать собрание офицеров московского гарнизона. Каждый депутат должен сообщить в свою часть о предстоящем собрании. На этом мы расходимся.

Пол-ночи я стою у телефона, звоня всюду, куда можно, чтобы разнести весть о собрании, как можно шире. От числа собравшихся будет зависеть наш успех. Нам нужна живая сила.

С утра 27-го бегодня по городу. Захожу в Офицерское Экономическое Общество, через которое ежедневно проходят тысячи офицеров, и у всех касс вывешиваю плакаты:

«Сегодня собрание офицеров Московского гарнизона в Александровском училище в 3 ч. Все гг. офицеры обязаны присутствовать.

СОВЕТ ОФИЦЕРСКИХ ДЕПУТАТОВ

Меня мгновенно обступают и забрасывают вопросами.

Рассказываю, что знаю о положении дел и прошу оповестить всех знакомых офицеров о собрании.

— Непременно придем. Это прекрасно, что мы будем собраны в кулак — все вместе. Мы — единственные, кто сможет дать отпор большевикам.

— Не опаздывайте, господа. Через два часа начало.

Весть о гарнизонном собрании молниеносно разносится по городу. Ко мне несколько раз на улице подходили незнакомые офицеры со словами:

— Торопитесь в Александровское училище. Там наше собрание.

Когда я вернулся в училище, старинный актовый зал был уже полон офицерами. Непрерывно прибывают новые. Бросаются в глаза раненые, собравшиеся из бесчисленных московских лазаретов на костылях, с палками, с подвязанными руками, с забинтованными головами. Офицеры местных запасных полков в меньшинстве.

Незабываемое собрание было открыто президиумом Совета Офицерских Депутатов. Не помню, кто председательствовал, помню лишь, что собрание велось беспорядочно и много времени было потеряно даром.

С самого начала перед собравшимися во всей грандиозности предстала картина происходящего.

После сообщения представителя Совета о предпринятых мерах к объединению офицерства воедино и доклада о поведении командующего войсками, воздух в актовом зале накаляется.

Крики:

— Вызвать командующего! Он обязан быть на нашем собрании! Если он изменник, от него нужно поскорее избавиться!

Беспомощно трезвонит председательский колокольчик. Шум растет.

Кто-то объявляет, что побежали звонить командующему. Это успокаивает, и постепенно шум стихает.

Один за другим выступают представители полков. Все говорят о своих полках одно и то же: рассчитывать на полк как на силу, которую можно двинуть против большевиков, нельзя. Но в то же время считаться с полком, как ставшим на сторону большевиков, тоже не

следует. Солдаты без офицеров, помышляющие лишь о скорейшем возвращении домой, в бой не пойдут.

Возвращается пытавшийся сговориться с командующим по телефону. Оказывается, командующего нет дома.

Опять взрыв негодования. Крики:

— Нам нужен новый командующий! Долой изменника!

На трибуне кто-то из старших призывает к лояльности. Напоминает о воинской дисциплине.

— Сменив командующего, мы совершим тяжчайшее преступление и ничем не будем отличаться от большевиков. Предлагаю, ввиду отсутствия командующего, просить его помощника взять на себя командование округом.

В это время какой-то взволнованный летчик просит вне очереди слова.

— Господа, на Ходянском поле стоят ангары. Если сейчас же туда не будут посланы силы для охраны их, они очутятся во власти большевиков. Часть летчиков-офицеров уже арестована.

Не успевает с трибуны сойти летчик, как его место занимает артиллерист:

— Если мы будем медлить, вся артиллерия — сотни пушек — окажется в руках большевиков. Да, собственно, и сейчас уже пушки в руках солдат.

Кончает артиллерист — поднимается председатель:

— Господа! Только что вырвавшийся из Петрограда юнкер Михайловского училища просит слова вне очереди.

— Просим! Просим!

Выходит юнкер. Он от волнения не сразу может говорить. Наступает глубочайшая тишина.

— Господа офицеры! — голос его прерывается. — Я прямо с поезда. Я послан, чтобы предупредить вас и московских юнкеров о том, что творится в Петрограде. Сотни юнкеров растерзаны большевиками. На улицах валяются изуродованные тела офицеров, кадетов, сестер, юнкеров. Бойня идет и сейчас. Женский батальон в Зимнем Дворце, женский батальон... — Юнкер глотает воздух, хочет сказать, но только движет губами. Хватается за голову и сбегает с трибуны.

Несколько мгновений тишины. Чей-то выкрик:

— Довольно болтовни! Всем за оружие! — подхватывается ревом собравшихся.

— За оружие! В бой! Не терять ни минуты!

Председатель машет руками, трезвонит, что-то кричит — его не слышно.

Неподалеку от меня сидит одинокий офицер. Он стучит костылями и кричит:

— Позор! Позор!

На трибуну, минуя председателя, всходит полковник генштаба. Небольшого роста, с быстрыми решительными движениями, лицо прорезано прямыми, глубокими морщинами, острые стрелки усов, эспаньолка, горящие холодным огоньком глаза под туго сдвинутыми бровями. С минуту молчит. Потом, покрывая шум, властно:

— Если передо мною стадо — я уйду. Если офицеры — я прошу меня выслушать!

Все стихает.

— Господа офицеры! Говорить больше не о чем. Все ясно. Мы окружены предательством. Уже льется кровь мальчиков и женщин. Я слышал сейчас крики: в бой! за оружие! — Это единственный ответ, который может быть. Итак, за оружие! Но необходимо это оружие достать. Кроме того, необходимо сплотиться в военную силу. Нужен начальник, которому мы бы все беспрекословно подчинились. Командующий — изменник! Я предлагаю тут же, не теряя времени, выбрать начальника. Всем присутствующим построиться в роты, разобрать винтовки и начать боевую работу. Сегодня я должен был возвращаться на фронт. Я не поеду, ибо судьба войны и судьба России решается здесь — в Москве. Я кончил. Предлагаю приступить немедленно к выбору начальника!

Громовые аплодисменты. Крики:

— Как ваша фамилия?

Ответ:

— Я полковник Дорофеев.

Председателю ничего не остается, как приступить к выборам. Выставляется несколько кандидатур. Выбирается почти единогласно никому не известный, но всех взявший — полковник Дорофеев.

— Господ офицеров, могущих держать оружие в руках, прошу построиться тут же, в зале по-ротно. В ротках по сто штыков — думаю, будет довольно, — приказывает наш новый командующий.

Через полчаса уже кипит работа. Роты построены. Из цейхауза Александровского училища приносятся длинные ящики с винтовками. Идет раздача винтовок, разбивка по взводам. Составляются списки. Я — правофланговый 1-й офицерской роты. Мой командир взвода — молоденький шт.-капитан, высокий, стройный, в лихо заломленной папахе. Он из лазарета, с незажившей раной на руке. Рука на перевязи. На груди белый крестик (командиры рот и взводов почти все были назначены из георгиевских кавалеров).

В наш взвод попадают несколько моих однополчан и среди них прап. Б. (московский присяжный поверенный), громадный, здоровый, всегда веселый. Судьба нас соединила в 1-й офицерской роте, и много месяцев наши жизни шли рядом*.

Живущим неподалеку разрешается сходить домой, попрощаться с родными и закончить необходимые дела. Я живу рядом — на Поварской. Бегу проститься со своей трехлетней дочкой и сестрой. Прощаюсь и возвращаюсь.

Спускается вечер. Нам отвели половину спальни юнкеров. Когда

* Пр. Б. убит в районе Орла, находясь в Корниловском полку.

наша рота, построенная рядами, идет, громко и отчетливо печатая, встречные юнкера лихо и восторженно отдают честь. Нужно видеть их глаза!

Не успели мы распределить койки, как раздается команда:

— 1-й взвод 1-й офицерской — становись!

Бегом строимся. Входит полк. Дорофеев.

— Господа, поздравляю вас с открытием военных действий. Вашему взводу предстоит первое дело, которое необходимо выполнить как можно тише. Первое дело дает тон всей дальнейшей работе. Вам дается следующая задача: взвод отправляется на грузовике на Б. Дмитровку. Там находится гараж Земского Союза, уже захваченный большевиками. Как можно тише, коротким ударом, вы берете гараж, заводите машины и, сколько, сможете, приводите сюда. Вам придется ехать через Охотный ряд, занятый большевиками. Побольше выдержки, поменьше шума.

Мы выходим, провожаемые завистливыми взглядами юнкеров. У выходных дверей шумит заведенная машина. Через минуту медленно двигаемся, стоя плечо к плечу, по направлению к Охотному ряду...

Быстро спускаются сумерки. Огибаем Манеж и Университет и по вымершей Моховой продвигаемся к площади. Там сереет солдатская толпа. Все вооружены.

— Зарядить винтовки! Приготовиться!

Щелкают затворы.

Ближе, ближе, ближе... Кажется, что автомобиль тащится гусеницей. Подъезжаем вплотную к толпе. Расступаются. Образовывается широкая дорожка. Жуткая тишина. Словно глухонемые. Слева остается Тверская, запруженная такой же толпой. Вот охотничья церковь (Параскевы-мученицы). Толпа редет и остается позади.

Будут стрелять вслед или не будут? Нет. Тихо. Не решились.

Сворачиваем на Дмитровку и у первого угла останавливаемся. На улице ни души. Выбираемся из грузовика, оставляем шофера и трех офицеров у машины, сами гуськом продвигаемся вдоль дома.

Совсем стемнело. Фонари не горят. Кое-где — освещенное окно. Гулко раздаются наши шаги. Кажется — вечность идем. Я как правофланговый иду тотчас за командиром взвода.

— Видите этот высокий дом? Там — гараж.

Мне почудилось: какая-то тень метнулась и скрылась в воротах.

За дом до гаража мы останавливаемся.

— Если ворота не заперты — мы врываемся. Без необходимости огня не открывать. Ну, с Богом!

Тихо подходим. Слышно, как во дворе стучит заведенная машина. Вот и ворота, раскрытые настеж.

— За мной!

Обгоняя друг друга, с винтовками наперевес, вбегаем в ворота. Тьма.

«Бах!» — пуля звонко ударяет в камень. Еще и еще. Три глухих выстрела. Потом тишина.

Осматриваем двор, окруженный со всех сторон небоскребами. Откуда стреляли?

Кто-то открывает ворота гаража. Яркий свет автомобильного фонаря. Часть бежит осматривать гараж, другая, возглавляемая взводным, отыскивать караульное помещение.

У одних дверей находим раненного в живот солдата. Он без сознания. Это тот, что стрелял в нас и получил меткую пулю в ответ.

— Говорил я, не стрелять без надобности! — кричит капитан.

В это время неожиданно распаивается дверь и показывается солдат с винтовкой. При виде нас столбенеет.

— Бросай винтовку!

Бросает.

— Где караул?

Молчит, потом еле слышно:

— Не могу знать.

— Врешь. Если не скажешь — будешь валяться вот как этот.

Сдавленный шепот:

— На втором этаже, ваше высокоблагородие.

— Иди вперед, показывай дорогу. А вы, господа, оставайтесь здесь. С ними я один справлюсь.

Мы пробуем возражать — бесполезно. С наганом в руке капитан скрывается на темной лестнице.

Ждем. Минута, другая... Наконец-то! Топот тяжелых сапог, брань капитана. Из темноты выныривают два солдата с перекошенными от ужаса лицами, несут в охапках винтовки, за ними еще четвере, и позади всех — капитан со своим наганом.

— Заводить моторы. Скорей! Скорей! — торопит капитан.

Входим в гараж. Группа шоферов, окруженная нашими, смотрит на нас волками.

— Не можем везти. Машины испорчены, — говорит один из них решительно.

— Ах, так? — капитан меняется в лице. — Пусть каждый подойдет к своему автомобилю!

Шоферы повинуются.

— Теперь знаете: если через минуту моторы не будет заведены, — отвечаете мне жизнью. Прапорщик! Смотрите по часам.

Через минуту шесть машин затрещало.

— Нужно свезти раненого в лазарет. Вот вы двое — отправляйтесь с ним в лазарет Литературного Кружка. Это рядом. Не спускайте глаз с шофера...

Возвращаемся с добычей (шесть автомобилей) обратно. На передних сидениях шофер и пленные солдаты, сзади офицеры с наганами наготове. С треском проносимся по улицам. На Охотнинской площади, при нашем приближении, толпа шарахается в разные стороны.

Александровское училище. Нас восторженно встречают и поздравляют с успехом. Несемся назад, захватив с собой всех шоферов.

Подъезжая к Дмитровке, слышим беспорядочную ружейную стрельбу. Капитан волнуется:

— Дурак я! Оставил троих — перестреляют их, как куропаток!

Еще до Дмитровки соскакиваем с автомобилей. Стреляют совсем близко — на Дмитровке. Ясно, что атакуют гараж. Выстраиваемся.

— Вдоль улицы пальба взводом. Взво-од... пли!

Залп.

— Взво-од... пли!

Второй залп. И... тишина. Невидимый противник обращен в бегство. Бежим к гаражу.

— Кто идет?! — окликают нас из ворот. Капитан называет себя.

— Слава Богу! Без вас тут нам бы совсем плохо пришлось. Меня в руку ранили.

Через несколько минут были доставлены в Александровское училище остальные автомобили. Мы отделались дешево. Один легко ранен в руку.

Я не запомнил московского восстания по дням. Эти пять-шесть дней слились у меня в один сплошной день и в одну сплошную ночь. И так, храня приблизительную последовательность событий, за дни не ручаюсь.

Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцовым в самом начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом. Оружие мгновенно рассосалось по всей Москве. Большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. По опустевшим улицам и переулкам Москвы затрещали выстрелы. Стреляли всюду и отовсюду и часто безо всякой цели. Найти такого стрелка, даже если мы ясно обнаружили места, откуда стреляли, было почти невозможно: в то время как мы поднимались наверх — он бесследно скрывался.

В первый же день начала действий мы попытались приобрести артиллерию. Для этого был отправлен легкий отряд из взвода казаков и нескольких офицеров-артиллеристов в автомобиле через всю Москву на Ходынку. Отряд вернулся благополучно, забрав с собою два легких орудия и семьдесят снарядов. Никакого сопротивления оказано не было. Почему налет не был повторен, мне неизвестно.

Кроме того, в наших руках были два броневых автомобиля. Кажется, они еще раньше были при Александровском училище.

Утро. Пью чай в нашей столовой. Чай и хлеб разносят пришедшие откуда-то сестры милосердия, приветливые и ласковые.

Столовая — средоточие всех новостей, большей частью баснословных. Мне радостно сообщают «из достовернейших источников»,

что к нам идут, эшелон за эшелонем, казаки с Дона. Нам необходимо поэтому продержаться не более трех дней.

Подходит приятель, артиллерист Г.

— Ты был в Актовом зале? Нет? Иди скорей, смотри студентов!

— Каких студентов?

— Каких! Конечно, московских! Пришли записываться в роты.

Бегу в Актовый зал. Полно студенческих фуражек. Торопливо разбирают по ротам. Студенты конфузливо жмутся, переступая с ноги на ногу.

— Молодцы коллеги! — восклицает кто-то из офицеров. — Я сам московский студент и горжусь вашим поступком.

В ответ застенчивые улыбки.

Между студентами попадают и гимназисты. Некоторые — совсем дети, 12—13 лет.

— А вы тут что делаете? — спрашивают их со смехом.

— То же, что и вы! — обиженно отвечает розовый мальчик в сдвинутой на затылок гимназической фуражке.

Юнкерами взят Кремль. Серьезного сопротивления большевики не оказали. Взятием руководил командир моего полка, полковник Пекарский.

Ночью несем караул в Манеже. Посты расставлены частью по Никитской, частью в сторону Москвы-реки. Ночь темная. Стою, прижавшись к стене, и вонзаю взгляд в темноту. То здесь, то там гулко хлопают выстрелы.

Прислушиваюсь. Чьи-то крадущиеся шаги.

— Кто идет?

Молчание. Тихо. Может быть, померещилось? Нет — снова шаги, робкие, чуть слышные.

— Кто идет? Стрелять буду!

Щелкаю затвором.

— Ох, не стреляй, дружок. Это я!

— Отвечай кто, а то выстрелю.

— Спаси Господи, страхи какие! Церковный сторож я, батюшка, от Власия, что в Гагаринском. Отпусти, Христа ради, душу на покаяние.

— Иди, иди, не бойся!

Тяжело дыша, подходит коренастый старик. В руках палка, на голове — шапка с ушами; борода.

— Куда идешь?

— Да к себе пробираюсь, батюшка. Который час иду. Еще за-светло вышел, да вот до сих пор все канючусь. Страху набрался, на всю жизнь хватит. Два раза хватали, обыскивали. В Марьиной был у сестры. Сестра моя захворала. Да вот — откуда беда свалилась. А ты кто, батюшка, будешь?

— Офицер я.

— Ах офицер? Ничего не пойму чтой-то! То фабричные да страшные такие, а здесь вы, ваше благородие.

— Не скоро поймешь, старик. Теперь слушай. К Арбатским воротам выйдешь через Воздвиженку.

— Так, так.

— По Пречистенскому не ходи, там пули свистят. Подстрелят. Заверни в первый переулочек — переулками и пробирайся. Понял?

— Понял, ваше благородие. Как не понять! Спасибо на добром слове. Дай вам Бог здоровья. Последние дни пришли, ох Господи! — и старик с причитаниями скрылся в темноте.

Опять вперяются в темень. Где-то затрещал пулемет — та-та-та и умолк. Из-за угла окликает подчасок:

— Как дела, С. Я.?

— Ничего. Темно больно.

Впереди черная дыра Никитской. Переулки Тверской заняты большевиками.

Вдруг в темноте вспыхивают два огонька. Почти одновременное: бах, бах... Со стороны Тверской забулькали пулеметы — один, другой. Где-то в переулке грохот разорвавшейся гранаты.

Подчасок бежит предупредить караул. Со стороны Манежа равномерный топот шагов.

— Кто идет?

— Прапорщик Б. Веду подкрепление нашему авангарду, — смеется.

Пять рослых офицеров становятся за углом. Ждут... Стрельба стихает.

— Идите, С. Я., подремать в Манеж. Мы постоим.

Через минуту, подняв воротник, дремлю, прижавшись к шершавому плечу соседа.

Наши торопливо строятся.

— Куда идем?

— На телефонную станцию.

Опять грузовик. Опять — плечо к плечу. Впереди — наш разведывательный «Форд», позади — небольшой автомобиль с пулеметом.

Охотный. Влево — пустая Тверская. Но мы знаем, что все дома и крыши заняты большевиками. Вправо — в воротах, за углами — жмутся юнкера, по два, по три — наши передовые дозоры.

На Театральной площади, из Метрополя юнкера кричат:

— Ни пуха, ни пера!

Едем дальше.

Вот Лубянская площадь. На углу сгружаемся, рассыпаемся в цепь и начинаем продвигаться по направлению к Мясницкой. Противника не видно. Но, невидимый, он обстреливает нас с крыши, из чердачных окон и черт знает еще откуда. Сухо и гадко хлопают пули по штукатурке и камню. Один падает. Другой, согнувшись, бежит за угол к автомобилям. На фланге трещит наш «Максим», обстреливающий вход на Мясницкую.

Стрельба тише... Стихает.

До нас, верно, здесь была жестокая стычка. За углом Мясницкой

на спине, с разбитой головой, — тело прапорщика. Под головой — невысохшая лужа черной крови. Немного поодаль ничком, уткнувшись лицом в мостовую, — солдат.

Часть офицеров идет к телефонной станции, сворачивая в Милютинский пер. (там отсиживаются юнкера), я с остальными продвигаюсь по Мясницкой. Устанавливаем пулемет. Мы знаем, что в почтамте засели солдаты 56 полка (мой полк). У почтамта чернеет толпа.

— Разойтись! Стрелять будем!

— Мы мирные! Не стреляйте!

— Мирным нужно по домам сидеть!

Но, верно, действительно мирные — винтовок не видно.

Долго чего-то ждем. У меня после двух бессонных ночей глаза слипаются. Сажусь на приступенке у дверей какого-то банка и мгновенно засыпаю. Кто-то осторожно теребит за плечо. Открываю глаза — передо мною бородатое лицо швейцара.

— Г-дин офицер, не погнушайтесь зайти к нам чайку откушать. Видно, умаялись. Чаек-то подкрепит.

Благодарю бородача и захожу с ним в банк. Забегая вперед, ведет он меня в свою комнату. Крошечная каморка вся увешена картинами. В Центре — портрет государя с наследником.

Суетливая, сухонькая женщина, верно, жена, приносит сияющий пузатый самовар.

— Милости просим, пожалуйста, садитесь. Господи, и лица-то на вас нет! Должно, страсть, как замаялись. Вот вам стаканчик. Сахару, не взыщите, мало. И хлеба, простите, нет. Вот баранки. Баранок-то, славу Богу, закупили, жена догадалась, и жуем понемногу.

Жена швейцара молчит, лишь сокрушенно вздыхает, подперев щеку ладонью.

Обжигаясь, залпом выпиваю чай. Благодарю, прощаюсь. Швейцариха сует мне вязанку баранок:

— Своих товарищей угостите. Если время есть — пусть зайдут к нам обогреться, отдохнуть да чаю попить.

Прижимаясь к домам и поминутно оглядываясь, крадется барышня.

— Скажите, пожалуйста, мне можно пройти в Милютинский переулок? Я телефонистка и иду на смену.

— Не только можно — должно! Нам необходимо, чтобы телефон работал.

Барышня делает несколько шагов, но вдруг останавливается, дико вскрикивает и, припав к стене, громко плачет. Увидела тело прапорщика.

Подхватываем ее под руки и ведем, задыхающуюся от слез, на станцию.

Дорога обратно. У Большого театра — кучка народа, просто любопытствующие. При нашем проезде кричат нам что-то, машут платками, шапками. Свои.

Останавливает юнкерский пост.

— Берегитесь Тверской! Оба угловых дома — Национальной гостиницы и Городского самоуправления — заняты красногвардейцами. Не дают ни пройти, ни проехать — всех берут под перекрестный огонь.

— Ничего. Авось да небось — пройдем!

Впереди несется «Форд». Провожаем его глазами. Проскочил. Ни одного выстрела. Пополз и наш грузовик. Равняемся с Тверской. И вдруг... Тах, тах, та-та-тах! Справа, слева, сверху... По противоположной стене зацелкали пули. Сжатые в грузовике, мы не можем даже отвечать.

Моховая. Университет. Мы в безопасности.

— Кто ранен? — спрашивает капитан.

Оглядываем друг друга. Все целы.

— Наше счастье, что они такие стрелки, — цедит сквозь зубы капитан.

Но с нашим пулеметным автомобилем дело хуже. Его подстрелили. Те пять офицеров, что в нем сидели, выпрыгнули и укрывшись за автомобилем, отстреливаются.

Нужно идти выручать. Тянемся гуськом вдоль домов. Обстреливаем окна Национальной гостиницы. Там попрятались и умолкли. Бросив автомобиль, возвращаемся с пулеметом и двумя ранеными пулеметчиками.

Наконец-то появился командующий войсками, полковник Рябцов.

В небольшой комнате Александровского училища, окруженный тесным кольцом возбужденных офицеров, сидит грузный полковник в расстегнутой шинели. Верно, и раздеться ему не дали, обступили. Лицо бледное, опухшее, как от бессонной ночи. Небольшая борода, усы вниз. Весь он рыхлый и лицо рыхлое — немного бабье.

Вопросы сыплются один за другим и один другого резче.

— Позвольте узнать, г-н полковник, как назвать поведение командующего, который в эту страшную для Москвы минуту скрывается от своих подчиненных и бросает на произвол судьбы весь округ?

Рябцов отвечает спокойно, даже как будто сонно.

— Командующий ни от кого не скрывался. Я не сплю не помню которую ночь. Я все время на ногах. Ничего нет удивительного, что меня застают в моем кабинете. Необходимость самому непосредственно следить за происходящим вынуждает меня постоянно находиться в движении.

— Чрезвычайно любопытное поведение. Наблюдать — дело хорошее. Разрешите все же узнать, г-н полковник, что нам, вашим подчиненным, делать? Или тоже наблюдать прикажете?

— Если мне вопросы будут задаваться в подобном тоне, я отвечать не буду, — говорит все так же сонно Рябцов.

— В каком же тоне прикажите с вами говорить, г-н полковник, после сдачи Кремля с арсеналом большевикам?

Чувствую, как бешено натянута струна — вот-вот оборвется. Десятки горящих глаз впились в полковника. Он сидит, опустив глаза, с лицом словно маска, — ни одна черта не дрогнет.

— Я сдал Кремль, ибо считал нужным его сдать. Вы хотите знать, почему? Потому что всякое сопротивление полагаю бесполезным кровопролитием. С нашими силами, пожалуй, можно было бы разбить большевиков. Но нашу кровавую победу мы праздновали бы очень недолго. Через несколько дней нас все равно смели бы. Теперь об этом говорить поздно. Помимо меня — кровь уже льется.

— А не полагаете ли вы, г-н полковник, что в некоторых случаях долг нам предписывает скорее принять смерть, чем подчиниться бесчестному врагу? — раздается все тот же сдавленный гневом голос.

— Вы движимы чувством — я руководствуюсь рассудком.

Мгновение тишины, которая прерывается исступленным криком офицера с искаженным от бешенства лицом.

— Предатель! Изменник! Пустите меня! Я пушу ему пулю в лоб!

Он старается прорваться вперед с револьвером в руке.

Лицо Рябцова передергивается.

— Что ж, стреляйте! Смерти ли нам с вами бояться?

Офицера хватают за руки и выводят из комнаты. Следом выхожу и я.

В Москве образовался какой-то комитет, не то «Общественного спасения», не то «Общественного спокойствия». Он заседает в Думе под председательством городского головы Руднева и объединяет собой целый ряд общественных организаций. К нам, как говорят, относятся с некоторым недоверием, если не с боязнью. Мне передавали — боятся контрреволюции. Сами же выносят резолюции с выражением протеста — всем, всем, всем.

В училище часто заходят молодые люди с эсеровскими листовками. Из этих листовок мы узнаем невероятные и бодрящие вести:

«Петропавловская крепость взята обратно верными Временному правительству войсками».

«С юга продвигаются казачьи части для поддержки юнкеров».

«С запада идут с этой же целью ударные батальоны». И т. д., и т. д.

Эти известия, как очень желательные, встречаются полным доверием, а часто и криками «ура». (Увы, потом оказалось, что все это делалось лишь с целью поднять наш дух и вселить неуверенность среди восставших).

С каждым часом становится все труднее. Все на ногах почти бес-
сменно. Не успеваешь приехать после какого-либо дела, наскоро по-
есть, как снова раздается команда:

— Становись!

Нас бросают то к Москве-реке, то на Пречистенку, то к Никит-
ской, то к Театральной, и так без конца. В ушах звенит от постоян-
ных выстрелов (на улицах выстрелы куда оглушительнее, чем в по-
ле).

Большевики ловко просачиваются в крепко занятые нами райо-
ны. Сегодня сняли двух солдат, стреляющих с крыши Офицерского
О-ва, а оно находится в центре нашего расположения.

Продвигаться вперед без артиллерии нет возможности: при-
шлось бы штурмовать дом за домом. Прекрасно скрытые за стенами
большевики обсыпают нас из окон свинцом и гранатами. Время упу-
щено. В первый день, поведи мы решительно наступление, Москва
бы осталась за нами.

А наша артиллерия... Две пушки на Арбатской площади, направ-
ленные в сторону Страстной и выпускающие по десяти снарядов в
день.

У меня от усталости и бессонных ночей опухли ноги. Пришлось
распороть сапоги. Нашел чьи-то калоши и теперь шлепаю в них, по-
минутно теряя то одну, то другую.

Большевики начали обстрел из пушек. Сначала снаряды рвались
лишь на Арбатской площади и по бульварам, потом, очень вскоре, и
по всему нашему району. Обстреливают и Кремль. Сердце сжимает-
ся смотреть, как над Кремлем разрываются шрапнели.

Стреляют со Страстной площади, с Кудрина и откуда-то из-за
Москвы-реки —тяжелыми (6 д.).

Александровское училище, окруженное со всех сторон небо-
скребами, для гранат недосыгаемо. Зато шрапнели непрерывно раз-
рываются над крышей и над окнами верхнего этажа, в котором рас-
положены наши роты. Большая часть стекол перебита.

Каково общее самочувствие, лучше всего наблюдать за обедом
или за чаем, когда все вместе: юнкера, офицеры, студенты и добро-
вольцы-дети.

Сию, обедаю. Против меня капитан-пулеметчик с перевязанной
головой, рядом с ним — гимназист лет двадцати.

— Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься, начнешь
просить есть ночью.

— Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, — деловито от-
вечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.

— Каков мой второй номер, — обращается ко мне капитан, — не правда ли, молодец? Задержки научился устранять, а хладнокровие и выдержка — нам взрослым поучиться. Я его с собою в полк заберу. Поедешь со мною на фронт?

Мнется.

— Ну?

— Из гимназии выгонят.

— А как же ты к нам в Александровское удрал? Даже маме ничего не сказал. За это из гимназии не выгонят?

— Не выгонят: Здесь совсем другое дело. Ведь сами знаете, что совсем другое...

.....
Лохматый студент в шинели нараспашку кричит другому, тще-
душному, сутулому, с лупами на носу.

— Вася, слышал новость?

— Нет. Что такое?

— Ударники к Разумовскому подходят. Сейчас оттуда пробрался один петровец, сам его видел. Говорит, что стрельба уже слышна совсем рядом.

— Врет. Не верю. А впрочем, дай Бог. Скоро ты? Взводный ругаться будет.

— Вы где, коллега, стоите? — спрашиваю я у лохматого.

— В доме градоначальника. Проклятое место...

В столовую входит стройная прапорщица с перевязанной рукой.

Кто-то окликает:

— Оля, вы ранены?

— Да пустяки. Чуть задело. И не больно совсем.

На лице сдержанная улыбка гордости.

Ко мне подходит п-ик Гольцев* — мой однокашник и однополчанин. Подсаживается, рассказывает.

— Вот вчера мы в грязную историю попали, С. Я.! Получаем приказание с корнетом Дуровым** засесть на Никитской в Консерватории. А там какой-то госпиталь. Дело было уже вечером. Подымаемся наверх, а солдаты, бывшие раненые, теперь здоровые и разьевшие от безделья, — зверьми на нас смотрят. Поднялись мы на самый верх, вдруг — сюрприз: электричество во всем доме тухнет. И вот в темноте крики: «Бей, товарищи, их!» Это нас то-есть. Тьма кромешная, ни зги не видать. Оказывается, негодяи нарочно электричество испортили. В темноте думали с нами справиться. Ошиблись. Темнота-то нам и помогла. Корнет Дуров выстрелил в потфлок и кричит: «Кто ко мне подойдет, убью как собаку!» Они, как тараканы, разбежались. Друг от друга шарахаются. Подумать только, какое стадо! Два часа с ними в темноте просидели, пока нас не сменили.

* Учен. студии Вахтангова Гольцев убит в бою под Екатеринодаром (1918 г.) (Прим. С. Э.).

** Смертельно ранен на Поварской в живот. (Прим. С. Э.).

Ни одной фразы, ни одного слова, указывающего на понижение настроения или веры в успех. Утомление, правда, чувствуется. Сплошь и рядом можно видеть сидя заснувшего юнкера или офицера. И не удивительно — спим только урывками.

Опять выстраиваемся. Наш взвод идет к ген. Брусилову с письмом, приглашающим его принять командование всеми нашими силами. Брусилов живет в Мансуровском переулке, на Пречистенке.

Выходим на Арбатскую площадь. Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна — без стекол. Здесь и там вместо стекол — одеяла.

Москва гудит от канонады. То и дело над головой щелестит снаряд. Кое-где в стенах зияют бреши раненых домов. Но... жизнь и страх побеждает. У булочных Филиппова и Севастьянова толпятся кухарки и дворники с кошелками. При каждом разрыве или свисте снаряда кухарки крестятся, некоторые приседают.

Сворачиваем на Пречистенский бульвар и тянемся гуськом вдоль домов. С поворота к храму Христа Спасителя обстановка меняется. Откуда-то нас обстреливают. Но откуда? Впечатление такое, что из занятых нами кварталов. Над штабом московского округа непрерывно разрываются шрапнели.

Идем по Сивцеву Вражку. Ни единого прохожего. Изредка — дозоры юнкеров. И здесь то и дело по стенам щелкают пули. Стреляют, видно, с дальних чердаков.

На углу Власьевского из высокого белого дома выходят несколько барышень с подносами, полными всякой снедью.

— Пожалуйста, господа, покушайте!

— Что вы, уходите скорее! До еды ли тут?

Но у барышень так разочарованно вытягиваются лица, что мы не можем отказаться. Нас угощают кашей с маслом, бутербродами и даже конфетами. Напоследок раздают папиросы.

Мы дружно благодарим.

— Не нас благодарите, а весь дом 3. Мы самообложились и никого из вас не пропускаем, не накормив.

Над головой прощелестел снаряд.

— Идите скорее домой!

— Что вы! Мы привыкли.

Прощаемся с барышнями и двигаемся дальше.

Пречистенка. Бухают снаряды. Чаше щелкают пули по домам. Заходим в какой-то двор и ждем, чем кончатся переговоры с Брусиловым. Все уверены, что он станет во главе нас.

Ждем довольно долго — около часа. И здесь, как из дома 3, нам выносят еду. Несмотря на сытость, едим, чтобы не обидеть.

Наконец возвращаются от Брусилова.

— Ну что, как?

— Отказался по болезни.

Тяжелое молчание в ответ.

Мне шепотом передают, что патроны на исходе. И все передают эту новость шепотом, хотя и до этого было ясно, что патроны кончаются. Их начали выдавать по десяти на каждого в сутки. Наши пулеметы начинают затихать. Противник же обнаглел, как никогда. Нет, кажется, чердака, с которого бы нас не обстреливали. Училищный лазарет уже не может вместить раненых. Окрестные лазареты также начинают заполняться.

После перестрелки у Никитских ворот вернулся в училище в последней усталости. Голова не просто болит, а разрывается. Иду в спальню. За три койки от моей группа офицеров рассматривает ручную гранату. Ложусь отдохнуть. Перед сном закуриваю папиросу.

Вдруг рядом, у группы офицеров, раздается характерное шипение, затем крики и топот бегущих ног. В одно мгновение, не соображая ни того, что случилось, ни того, что делаю, валюсь на пол и закрываю уши ладонями.

Оглушительный взрыв. Меня обдаёт горячим воздухом, щепками и дымом и отбрасывает в сторону. Звон стекол. Чей-то страшный крик и стоны. Встаю. За две койки от меня корчится в крови юнкер. Чуть поодаль лежит раненый в ногу капитан.

Оказывается — раненый в ногу капитан показывал офицерам обращение с ручной гранатой. Он не заметил, что боек спущен и вставил капсюль. Капсюль горит три секунды. Если бы капитан не растерялся, он мог бы успеть вынуть капсюль и отшвырнуть его в сторону. Вместо этого он бросил гранату под койку. А на койке спал только что вернувшийся из караула юнкер. В растерзанную спину несчастного вонзились комья волос из матраса.

Юнкера, уже переставшего стонать, выносят на носилках. Следом за ним несут капитана.

Через полчаса юнкер умер.

Оставлено градоначальство. Там отсиживались студенты, окруженные со всех сторон большевиками. Большие потери убитыми.

Наша рота, во главе с п-ком Дорофеевым, идет спасать Комитет Общественного Спасения (?), заседающий в Городской Думе. Там же находится и последний представитель Временного Правительства — Прокопович. У нас отношение к Комитету недоброжелательное: мы с самого начала чуяли с его стороны недоверие к нам.

Около Городской Думы со всех крыш стреляют. Мы отвечаем. Из Думы торопливо выходят несколько штатских. Окружаем их и в молчании возвращаемся в училище.

Вечер. Снаряжают безумную экспедицию за патронами к Симону монастырю. Там артиллерийские склады.

С большевистскими документами отправляются на грузовике молодой кн. Д. и несколько кадет, переодетых рабочими. Напряженно ждем их возвращения. Им нужно проехать много верст, занятых большевиками. Ждем...

...Проходит час, другой. Крики:

— Едут! Приехали!

К подъезду училища медленно подкатывает грузовик, заваленный патронными ящиками.

Приехавших восторженно окружают. Кричат «ура». Они рассказывают:

— Самое главное было встретиться с первыми большевистскими постами. Окликают нас:

— Кто едет? Стой!

— Свои, товарищи! Так вас, перетак.

— Стой! Что пропуск?

— Какой там пропуск! Так вас, перетак! В Драгомирове юнкера наступают, мы без патронов сидим, а вы с пропуском пристааете! Так вас и так!

— Ну ладно.. Чего кричите? Езжайте!

Мы пропустили машину. Не тут-то было. Проехали два квартала, — опять крики:

— Стой! Кто едет?

И так все время. Ну и чертова же прорва красногвардейцев всюду! Наконец добрались до складов. Как въехали во двор, сейчас же ругаться последними словами.

— Кто тут заведующий? — Куда он провалился? — Мы на него в Совет пожалуемся! — На нас юнкера наступают, а здесь никого не дозовешься!

Летит заведующий.

— Что вы волнуетесь, товарищи?

— Как тут не волноваться с вами? Дозваться никого нельзя. Зовите там, кто у вас есть, чтобы грузили скорее патроны! Юнкера на нас стеной идут, а вы патронов не присылаете!

— А требование у вас, товарищи, есть?

— Во время боя, когда на нас юнкера стеной прут, мы вам будем требования составлять! Пороха не нюхали, да нам все дело портите! Почему, так вас перетак, патроны не доставлены?

Заведующий совсем растерялся. Еще сам же нам патроны грузить помогал. Нагрузили мы и обратно тем же путем направились. Нас всюду уж как знакомых встречали. Больше уж не приставали...

Настроение после прибытия патронов сразу приподымается.

Позже приходят тревожные вести об Алексеевском училище. Оно находится в другом конце города, в Лефортове. Говорят, все здание снесено большевистской артиллерией.

Спешно посылаем патроны на телефонную станцию. Несчаст-

ные юнкера, сидящие там в карауле, не могут отстреливаться от нападающих на них красногвардейцев.

Прибыл какой-то таинственный прапорщик — горбоносый, черный, как смоль, брюнет. Называет себя командиром N-ого ударного батальона и бывшим не то адъютантом, не то товарищем военного министра Керенского.

Говорит, что через несколько часов к нам на помощь должны придти ударники. Он, будто бы, выехал вперед. К нему относятся подозрительно. Он же, словно не замечая, держит себя чрезвычайно развязно.

Только что прорвался с телефонной станции юнкер. Оказывает-ся, патроны, которые им присланы, — учебные, вместо пуль — пыжи.

— Если нам сейчас же не будут высланы патроны и поддержка, — мы погибли.

При вскрытии ящиков обнаруживается, что три четверти привезенных патронов — учебные.

Горбоносый прапорщик не наврал. С вокзала прибывают поодиночке солдаты ударники. Молодец к молодцу. Каждый притаскивает с собой по пулеметной ленте, набитой патронами.

— Батальоном пробиться никак невозможно было. Мы порешили так — поодиночке.

Простятся в бой. Их набралось несколько десятков.

С каждым часом хуже. Наши пулеметы почти умолкли. Сейчас вернулись со Смоленского рынка. Мы потеряли еще одного.

Теперь выясняется, что помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. Но никто, как по уговору, не говорит о безнадежности положения. Ведут себя так, словно в конечном успехе и сомневаться нельзя. А вместе с тем ясно, что не сегодня-завтра мы будем уничтожены. И все, конечно, это чувствуют.

Для чего-то всех офицеров спешно созывают в Актовый зал. Иду. Зал уже полон. В дверях толпятся юнкера. В центре — стол. Вокруг него несколько штатских — те, которых мы вели из Городской Думы. На лицах собравшихся — мучительное и недоброе ожидание.

На стол взбирается один из штатских.

— Кто это? — спрашиваю.

— Министр Прокопович.

— Господа! — начинает он срывающимся голосом. — Вы офицеры и от вас нечего скрывать правды. Положение наше безнадежно. Помощи ждать неоткуда. Патронов и снарядов нет. Каждый час приносит новые жертвы. Дальнейшее сопротивление грубой силе — бесполезно. Взвесив серьезно эти обстоятельства, Комитет Общественной Безопасности подписал сейчас условия сдачи. Условия таковы.

Офицерам сохраняется присвоенное им оружие. Юнкерам оставляется лишь то оружие, которое необходимо им для занятий. Всем гарантируется абсолютная безопасность. Эти условия вступают в силу с момента подписания. Представитель большевиков обязался прекратить обстрел занятых нами районов, с тем чтобы мы немедленно приступили к стягиванию наших сил.

В ответ тягостная тишина.

Чей-то резкий голос:

— Кто вас уполномочил подписать условия капитуляции?

— Я член Временного Правительства.

— И вы как член Временного Правительства считаете возможным прекратить борьбу с большевиками? Сдаться на волю победителей?

— Я не считаю возможным продолжать бесполезную бойню, — взволнованно отвечает Прокопович.

Исступленные крики:

— Позор! — Опять предательство! — Они только сдаваться умеют! — Они не смели за нас подписывать! — Мы не сдадимся!

Прокопович стоит с опущенной головой. Вперед выходит молодой полковник, георгиевский кавалер Хованский*.

— Господа! Я беру смелость говорить от вашего имени. Никакой сдачи быть не может! Если угодно, вы, не бывшие с нами и не сражавшиеся, вы подписавшие этот позорный документ, вы — можете сдаться. Я же, как и большинство здесь присутствующих, — я лучше пушу себе пулю в лоб, чем сдамся врагам, которых считаю предателями Родины. Я только что говорил с полковником Дорофеевым. Отдано приказание расчистить путь к Брянскому вокзалу. Драгомировский мост уже в наших руках. Мы зайдем эшелонами и будем продвигаться на юг, к казакам, чтобы там собрать силы для дальнейшей борьбы с предателями. Итак, предлагаю разделить на две части. Одна — сдается большевикам, другая прорывается на Дон с оружием.

Речь полковника встречается ревом восторга и криками:

— На Дон! — Долой сдачу!

Но недолго длится возбуждение. Следом за молодым полковником говорит другой, постарше и менее взрачный.

— Я знаю, господа, то, что вы от меня услышите, вам не понравится и, может быть, даже покажется неблагоприятным и низменным. Поверьте только, что мною руководит не страх. Нет, смерти я не боюсь. Я хочу лишь одного, чтобы смерть моя принесла пользу, а не вред родине. Скажу больше — я призываю вас к труднейшему подвигу. Труднейшему, потому, что он связан с компромиссом. Вам сейчас предлагали прорываться к Брянскому вокзалу. Предупреждаю вас — из десяти до вокзала прорвется один. И это в лучшем случае! Десятая часть оставшихся в живых и сумевших захватить ж.-дорожные составы, до Дона, конечно, не доберется. Дорогой будут разобраны пути или подорваны мосты и прорывающимся придется где-то далеко

* Убит в 1918 г. в Добров. Армии. (Прим. С. Э.).

от Москвы, либо сдаться озверевшим большевикам и быть перебитыми, либо всем погибнуть в неравном бою. Не забудьте, что и патронов у нас нет. Поэтому я считаю, что нам ничего не остается, как положить оружие. Здесь, в Москве, нам и защищать-то некого. Последний член Временного Правительства склонил перед большевиками голову. Но — полковник повышает голос — я знаю также, что все, находящиеся здесь — уцелеем или нет, не знаю — приложат всю энергию, чтобы пробираться одиночками на Дон, если там собираются силы для спасения России.

Полковник кончил. Один кричит:

— Пробираться на Дон всем вместе! Нам нельзя разбиваться!

Другие молчат, но, видно, соглашаются не с первым, а, вторым полковником.

Я понял, что нить, которая нас крепко привязывала одного к другому, — порвана и что каждый снова предоставлен самому себе.

Ко мне подходит прап. Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

— Ну что, Сережа, на Дон?

— На Дон, — отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за всю мою жизнь.

Впереди был Дон.

Иду в последний ночной караул. Ружейная стрельба все такая же жесточенная. Пушки же стихли.

И потому, что я знаю, что этот караул последний, и потому, что я живу уже не Москвой, а будущим Доном, — меня охватывает страх. Я ловлю себя на том, что пригибаю голову от свиста пуль. За темными окнами чудится притаившийся враг. Я иду, крадучись, вытирая плечом штукатурку стен.

Началось стягивание в училище наших сил. Один за другим снимаются караулы. У юнкеров хмурые лица. Никто не смотрит в глаза. Собирают пулеметы, винтовки.

Скорей бы!

Из соседних лазаретов сбегаются раненые.

— Ради Бога, не бросайте! Солдаты обещают нас растерзать!

...Не бросайте! Когда мы уже не сила и через несколько часов сами будем растерзаны!

Оставлен Кремль. При сдаче был заколот штыками мой командир полка — полковник Пекарский, так недавно еще бравший Кремль.

Перед училищем толпа. Это — родные юнкеров и офицеров.

Кричат нам в окна. Справляются об участии близких. В коридоре встречаю скульптора Б — ого.

— Вы как сюда попали?

— Разыскиваю тело брата. Убит в градоначальстве.

Училище оцеплено большевиками. Все выходы заняты. Перед училищем расхаживают красногвардейцы, обвешанные ручными гранатами и пулеметными лентами, солдаты...

Когда кто-либо из нас приближается к окну, — снизу несется площадная брань, угрозы, показываются кулаки, прицеливаются в наши окна винтовками.

У одного из окон вижу стоящего горбоносого прапорщика — того, что был адъютантом или товарищем Керенского. Со странной усмешкой показывает мне на гудящих внизу большевиков.

— Вы думаете, что кто-нибудь из нас выйдет отсюда живым?

— Думаю, что да, — говорю я, хотя ясно знаю, что нет.

— Помяните мои слова — все мы можем числить себя уже небесными жителями.

Круто повернувшись и что-то насвистывая, отходит.

Внизу, в канцелярии училища, всем офицерам выдают заготовленные ранее комендантом отпуска на две недели. Выплачивают жалованье за месяц вперед. Предлагают сдавать револьверы и шашки.

— Все равно, господа, отберут. А так есть надежда гуртом отстоять. Получите уже у большевиков.

Своего револьвера я не сдаю, а прячу так глубоко, что, верно, и до сих пор лежит не найденным в недрах Александровского училища.

Глубокий вечер. Одни слоняются без дела из залы в залу, другие спят — на полу, на койках, на столах. Ждут с минуты на минуту прихода каких-то главных большевиков, чтобы покончить с нами. Передают, что из желания избежать возможного кровопролития вызваны к у-щу особо благонадежные части. Никто не верит, что таковые могут найтись.

Когда это было? Утром, вечером, ночью, днем? Кажется, были сумерки, а может быть, просто все казалось сумеречным.

Брожу по смутным помрачневшим спальням. Томление и ожидание на всех лицах. Глаза избегают встреч, уста — слов. Случайно захожу в актальный зал. Там полно юнкеров. Опять собрание? Нет. Седенький батюшка что-то говорит. Внимательно, строго, вдохновенно слушают. А слова простые и о простых, с детства знакомых, вещах: о долге, о смирении, о жертве. Но как звучат эти слова по-новому! Словно вымытые, сияют, греют, жгут.

Панихида по павшим. Потрескивает воск, склонились стриженные головы. А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми, как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших — над всей Россией.

Напутственный молебен. Расходимся.

Встречаю на лестнице Г-ева.

— Пора удирать, Сережа, — говорит он решительно. — Я сдаваться этой сволочи не хочу. Нужно переодеться. Идем.

Рыскаем по всему училищу в поисках подходящей одежды. Наконец, находим у ротного каптенармуса два рабочих полушубка, солдатские папахи, а я, кроме того, невероятных размеров сапоги. Торопливо переодеваемся, выпускаем из-под папах чубы.

Идем к выходной двери.

У дверей красногвардейцы с винтовками никого не выпускают. Я нагло берусь за дверную ручку.

— Стой! Ты кто такой?

Подозрительно осматривают.

— Да это свой, кажись, — говорит другой красногвардеец.

— Морда юнкерская! — возражает первый.

Но, видно, и он в сомнении, потому что открывает дверь и дает мне выйти.

Секунда... и я на Арбатской площади.

Следом выходит и Гольцев.

Подготовка к печати и вступление

Н. Катаевой-Лыткиной

СВЯТОЙ И БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Витийствующий язык не возмógł бы
еси восхвалити дела твоя, блаженне Алек-
сандре, яже совершил еси, полагая по бра-
тии душу свою.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Княжение Св. Александра Невского совпало с одним из самых значительных моментов русской истории. При нем произошло окончательное разрушение Киевской Руси, бывшей до тех пор намечавшимся государственным центром России. При нем окончательно обособилась Суздальская Русь. При нем Россия сделалась улусом татарского царства. И в нем самом уже начало, первое предвозвестие возвышающейся великодержавной Московской Руси — той России, которая, восприяв духовное наследие Киева, медленным и тяжким трудом взрастила его под татарским игом и, объединенная под гнетом единой внешней силы, вышла из глухого лесного угла к широким историческим горизонтам.

Поскольку этот момент соприкосновения Руси и татарского всемирного царства недооценивался в русской истории, недооценивалась и вся глубина исторической заслуги Св. Александра Невского. Момент завоевания Руси татарами был поистине трагическим. Перед лицом татар Россия как единство, как государственная сила перестала существовать. Она была сильна только своим внутренним богатством. Ее внешняя риза была разодрана. Св. Александру Невскому пришлось творить эту ризу внешнего единства под ударами с востока и с запада. Кончили дело объединения Руси лишь его потомки. Но он заложил первый камень: сам стал живым основоположным камнем новой возродившейся из развалин России.

Вся жизнь Св. Александра была отдана России. Подходить к нему можно лишь через историю, через рассмотрение его эпохи и стоявших перед ним исторических задач. Поэтому и представляется необходимым описанию его личной жизни предпослать краткий исторический обзор предшествующих ему княжений и постепенного складывания тех сил, среди которых ему пришлось управлять Русью.

. Вступление и заключение из книги Н. А. Клепинина «Святой и благоверный Великий князь Александр Невский», Умса-Press, Париж, 1927.

Одной из особенностей русской истории является полное перенесение центра государственной жизни с юга на север, закончившееся татарским нашествием как раз во время княжения Св. Александра.

Оба события — разрушение Киевщины и усиление Суздаля — подготовлялись длительным историческим процессом. Но этот процесс был скрытым и подземным. Он нарождался медленно, проявился стремительно: в течение одного столетия. Поэтому в нем есть неожиданность катастрофы, трагическая историческая динамика.

Киевская Русь разрушилась именно тогда, когда она, казалось, укрепилась и достигла благосостояния. От крещения Руси при Владимире прошло два с небольшим века. Южная Русь была уже христианской, православной страной. В ней была Киево-Печерская обитель с ее многочисленными подвижниками. В ней были князья — подлинние христиане. Она создала свою христианскую письменность. Православие уже преломилось и преобразилось в русский дух, оказалось не простым заимствованием из Византии. Русские подвижники — и князь, и монах, и простолюдин — уже были русскими православными подвижниками, выявлявшими в своей святости русские черты. То, что осталось от тех веков, — поучения, летописи, жития святых, многочисленные храмы ярко свидетельствуют о своеобразности Киевщины. Православие вошло в ее мирозерцание и слилось с ним. Киевщина неотделима от Православия и непонятна без него. Конечно, было бы глубокой ошибкой идеализировать древнюю Русь. Не только в народных толщах, в медвежьих углах, но и в княжеских теремах язычество еще далеко не было преодолено. Без дикости, разгула и темноты картина Киевской Руси будет неправильна и неполна. Но разве все то время, все средневековье не являет из себя причудливой смеси света и тьмы, величия в святости и силы в грехе? «И свет во тьме светит и тьма не объяла его». А что этот свет светил как в княжеском тереме, так и в простой избе, свидетельствуют многие жития и сказания. Подвижники Киево-Печерской Лавры приходили отовсюду, и среди них были и князья, и смерды.

Все сведения о последнем столетии Киевской Руси говорят и об ее внешней силе. К началу 13-го века она достигла богатства и широты быта. Описания иностранцев представляют Киев богатым городом с множеством церквей, монастырей, княжих палат и торжищ. Русские князья созидали библиотеки и устраивали школы. Многие из них владели несколькими иностранными языками. Они входили в сношения с иностранными королями и рождались с ними. Вся жизнь и быт князей и «больших» людей были богатыми и красочными.

Но, несмотря на это благосостояние, в Киевской Руси были внутренние недуги, медленное ее разрушавшие.

За три века бытия в Киевской Руси уже начало слагаться сознание национального единства — «всей русской земли». Но государственная власть не соответствовала этому единству. Князья «несли розно» русскую землю. Они не были связаны с землей и установив-

шимся в ней земским строем. Они переходили со стола на стол. Их конечной целью было великое Киевское княжение. Поэтому в уделах они были временными пришельцами, не связанными с земским строем. Сам переход со стола на стол вызывал распри. Этот порядок делался труднее с увеличением княжеского рода. Передвижение со стола на стол запутывалось все больше и больше. Меч был единственным средством разрешать эту путаницу. Удалые и умные князья начали захватывать уделы, не считаясь с правом старшинства. Земская Русь также начала вторгаться в дело размещения князей, призывая к себе князей вне очереди и старшинства. Князья вовлекали в свои распри уделы, бросая Киев на Чернигов, Переяславль на Смоленск. Усобицы сопровождалась обычным разграблением, поджогами, уводами скота. Южная Русь сама разрушала себя и при наличии сознания единства делилась на враждебные области.

Но была еще причина, медленно подтачивавшая силу Южной Руси. Приднепровская Русь лежала на границе степей, в глубине которых сменялись кочующие орды. При единстве власти Русь, быть может, могла бы отбиться от степей. Но постоянные усобицы делали ее беззащитной. Некоторые из князей в пылу междоусобной борьбы сами стали наводить половцев на русские пределы.

«Тогда сеяшеться и растяшет усобицами; погыбашет жизнь Дажь-Божа внука; в княжих крамолах веци человеком сократишася. Тогда по Русьской земле редко ратаеве кикахут, но часто врани граяхут, трупие себе деляше... Усобица князем на поганья погыбе, рекоста бо брат брату: се мое, а то мое же; и начаше князи про малое «се великое» молвити, а сами на себе крамолу ковати, а погании со всех стран прихождаху с победами на землю Русскую... Възстона бо, братие, Киев тугою, а Чернигов напастыми; печаль жирьна утече среди земли Русьския, а князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами победами нарищуше на Русьскую землю, емляху дань по беле от двора... Уже бо Сула не течет сребренными струями к граду Переяславлю, и Двина болотом течет оным грозным Полчанам под кликом поганых».

В этом плаче «Слова о полку Игореве» есть глубокая скорбь о всей русской земле и сознание ее единства. Но этого сознания не было у князей, за исключением лишь немногих. Не князья, а земская Русь блюла единство России, как и неизвестный автор «Слова о полку Игореве», обращаясь ко князьям с мольбой о мире: «Молимся, княже, тебе и братома твоима, не мозите межи собою погубити земли русские, юже бяше стяжали отцы ваши и деды трудом великим и храбростию»¹. Иногда голос земщины доходил до князей, и они, собравшись на съезде, разделяли уделы и сговаривались совместно защищать Русскую землю, каждому в своей отчине. За такими съездами следовали совместные походы на степь, и набеги временно прекращались. Но князья разъезжались в свои уделы, и новая усобица, поднятая каким-нибудь князем, недовольным разделом, снова разбивала княжества на враждующие стороны.

Набеги половцев были истинным бедствием Киевщины. Эти набеги совершались совершенно неожиданно и внезапно. Владимир

Мономах говорил на Долобском съезде: «Начнут (весною) люди орати и пришедше половцы, самех избьют, а лошади их возьмут, а в село ехавши и жены и дети их поемлют и все, что имеют, а села пожгут».

Слова Владимира Мономаха указывали другим князьям на самое роковое последствие половецких набегов. Эти набеги обрушивались на сельское население. Торговое городское население отсиживалось за стенами городов. Крестьянство же не имело защиты. Половцы внезапно появлялись из степей и так же внезапно скрывались со своим «пленом» в степи, теряясь в далеких и широких просторах трав, ковыля и яругов, шедших от пределов к берегам Азовского моря. Крестьянство вообще было угнетено рабством. Набеги кочевников переполняли чашу терпения. Население поднималось с мест и бежало с черноземья в места более бесплодные, но зато и более спокойные. Эти трагедии отчаявшихся смердов остались скрытыми и неизвестными. Но причины, побуждавшие их к уходу, были те же, которые побудили Андрея Боголюбского уйти с юга на север: «скорбя о нестроении братии своея, братаничев и сродников, яко всегда в мятежи и волнения вси бяху и много крови лияшеса и несть никому ни с кем мира и от сего вси княжения опустеша... и от поля половци выплениша и пусто сотвориша»...

Бедность и угнетенность сельского населения было одним из главных недугов Киевщины. Быстро воздвигнутое и богато украшенное здание Киевской Руси стояло на слабом фундаменте. Подземные воды усобиц и потоки половецких нашествий еще больше размывали этот фундамент. Здание стало быстро распадаться и неожиданно быстро рухнуло.

Одной из первых зловещих трещин было запустение и потеря торговых путей. Сами князья заметили появившуюся трещину. Так, в 1170 году Великий Князь Мстислав Изяславович заметил, что половцы «и Греческий путь изъотимают и Соляной и Залозный», — т. е. торговые пути в Византию, Тавриду и Хозарию. Съезд князей решил «поискати отец и дед своих пути и своей чести». Князья разбили половцев на Угле, но пути не были возвращены этой временной победой.

К концу 12-го века Киевская Русь заметно запустела. Целые города и области были оставлены жителями. Торговля пришла в упадок.

Татарское нашествие 1240 года окончательно сломило Киевщину. На несколько веков она вообще как бы вышла из русской истории.

В том споре, который теперь начинают вести о том, была ли Киевская Русь началом русского государства, явно смешиваются два понятия: духовно-культурное и внешне-государственное, великодержавное. Поскольку духовно-культурное начало является основным ядром всякого народа, обрастающим плотью внешнего государственного единства, совершенно бесспорно, что Россия начала существо-

вать в Киеве. Киев воспринял Православие и претворил его в русскую жизнь. Киев создал русское мирозерцание, русскую культуру. В 13-м веке и Киев, и Суздаль, и Новгород представляли собою внутреннее единство. И только эта внутренняя сила веры и культуры смогла превозмочь пришедший извне удар; только благодаря ей Россия не погибла «ако обре», но сама завоевала своих поработителей. Непрерываемая линия духовного преемства идет от Византии и Киева к Суздалью и от Суздаля к Москве.

Иначе обстоит дело с линией государственно-политического великодержавного преемства. Киевская Русь к концу своего существования все больше погружалась в провинциализм, теряя и свое единство, и свои торговые пути. Она не создала государственного единства и не передала его Суздалью. Суздаль наново начал строить свою государственность. Возникая из болот и лесов, он был еще более провинциальным. Татары, придя на Русь, не застали там единого государства. Каждое княжество оборонялось отдельно и отдельно гибло.

Вхождение Северной Руси в татарское царство приобщило ее к мировой истории. Оно открыло Суздалью те горизонты, которых у него до тех пор не было. Единая татарская власть была одним из главных факторов укрепления русского единодержавия и великодержавия. Московские князья обязаны своей властью не столько своей силе, сколько ловкой политике, благодаря которой они получали от ханов ярлыки на великое княжение. Власть хана сделалась той силой, воспользовавшись которой московские князья превозмогли центробежные силы удельного сепаратизма. Укрепившись под властью ханов, Москва свергла татарское иго, из завоеванной стала завоевательницей, постепенно начала расширять свою власть на области, прежде находившиеся под татарами. Это расширение шло через всю русскую историю.

Поэтому можно говорить о двух линиях преемства и двух наследиях Руси: о «наследии Византии и Киева» и о «наследии Чингис Хана». При отвержении одного из этих наследий взгляд на русскую историю становится односторонним, не охватывает полноты ее государственного бытия.

Первая линия преемства идет, не прерываясь, от Киева. Вторая начинается с Суздаля. Самый беглый взгляд на то, как складывалась Суздальская земля, уловит глубокое отличие от Киева. Все условия жизни на севере были иными. Под их влиянием Суздальская государственность с самого своего возникновения пошла самобытными путями.

Суздальская и Рязанская земли, лежавшие между Верхней Волгой и Окой, были глухой стороной. От Киевской Руси они были отделены непроходимыми и непроезжими «брынскими» лесами. Население страны — финские племена Емь, Вель и Мерь («Чудь», как их называли русские) — жили в болотных чащах и по берегам озер. Постепенно приходившие из Киевской Руси и из Новгорода переселенцы захватывали поселения Чуди, частью сливались с ней, частью отесняли ее еще дальше в леса. Так на урочищах Чуди возникли ста-

ринные суздальские города: Ростов и Переяславль на озерах Неро и Клещино и Суздаль на реке Малая Нерль. Киевские князья, случайно и временно приходя в Суздальскую землю, воздвигали там города. Ярослав Мудрый основал на Волге Ярославль, а Владимир Святой, или Владимир Мономах, — Владимир на Клязьме.

Суздальская земля дольше, чем другие области, оставалась языческой. Христианство встречало здесь ожесточенный отпор русского и финского населения. У просветителей земли не было поддержки княжеской власти, как на юге. Св. Леонтий, первый Суздальский епископ, постриженник Киево-Печерской Лавры, был изгнан язычниками из Ростова. Он ходил по всям, обращая в христианство народ, главным образом детей. Вернувшись в Ростов, он принял там мученическую смерть. Его преемник, Св. Исаия, тоже постриженник Киево-Печерской Лавры, продолжал его дело. Он проповедовал христианство, разрушал капища и воздвигал храмы. В одно время с ним жил Св. Авраамий, уроженец Суздальской земли, началоположенный иночества на севере. С детства возлюбив пустынное житие, он ушел из мира и на лесистых берегах озера Неро поставил себе келию. На месте разрушенного идола Велеса и Чудского конца Ростова Великого он основал Богоявленский монастырь — первую обитель на севере. Это было в конце 11-го века. Так христианство постепенно проникало из городов в глухие урочища и веси. Но язычники долго отстаивали свою веру. Летопись говорит о частых мятежах, вызванных происками волхвов.

Суздальская Русь, отделенная от Приднепровья лесами, долгое время лежала в стороне от общерусских дел и почиталась князьями за маловажный удел. Сначала она придавалась к Переяславскому княжеству, потом перешла в удел к младшей ветви Мономаховичей. Сам Владимир Мономах только изредка бывал на севере для устройства земских дел. Эта отверженность Суздальской земли послужила ей на пользу. Незаметно она увеличивалась и пополнялась переселенцами с юга. Ко времени Юрия Долгорукого она вступает в историю уже многолюдной землей.

Юрий Долгорукий первый почувствовал себя дома в Суздале и принялся за устройство земли. Он строил и укреплял города, воздвигал храмы, поощрял колонизацию, населял землю пленными. «Того же (6660) лета Князь великий Юрий Долгорукий Суздальский, был под Черниговом ратью и возвратился в Суздаль на свое великое княжение и пришед, много церкви созда: на Нерли святых страстотерпец Бориса и Глеба и во свое имя город Юрьев заложил, нарицаемый Полеский, и церковь в нем камену святого Георгия созда, а в Владимире церковь святого Георгия камену же созда, и город Переяславль от Клещина перенесе и созда больши старого и церковь в нем постави камену святого Спаса, а в Суздале постави церковь камену Спаса же святого»².

Начатое Юрием Долгоруким дело устройства земли и укрепления единой державы продолжали его сыновья и преемники — Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо³.

Благодаря все ускорявшемуся упадку Киевщины Суздальская

земля при Всеволоде сильно возвысилась и сделалась многолюдной. «Слово о полку Игореве» обращается к нему со словами: «Великий княже Всеволоде! не мыслю ти прилетети издалеча, отня стола поблюсти: ты бо можеша веслы Волгу раскропити, а Дон шеломы вылити».

Уже к времени княжения Всеволода — деда Св. Александра — Суздальская Русь окончательно сложилась. По сравнению с Приднепровьем в ней замечается много нового и самобытного, не похожего на прежний строй Киевщины.

Князья здесь перестали переходить со стола на стол. Они все больше становились хозяевами земли. Вместе с ними и дружина начала оседать и приобретать земский характер. Становясь хозяевами-собственниками, бояре перестали менять одно княжество на другое, «ищуще себе славы, а князю чти», а прочно обосновывались на своих землях. Интересы земли делались и их интересами. Быт князей и дружины стал более оседлым. Начала стираться грань между княжеством и вотчиной. Государственное управление приблизилось к княжескому хозяйству.

Вместе с тем изменился и весь строй земли. Вместо богатых торговых городов Киевщины здесь преобладало крестьянство, разбросанное по небольшим урочищам. Поэтому земская воля и притязания городов постепенно ослабели. Вскоре само слово «учинить вече» стало синонимом мятежа, беспорядка, стихийного и неорганизованного движения народа, временно вырывающегося из-под княжеской власти.

Пришлое русское население смешалось с коренным, финским. Это изменило его речь, быт и наружность. Под влиянием северной природы изменился характер и сложился новый великорусский тип.

По сравнению с Киевской Русью Русь Суздальская кажется возвращением назад, упадком. Ни один город на севере не может сравняться с Киевом. Образование и культура падают. Письменность и литература, высоко развившиеся на юге, замирают на севере. Весь внутренний облик Киева и Суздаля представляются глубоко различными.

Киев был устремлением к Византии, к степям и к Хозарии. С киевских гор открывались широкие горизонты и свободные дали. Все, что совершалось за рубежами, в Византии и в степях, было ему ведомо и непосредственно на него влияло. На севере горизонты сужаются, заслоняются лесами. Суздаль обращен на восток, к болгарам, более диким, чем Русь. Все, что доходит до него из других стран через Киев и Новгород, становится лишь далекими отголосками.

Киев как бы согрет отблесками золотопарчевой Византии. На юге князь и его дружина переходили из удла в удел, от стола к столу. Полям их интересов и стремлений была вся Русь. Удел и город были только временным житием, «прокормлением», а мысли их мерили просторы от Полоцка до Киева, от Новгорода до Тмутаракани. В Киеве — широта и размах. В киевских князьях былинная поэзия удали и

лихого полета. И все краски киевской жизни пестры, беспокойны, полны противоречий, языческого буйства жизни и строгости первых монастырей.

На севере эти краски тускнеют. В Суздале сдержанность, труд и прикованность часто на всю жизнь к одному городу, к одному урочищу. Работа над землей приковывала взгляд к одному болотистому, неплодородному полю. Мысль не могла рыскать по всей земле. Для этого не было и южных просторов. Здесь княжества затеряны среди широко, во все стороны, растекающихся рек, неизвестно куда выводящих, никуда не влекущих, как прямой и многоводный Днепр, устремленный к Византии. Поэтому на Суздале, по сравнению с Киевом, лежит печать глухого провинциализма, медвежьего угла.

И князь, и боярин, и смерд здесь упорно работает над землей. Пусть они иногда сталкиваются в своих интересах, спорят и восстают, — в них всегда есть единая воля.

В Суздале уже не чувствуется парчи. Образ Суздаля — серая, сермяжная Русь. И суздальский князь, и боярин, становясь хозяевами-вотчинниками, входят в быт. Их богатые одеяния вливаются в сермяжную Русь, становятся в ней неотъемлемым, ярким пятном. Киевцы презрительно называли суздальцев «мужиками залешанями». И правда, Суздаль — это мужик-залешанин. Надолго затерянный в болотах, он воспринял, сам еще дикий, дикость окружавшей его Чуди. Христианство и язычество смешалось в нем в то двоеверие, с которым боролся через пять веков в своей митрополии Св. Димитрий Ростовский. Как это двоеверие, Суздаль на много веков причудливо сочетал владимирские и ростовские храмы с курными избами и бревенчатými шалашами древолазов. И все это слилось в нем в единую задумчивую, в однообразии лесов и озер, картину. Суздаль создал русское пустынножителство, русские северные монастыри и погосты. Его благочестие, его вера иные, чем на юге. Он более целен, более смиренен. От Суздаля идет смиренная, убогая Русь. От Суздаля и великодержавность Москвы.

Одновременно с Суздалем на севере был еще один государственный центр, по своему складу отличный и от Киева, и от Суздаля, — Господин Великий Новгород. Целый ряд исторических причин повлиял на создание в Новгороде совсем особенного государственного строя.

Первые варяжские князья недолго пробыли в Новгороде и ушли на юг. Киев сделался центром их интересов и стремлений, и Новгород был предоставлен самому себе. Плодородная северная почва заставляла население заниматься охотой, рыболовством и бортничеством. Новгородским землям не хватало хлеба, и они должны были покупать его: источником жизни стала торговля. Сам Новгород Великий был средоточием огромного края. Новгород создавался и богател трудами самого населения, без особого участия княжеской власти. Власть в нем принадлежала тому, кто держал в своих руках торговлю, — крупным капиталистам-боярам. Само население создавало

страну и само население принимало участие в ее усилении. Поэтому верховной властью в Новгороде было вече, собрание всех свободных новгородцев. Это вече направлялось и руководствовалось боярами, но иногда «меньшие» люди восставали на людей «больших», на боярство. Это основное противоречие новгородской жизни — фактическое господство боярства и одновременная подчиненность его вечу — было источником постоянных распрей и междоусобий. В одном новгородцы были едины: в отстаивании своих вольностей. Князь для них был только предводителем войска и судьей, и они постоянно пытались ввести княжескую власть в эти границы. Прикованность князей к Приднепровью помогала новгородцам. В Новгороде не было своего княжеского рода, как в других областях. В течение 11-го и 12-го веков князь постепенно уступали свои права новгородцам. Вступая на княжество, они стали давать Новгороду договорные грамоты, в которых определялись их права. Эти права были очень ограничены. Так, князь не мог начинать войны без согласия Новгорода, должен был посылать тиунами на волости новгородцев, а не своих дружинников, не выдавать без посадника грамот, не судить холопов без участия в суде их господ, не собирать для себя дани в коренных новгородских владениях, пользоваться только княжескими селами, не приобретать для себя и для своих мужей земель в новгородских пределах, охотиться только в Руси и на 60 верст вокруг Новгорода, варить медь и ловить рыбу только в Ладоге, не затворять немецкого двора, вести торговлю с заморьем только через новгородских купцов и т. д. Всякая попытка князя перешагнуть эти границы вызвала отпор Новгорода. Поэтому князья за редкими исключениями не усиживались подолгу в Новгороде.

В Южной Руси княжеская власть и земский строй существовали одновременно и разъединенно, так и не слились, не образовали единства. В Северо-Восточной Руси княжеская власть поборола земский строй и подчинила его себе. В Новгороде же, наоборот, Суздаль, земский строй усилился за счет княжеской власти. Эта самостоятельность Новгорода наложила на него свой особый отпечаток, сказавшись во всем складе новгородской жизни.

Возвышение Суздаля столкнуло его с Новгородом. В Северной Руси оказалось два средоточия: крепкий своей княжеской властью Суздаль и богатый, свободолюбивый Новгород. В облике Суздаля и Новгорода — глубокая разница. Суздаль — мужик, залешанин, крепкий своей связью с землей, медленным, но верным ростом из болот. В Новгороде есть крепость горожанина-торговца, упрямого и свободолюбивого.

Новгород стал на пути Суздаля. Началась постоянная борьба суздальских князей с Новгородом. Эта борьба не похожа на южные усобицы. Это была борьба двух волей, двух упрямых стремлений.

Такова была историческая обстановка Руси к началу 13-го века — времени рождения Св. Александра Невского: на юге разрушающийся Киев, на севере — Суздаль и Новгород.

Св. Александр связан и с Суздалем, и с Новгородом. Поэтому его образ в детских и юношеских годах встает на фоне двух истори-

ческих картин: сермяжного, строгого, размеренного Суздаля и буйного, пестрого Новгорода. И уже только в зрелых годах мы видим Св. Александра в ханской ставке в глубинах Азии, на перепутье Русской истории, когда ему пришлось княжить в совсем новых, небывалых условиях и искать новых, не изведанных прежде путей⁴.

Примечания

¹ Полное собрание Русских Летописей. Изд. Археограф. Комиссии, СПб, 1856 г. Том VII, с. 14.

Дальнейшие ссылки приводятся по тому же изданию.

² Ипатьевская Летопись. (И. грабарь. «История Русского Искусства». Том I).

³ Приводим вкратце историю Суздальского княжества от Юрия Долгорукого до рождения Св. Александра Невского.

Юрий Долгорукий еще не был вполне Суздальским князем. Киев все еще влек его к себе. Он ушел на юг и умер на Киевском столе. Иным был его сын — Андрей Боголюбский. Андрей родился и вырос на севере и всецело врос в северную жизнь. Оторванный от нее и принужденный жить на юге, он скучал по северу. Ни Киев, ни уособицы князей не занимали его. Он думал там о Суздальской земле, где не было княжьих уособиц, где он мог спокойно княжить, созидавая храмы и закладывая новые города. Посаженный отцом в Вышгород, он в 1155 г. без разрешения отца — «без отчей воли», тайком ушел во Владимир, увезя с собою чудотворную икону Божией Матери, написанную Евангелистом Лукой, которая потом и прославилась на Руси под именем Владимирской.

Андрей Боголюбский был первым князем с яркой волей к единодержавию: «хотя самовластец быти всей земли Суздальской». В этом стремлении было не одно честолюбие. Для медленного и упорного строительства земли в Суздале была нужна крепкая и постоянная власть. Поэтому и Андрей Боголюбский предпочитал тихое население Суздаля вечам Киевской Руси. Сделавшись Великим князем Киевским, он не поехал в Киев, а правил им из Суздаля — пренебрежение к Киеву до сих пор еще небывалое.

Стремление к единовластию и ссора с дружинным и земским боярством погубили Андрея Боголюбского. В Петров день, 29-го июля 1175 года, он был убит своими домочадцами. Смерть его вызвала смуты в Суздальской земле, осложненные ссорой бояр и «лучших» людей с людьми «меньшими» — простонародьем, и недовольством старших городов, Ростова и Суздаля, против младшего — Владимира, возвышенного Андреем. После продолжительных усобиц Ростиславичей и Юрьевичей при происках и подмоге Рязани и суздальских городов великим князем сделался сын Юрия Долгорукого — Всеволод Большое Гнездо.

При нем окончательно сложилась Суздальская Русь. Всеволод был осторожный и умный князь. Перед ним стоял пример убитого брата Андрея Боголюбского. Крепко отстаивая свою власть, он все же соблюдал старину и держал в чести боярство и дружину. Победитель половцев и Рязани, он избегал войн, медлил вступать в битву, предпочитал уклониться от прямой встречи. Он был, как отец и брат, усердный храмостроитель.

В 1212 году Всеволод умер. Он оставил после себя шесть сыновей, из которых особенно выдвинулись трое: Константин, Юрий и Ярослав — отец Св. Александра Невского. Умирая, Всеволод разделил княжение

между своими сыновьями. Это вызвало усобицы. Младшие сыновья — Юрий и Ярослав, отказались признать старшинство Константина. Константин призвал на помощь смолян и новгородцев с князем Мстиславом Удалым. Произошла сеча у урочища Липцы на рассвете 23-го апреля 1216 года. Юрий и Ярослав были разбиты и бежали. Но Суздальская Русь не способствовала усобицам. Братья вскоре помирились, признав Константина Великим князем. Но Константин недолго прокняжил и скоро умер. По его смерти в 1219 году Юрий занял великокняжеский стол, а Ярослав получил в удел Переяславль-Залесский (где родился Св. Александр) и Тверь. Сыновья Константина сели в Ростове Великом и Ярославле.

⁴ Общим пособием к событиям домонгольского периода служат: С. М. Соловьев, «История России»; В. О. Ключевский, «Курс русской истории»; М. Любавский, «Древняя русская история до конца XVI в.»; Д. Иловайский, «История России».

ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Через 117 лет после кончины Св. Александра Невского, в субботу, 8-го сентября 1380 года, — в ту самую ночь, когда Дмитрий Донской со своей ратью стоял станом на Куликовом поле перед решительной сечей с Мамаевой ордой, — пономарю Владимирской церкви Рождества Пресвятой Богородицы было видение. Свечи возгорелись сами собою, два старца, выйдя из алтаря, подошли к гробу Св. Александра и сказали: «О, господине Александре, возстани и уснори на помощь правнуку своему, великому князю Димитрию, одолеваему сузду от иноплеменников». Св. Александр восстал из гроба и стал невидим.

В 1491 году, во время владимирского пожара, сгорела церковь Рождества Пресвятой Богородицы, но мощи Св. Александра, в это время уже местно прославленные и перенесенные из гробницы в открытую раку, у которой совершались многие чудеса¹, сохранились невредимыми и даже пелена, бывшая внутри раки, осталась нетронутой.

В 1552 году Иоанн Грозный, шедший со своей ратью на завоевание Казани, остановился во Владимире. Во время молебна о даровании победы, служившегося перед ракой, один из приближенных царя, по имени Аркадий, имевший до тех пор большую руку, исцелился. В этом исцелении Иоанн Грозный увидел предзнаменование победы. Исцеленный Аркадий написал впоследствии житие Св. Александра.

Под 1571 годом мы снова встречаем рассказ о видении у гроба Св. Александра во время нашествия на Москву крымского хана Девлет Гирея, подобном видению в ночь перед Куликовой битвой. По этому рассказу, один из иноков обители при храме Рождества Пресвятой Богородицы, по имени Антоний, молился ночью об избавлении Руси от татар. В видении он увидел двух всадников в светозарных одеждах, таких, какими на иконах изображают Св. Бориса и Глеба, которые, сойдя с коней и войдя в храм, сказали: «Возстани, брате

Александр! поспешим на помощь сроднику нашему, царю Иоанну, коему ныне предстоит брань с иноплемненниками». Св. Александр восстал из гроба. Потом Св. Борис и Глеб сказали: «пойдем ко Пресвятой Богородице, к сродникам нашим великим князьям Андрею, Всеволоду, Георгию и Ярославу, дабы и они с нами подвиглись на помощь». Далее инок передавал, что Св. Борис, Глеб и Александр, с восставшими из гробницы Андреем, Георгием и Ярославом, высоко переносясь на своих конях через городские стены, по направлению к Ростову, сказали: «Пойдем в Ростов к поборнику нашему, царевичу Ордынскому Петру, да и тот с нами поможет на безбожных агарян сроднику нашему царю Иоанну». В ночь этого видения татары сняли осаду Москвы и ушли в Крым.

Новое исцеление у гроба совершилось в следующем, 1572 году². После этого чуда продолжали повторяться. Последнее занесенное в житие чудо значится под 1706 годом³.

Почитание Св. Александра, как святого, началось, по-видимому, сейчас же после его кончины, вследствие чуда с разрешительной грамотой при погребении, о котором «проповедано бысть всем от Кирилла Митрополита и иконома Севастьяна». В духовном завещании 1256 года Великий Князь Московский Иоанн Иоаннович оставил сыну своему Димитрию Донскому икону «св. Александр»⁴. Над гробницей служили панихиды и молебны, но почитание это не было закреплено официальным церковным актом.

В 1380 году, после Куликовской победы, узнав о видении, бывшем у гроба Св. Александра, Митрополит Московский приехал во Владимир и велел открыть гробницу. Тело Св. Александра осталось нетленным после 117 лет пребывания в земле. Мощи с честью положили в открытой раке в том же храме Рождества Пресвятой Богородицы. Тогда же было установлено местное почитание Св. Александра и составлена церковная служба.

После усиления Москвы, совпавшего с ослаблением Византии, русская Церковь получила особенное, первенствующее значение. Москва становилась третьим Римом. Славу Церкви составляют ее святые. На Руси уже было много святых, прославленных местно, но память которых не почиталась еще всей Русской Церковью. Для составления общерусских святцев, свидетельства о чудесах и установления общецерковного почитания, Митрополит Макарий созвал церковный собор. Собор этот состоялся 26 февраля 1547 г., через 40 дней после венчания Иоанна Грозного на Царство. Иоанн Грозный говорил Собору: «взде на память мне и вождел и возревнова душа моя, яко великое и неистощимое богатство, от многих времен при прародителях наших сокровенно и забвению предано: великие светильники, новые чудотворцы многими и неизреченные чудеса прославлены Богом»⁵. Среди других святых, собор установил общецерковное почитание Св. Александра Невского и составил житие, службу и похвальное слово, в котором была засвидетельствована истинность чудес: «навестно со всецем испытанием о чудесех, бываю-

щих от честные его раки»⁶. Днем празднования Св. Александра было установлено не 14-ое ноября, день его кончины, а 23 ноября, день его погребения во Владимире.

Таким образом, прославление Св. Александра сначала совершилось без особого церковного акта. В 1380 году он был прославлен Церковью, но почитался лишь местно, во Владимирской епархии. Собор 1547 года подтвердил местное прославление и установил почитание его памяти всей Русской Церковью. Почти через шесть веков после смерти Св. Александра, по окончании Шведской войны, Петр Великий, в ознаменование Невской битвы, происходившей на месте основанной им столицы, построил Александро-Невскую Лавру и велел перенести в нее мощи Св. Александра. В 1723 году Крестный ход, несший мощи, вышел из Владимира в Новгород, по дороге, много раз пройденной Св. Александром, при его жизни. В Новгороде рака была поставлена на ладью и двинулась вниз по течению Волхова к Ладоге. На Неве ладью встретил Петр Великий. Мощи были перенесены на галеру. На руле сидел сам Император, а на веслах его сановники и сенаторы. Члены Св. Синода, во главе с новгородским архиепископом Феодосием, встретили крестный ход у ворот Лавры. В годовую день заключения мира со шведами — 30-го августа 1794 года — мощи были внесены в храм и переложены в новую серебряную раку. День перенесения мощей — 30-го августа — был установлен днем празднования памяти Св. Александра⁷.

Церковное прославление (канонизация) — это зримое прославление и установление почитания уже прославленных Богом угодников, внесение в церковные святцы тех, кто своей жизнью в Боге уже внесен в святцы небесные. Не все угодники и подвижники торжествующей небесной церкви прославлены земной церковью. Многие из них пребудут непрославленными до конца века. Зримо прославляются те святые, на прославление которых есть особые указания. Церковь прославляет святых на основании особых признаков, вследствие явного указания на то Божией воли, которая почти во всех случаях канонизации проявляется или в чудесах у гроба или нетлении мощей. Поэтому канонизации всегда предшествует тщательная проверка записей о чудесах. Чудеса у гроба — это как бы печать и свидетельство святости, уже достигнутой всей жизнью угодника.

В каждом прославлении есть глубочайшая поучительность. В нем заключается явное указание, что не только внутренняя жизнь угодника, но и тот путь, на котором он стяжал святость, и его служение благословлено Богом. Каждый святой своим прославлением оставляет живущим свои благодатные заветы.

То, что Св. Александр достиг святости, которая и была явлена чудом при погребении, своим княжеским служением, было осознано еще летописцем, описавшим его погребение. «Тако бо Бог прослави угодника своего, иже много тружеса за землю Русскую... и за всю землю Русскую живот свой полага за православное христианство». Завет Св. Александра говорит, что защита родины и труд для нее, ес-

ли он совершается во имя Бога, есть исполнение Божьей воли. В нем и через него мы видим благословение мирского и государственного пути и приятие жизни. Его жизненный путь не есть отвержение аскетических, монашеских путей, но лишь свидетельство многообразия путей спасения, в зависимости от личного дара и призвания, как и свидетельство того, что среди этих путей есть и путь служения государству. Его жизнь, обличение тех, кто, сам не становясь на трудный и великий путь монашества и аскетизма, пренебрежительно отвергает государственное служение и родину, как служение несовместимое с религиозным делом, кто проповедует дурную отрешенность от мирских дел. Св. Александр шел путем мирского служения, через все его трудности, через все искушения и грехи, связанные с миром, но он в сонме праведных, в едином духе с теми, кто достиг святости подвижничеством в пустыне. Пример его жизни говорит, что постоянное памятование о Боге подвигло его не на бездействие и не на забвение России, но что, наоборот, именно в вере и церкви он черпал силу для своего государственного труда. Пример его жизни говорит далее, что только самоотвержение и жертвенный подвиг отдачи себя своему служению, могут принести подлинные плоды, что и мирское делание требует подвижничества. Наконец, он говорит, что не противоречит Писанию и не уклоняется от учения Церкви стремление создать свою страну на вечных истинах церковного учения. Его пример зовет к бодрости, к ясности, к простоте духа, к подлинному реализму в жизни духовной и земной, к неустанной твердости, к непоколебимой вере.

Примечания

¹ Житие передает следующие случаи исцеления в период 1380—1571 гг.: У раки Св. Александра прозрели две слепые женщины. Хромой, имевший сухую ногу, начал ходить. Расслабленный стал снова владеть руками и ногами. После молебна у раки исцелились два инока Рождественской обители, а также сыновья бояр Истома Головний и Симеон Забелин. Живший в обители чернец Терентий и два крестьянина, одержимые беснованием, были насильно приведены к раке и исцелились.

² В 1572 году бесноватый Феодул был привезен в обитель и получил исцеление. В том же году прозрела слепая женщина из пригородного владимирского села Красного.

³ Последним исцеленным был крестьянин Владимирского уезда, из монастырской деревни Угрюмовой, по имени Афанасий Никитин. Исцеление произошло 10-го марта 1706 года.

⁴ Проф. Е. Голубинский. «История канонизация святых в русской Церкви». Сергиев-Посад, 1894 г., с. 41.

^{5,6} Ibid., с. 64, 65

⁷ День памяти Св. Александра Невского несколько раз менялся. В 1724 г. было повелено праздновать 30-го августа; в 1727 г. по-прежнему 23-го ноября, в 1730 г. снова, и уже окончательно, 30-го августа. В настоящее время Церковь празднует наряду с 30-м августа, также и 23-го ноября, но главным праздником считается 30-ое августа. В этот же день совершается престольный праздник Церквей, воздвигнутых во имя Св. Александра.



Антонина Николаевна Клепинина. Публикуется впервые.

Антонина Николаевна и Николай Андреевич Клепинины. Середина 30-х годов (?). Публикуется впервые..



«Я ВОЗВРАЩАЮ СЕБЕ СВОБОДУ»

Имя Игнатия Рейсса (Игнатия Станиславовича Порецкого), резидента советской разведки в Европе, публично порвавшего в 1937 году со сталинским режимом, почти неизвестно читателю. Оно лишь недавно стало появляться на страницах наших изданий, да и то в связи с тем, что в организации его убийства деятельное участие принимал муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, выполнявший во Франции задания НКВД.

Письмо Рейсса, переданное им в июле 1937 года в советское посольство в Париже и стоившее ему вскоре жизни, было написано за два года до знаменитого письма Ф. Раскольникова. Письмо Рейсса заслуживает того, чтобы оно тоже стало известным. Ничто лучше документов не может дать достоверное представление о времени.

Поэтому ниже мы публикуем это письмо, отрывок из некролога, напечатанного тогда же в Бюллетене оппозиции, и страницы из книги Эльзы Порецкой, свидетельствующей об обстоятельствах убийства ее мужа.

ИГНАТИЙ РЕЙСС*

Игнатий Рейсс родился 1 января 1899 года в мелкобуржуазной еврейской семье в Польше. Еще на гимназической скамье он примкнул к революционному движению, которое захватило его целиком, когда он учился на юридическом факультете Венского университета. Будучи членом австрийской КП, И. Рейсс в 1920 г. посылается на нелегальную работу в Польшу. Вскоре последовал арест, пытки и приговор к пяти годам тюрьмы. Но через полгода тов. Рейссу удалось (под залог) снова получить свободу. Совсем молодым, в героическую эпоху русской революции, Рейсс вступает в непосредственную связь с Москвой, по заданиям которой он с того времени работает: в 1923—1926 гг. — нелегально в Германии (в Рурской области); вернувшись в Вену и проведя там некоторое время в тюрьме, он в 1927 г. едет в Москву и становится членом ВКП. Ближайшие годы проходят на нелегальной работе в разных странах Центральной и Восточной Европы; в 1929 — 1932 гг. — в центральном аппарате в Москве, затем снова за границей.

Тов. Рейсс верил или старался верить, что служит делу рабочего класса, а не сталинской клике. Но сомнения мучили его все больше. В 1936—1937 гг. ускорившееся разложение сталинщины и, в частности, московские процессы, глубоко потрясшие Рейсса, толкнули его к выводу, что нужно резко и навсегда порвать со сталинской кликой. Большое моральное и личное мужество требовалось, чтоб вычеркнуть из жизни многие годы самоотверженной работы, чтобы пойти на разрыв со Сталиным — Ежовым. Игнатий Рейсс лучше, чем кто бы то ни было, знал, что ему грозит. Но решение его было непреклонно.

Связавшись весной этого года со сторонниками Четвертого Интернационала, И. Рейсс прежде всего предупредил их о том, что в Москве принято решение любыми средствами «ликвидировать» заграничных троцкистов и антисталинских коммунистов.

В июле 1937 г. тов. И. Рейсс посылает — под псевдонимом «Людвиг» — письмо в ЦК ВКП о разрыве со Сталиным и покидает тот весьма ответственный пост, который он занимал. В ответ на это заявление будущие убийцы тов. Рейсса рассылают полициям европейских стран анонимный и обстоятельный донос на покойного, изображая его уголовным преступником...

Порвав со своим прошлым, И. Рейсс строит планы на будущее, планы революционной и литературной работы в рядах Четвертого Интернационала. Он надеется завоевать и некоторых из своих бывших товарищей. С этой целью он встречается 4 сентября в Лозанне с некоей Гертрудой Шильдбах (урожденной Нейгебауер), сотрудницей ГПУ, работавшей в последнее время в Италии. Близко зная ее в течение 20 лет, И. Рейсс относится к ней с полным доверием. На свидании, происходящем в присутствии жены тов. Рейсса, Г. Шильдбах

* Фрагмент некролога печатается по Бюллетеню оппозиции 1937, № 58—59, стр. 21—22.

говорит о том, что она якобы также хочет порвать со сталинщиной. Собеседники обсуждают планы на будущее, тов. Рейсс советует Шильдбах присоединиться к Четвертому Интернационалу. Вечером Шильдбах приглашает тов. Рейсса поужинать с ней в окрестностях Лозанны. При выходе из ресторана к ним подъезжает машина; Рейсс оглушен ударом кистеня, втащен в автомобиль и убит. В теле покойного найдено было семь пуль. Пять из них попало в голову. И. Рейсс жестоко отбивался. В его сжатой руке найден был клоч волос предавшей и продавшей его Шильдбах... Бросив окровавленную машину в Женеве, физические убийцы, — их было, по данным швейцарской полиции, по меньшей мере пять человек, — выехали на такси в Шамоникс, а оттуда поездом в Париж.

Швейцарской полиции удалось захватить лишь швейцарскую сталинку¹, на имя которой был нанят автомобиль, и чемодан Гертруды Шильдбах, оставленный ею в гостинице. Среди вещей были найдены многочисленные фотографии Шильдбах...

ПИСЬМО В ЦК ВКП

Письмо, которое я вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, в тот день, когда «шестнадцать» были убиты в подвалах Лубянки по приказу «отца народов»².

Я тогда молчал, я не поднял голоса протеста и при последующих убийствах³, и за это я несу большую ответственность. Велика моя вина, но я постараюсь ее загладить, быстро загладить и облегчить этим свою совесть.

Я шел вместе с вами до сих пор — ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма.

С двадцатилетнего возраста я веду борьбу за социализм.

Я не хочу теперь, на пороге пятого десятка, жить милостями Ежова⁴.

У меня за плечами 16 лет нелегальной работы, это немало, но у меня еще достаточно сил, чтобы начать все сначала. А дело именно в том, чтобы «начать все сначала»; в том, чтоб спасти социализм. Борьба началась уже давно — я хочу в ней найти свое место.

Шум, поднятый вокруг полярных летчиков⁵, должен заглушить

¹ Рената Штейнер.

² С 19 по 24 августа 1936 г. в Москве прошел процесс по делу «троцкистско-зиновьевского центра» (Л. Каменева, Г. Зиновьева и др.) или, как его называли, «Процесс 16-ти». Все подсудимые были расстреляны.

³ С 23 по 30 января 1937 г. в Москве прошел процесс по делу «антисоветского параллельного троцкистского центра» (Г. Пятакова, К. Радека и др.). 11 июня состоялся суд над М. Тухачевским и другими военными.

⁴ Н. И. Ежов (1895—1940) возглавлял НКВД с 1936 до 1938 г. Арестован в 1939 г., расстрелян.

⁵ Имеется в виду перелет через Северный полюс в Ванкувер (США) В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова, 18—20 июня 1937 г.

крики и стоны терзаемых в подвалах Лубянки, в Свободной, Минске, Киеве, Ленинграде и Тифлисе. Этому не бывать. Слово, слово правды, все еще сильнее самого сильного мотора с любым количеством лошадиных сил.

Верно, что летчикам-рекордсменам легче добиться расположения американских леди и отравленной спортом молодежи обоих континентов, чем нам завоевать мировое общественное мнение и потрясти мировую совесть! Но не надо себя обманывать, правда проложит себе дорогу, день суда ближе, гораздо ближе, чем думают господа из Кремля. Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет забыто и ничто не будет прощено. История — строгая дама, и «гениальный вождь, отец народов, солнце социализма» должен будет дать ответ за все свои дела. Поражение китайской революции, красный референдум и поражение немецкого пролетариата, социал-фашизм и народный фронт¹, признания, сделанные Говарду², и нежное воркование вокруг Лавалья³ — но гениальнее другого!

Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми; все они еще заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все — невинно убитые и оклеветанные — и международное рабочее движение их реабилитирует, всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробнисов и Серебряковых, Мдивани и Окуджава, Раковских и Нинов⁴, всех этих «шпионов и диверсантов, агентов Гестапо и саботажников». Чтобы Советский Союз и вместе с ним и все международное рабочее движение не стали окончательно жертвой открытой контрреволюции и фашизма, рабочее движение должно изжить своих

¹ Речь идет о революции 1925—1927 гг., о плебисците в Германии в августе 1934 г. с целью придания законности приходу Гитлера к власти, который проходил в обстановке жесточайшего террора, и о крушении попыток КПГ создать в Германии в 1936—1937 гг. единый рабоче-народный фронт.

² 1 марта 1936 г. Сталин дал интервью американскому журналисту Рою Говарду.

³ Пьер Лаваль (1883—1945) — премьер-министр Франции в 1931/32 и 1935/36 гг. В 1934/35 — министр иностранных дел. 2 мая 1935 г. в Париже полпредом СССР во Франции В. П. Потемкиным и Пьером Лавалем был подписан советско-французский договор о взаимной помощи. Во второй мировой войне Лаваль — сторонник «умиротворения» фашистских агрессоров, капитулянт. В 1943 г. — глава коллаборационистского правительства Виши. Казнен как изменник.

⁴ Л. Каменев, С. Мрачковский и И. Смирнов осуждены и расстреляны в августе 1936 г.; Н. Муралов, Я. Дробнис и Л. Серебряков — в январе 1937 г., П. Мдивани и М. Окуджава были расстреляны в Грузии; Х. Раковский арестован в 1936, судим в 1938 и расстрелян в 1941 г. Все реабилитированы посмертно. Андрес Нин — деятель Коминтерна и Профинтерна, был выслан из СССР. Руководитель Объединенной марксистской рабочей партии Испании (ПОУМ). Был арестован в июне 1937 г. в Барселоне и умер в августе того же года в тюрьме во время следствия. Возможно, был убит.

Сталиных и сталинизм. Эта смесь — из худшего, ибо беспринципно-го — оппортунизма с кровью и ложью грозит отравить весь мир и уничтожить остатки рабочего движения.

Самая решительная борьба со сталинизмом!

Не народный фронт, а классовая борьба; не комитеты, а вмешательство рабочих для спасения испанской революции — вот что стоит сейчас в порядке дня!

Долой ложь о социализме в одной стране и назад к интернационализму Ленина!

Ни II, ни III Интернационал не способны выполнить эту историческую миссию; разложившиеся и коррумпированные, они могут только удерживать рабочий класс от борьбы; они только еще пригодны на то, чтоб играть роль помощников полицейских для буржуазии. Какая ирония истории: раньше буржуазия поставляла из собственных рядов Кавеньяков и Галифэ, Треповых и Врангелей¹, а теперь под «славным» руководством обоих Интернационалов пролетарии сами выполняют работу палачей в отношении своих товарищей. Буржуазия может спокойно заниматься своими делами; везде царит «спокойствие и порядок»; есть еще Носке и Ежовы, Негрины и Диазы². Сталин их вождь, а Фейхтвангер³ их Гомер.

Нет, я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу.

Я хочу предоставить свои скромные силы делу Ленина; я хочу бороться, и только наша победа — победа пролетарской револю-

¹ Луи Эжен Кавиньяк (1802—1857) — генерал, в 1848 г. военный министр Франции. Руководил подавлением июльского восстания 1848 г. в Париже. Гастон Огюст Галифэ (1830—1909) — генерал, один из палачей Парижской Коммуны 1871 г. Отличался особой жестокостью. Ф. Ф. Трепов (1812—1889) — генерал, с 1867 по 1878 гт. — обер-полицеймейстер и градоначальник Петербурга. Отличался жестокостью при обращении с политическими заключенными. 24 января 1878 г. в него стреляла В. Засулич. Была оправдана судом присяжных. Н. Н. Врангель (1878—1928) — генерал-майор, участник русско-японской и Первой мировой войны. С августа 1918 г. в добровольческой армии. В 1924 г., в эмиграции, создал и возглавил Русский общевоинской Союз (РОВС).

² Густав Носке (1868—1946) — германский правый социал-демократ, член Совета народных уполномоченных во время Ноябрьской революции 1917 г. Будучи военным министром, подавил всеобщую политическую забастовку берлинских рабочих в январе 1919 г. Хуан Негрин (1894—1956) — премьер-министр испании в эмиграции. Член Испанской социалистической рабочей партии с 1929 г. Хосе Диас (1895—1942) — генеральный секретарь КП Испании (КПИ) с 1932 г.; во время Испанской революции 1931/39 гт. организовал Народную армию.

³ Имеется в виду просталинская позиция Лиона Фейхтвангера, выраженная, в частности, в книге «Москва, 1937». В ней Фейхтвангер описывал процесс Пятакова и Радека, на котором он присутствовал. Книга была издана на немецком языке и в кратчайший срок переведена и опубликована на русском языке. В 1939 г. была запрещена и изъята из библиотек.

ции — освободит человечество от капитализма и Советский Союз от сталинизма.

Вперед, к новым боям за социализм и пролетарскую революцию! За организацию IV Интернационала!

ЛЮДВИГ

17 июля 1937 г.

P. S. В 1928 году я был награжден орденом «Красного знамени» за мои заслуги перед пролетарской революцией. При сем возвращаю вам этот орден. Носить его одновременно с палачами лучших представителей русского рабочего класса — ниже моего достоинства.

(В «Известиях» за последние 14 дней были приведены имена награжденных орденами; функции их стыдливо не были упомянуты: они состоят в приведении приговоров в исполнение.)

Л.

Эльза Порецкая

НАШИ воспоминания об Игнати Рейссе и его друзьях*

Убийцы Людвигу наверняка находились в кафе, где мы встретились с Шильдбах. Им надо было проследить, чтобы она не раскололась. Теперь, когда я вновь и вновь возвращаюсь к тому последнему свиданию, я убеждена, что она была очень близка к срыву. Ее нервы могли сдать в самую последнюю минуту: еще и вечером того дня, за ужином, она могла предупредить Людвигу и спасти его. Но она оцепенела от страха, да и обещание Росси жениться на ней, тоже, наверное, сыграло свою роль.

Людвиг и Шильдбах ужинали в пригородном ресторанчике. Уже смеркалось, когда они стали возвращаться, за ними шла какая-то машина. Людвиг, должно быть, слишком поздно понял, что Шильдбах заманила его в ловушку. Он не сдался без боя — в сжатых пальцах у него остались клоки ее седых волос. Убийцам пришлось проехать не один километр, прежде чем в безлюдном месте они избавились от изрешеченного пулями тела. Что должна была чувствовать Шильдбах, сидя рядом с осевшим трупом единственного человека, заботившегося о ней? В отличие от Ренаты Штейнер, которая, по видимому, не догадывалась, что она будет замешана в убийстве,

* Elisabeth K. Poretsky. *Our Own People. A Memoir of Ignace Reiss and His Friends.* London, Oxford University Press, 1969, pp. 236—242.

OUR OWN PEOPLE

A Memoir of 'Ignace Reiss' and His Friends

ELISABETH K. PORETSKY

London

OXFORD UNIVERSITY PRESS

TORONTO MELBOURNE

1969

Э. Порецкая. «Наши. Воспоминания об Игнатии Рейссе и его друзьях».
Лондон, 1969 год.
Титульный лист.

Шильдбах знала, что Людвига убьют и что она выдавала не предателя правосудию, а коммуниста банде убийц-белогвардейцев и контрреволюционеров, нанятых Советским Союзом. Если же она пошла на все это ради любви и видов на замужество, то и тут она обманулась — как только убийство было совершено, любезностей России будто и не бывало: от него самого и его сообщников разило хамством убийц, которым надо было теперь предстать вместе с ней перед НКВД, дабы получить вознаграждение.

От швейцарской полиции я узнала, что Росси спал и с молоденькой Ренатой Штейнер, и с одинокой и стареющей, жалкой Гертрудой Шильдбах. Таково было его оплаченное амплуа. Однако Ренатой Штейнер, которой тоже заплатили, двигали во многих отношениях другие мотивы, чем Гертрудой Шильдбах.

Швейцарскую полицию удовлетворили показания Штейнер, и я тоже убеждена в искренности ее слов о том, что она не знала, на кого работала, думая, что приносит пользу Советскому Союзу. У нее, видимо, было лишь смутное представление об НКВД как организации. В Советском Союзе она побывала однажды в качестве туриста, приятно провела там время, и ей захотелось повторить вояж.

Она поведала швейцарской полиции о своей юности, не упомянув, правда, о том, за что ее сдавали в заведение для душевнобольных в местечке Милен под Цюрихом. На вопрос полиции, почему родители сделали это, она ответила, что им не понравилось одно ее любовное увлечение. По выписке из больницы она знакомится с коммунистами, которые рассказывают ей о Советском Союзе. Тем временем умирает ее мать, оставив ей кое-какие деньги, и она отправляется туристом в СССР. Там у нее было несколько романов и предложений выйти замуж (хотя кавалеры всегда испарялись), но получить вид на жительство или на работу ей так и не удалось. Она решила во что бы то ни стало приехать снова. Когда она обратилась за визой в советское посольство в Париже, ее направили в Союз возвращения русских эмигрантов¹.

Русская белая эмиграция делилась на несколько группировок, и хотя у них была общая цель — борьба с коммунизмом в России, — они беспрестанно враждовали между собой, плели интриги, доносили друг на друга французской полиции. В такой среде было легко вести вербовочную работу — ведь эмигранты были неимущими, оторваны от корней, деморализованы, они расхотелись даже в своих оценках того, что происходило в Советском Союзе. Все они одобряли ликвидацию Сталиным революции, но не обольщались насчет своего будущего — монархисты не питали иллюзий в отношении того, что Сталин возведет на трон нового Романова, а царские офицеры не могли помышлять о восстановлении их прежнего статуса. И в той, и в другой группировке у Советов давно действовали агенты, причем главные усилия сосредоточивались на объединении кадетов, так называемом кружке Гучкова. Основанный Александром Гучко-

¹ Официальное название: Союз возвращения на Родину.

вым, бывшим членом Думы и военным министром после отречения царя, этот кружок был самым активным и, следовательно, наиболее насыщенным агентами среди белоэмигрантских групп, попав с самого начала своего существования под пристальное внимание Советов.

Разномастные эти группы сливались в Союзе возвращения русских эмигрантов, располагавшемся в доме № 12 по улице Бюси. Эта организация загадочным образом процветала. Некоторые из ее членов, те же длиннородые православные священники с тяжелыми крестами на груди, должно быть, недоумевали: откуда берутся деньги, если репатрированных или хотевших вернуться русских раз-два и обчелся. Советам нужны были маститые эмигранты, например, православные священники, дабы придать организации респектабельный глянец. Были, правда, и такие, кто не отличался чрезмерным любопытством, так как их не привлекали к активной деятельности. Советы искали молодых людей, которые могли бы проникать во французские круги посредством своих связей с женщинами, выслеживать коммунистов, подозреваемых в антисоветских настроениях, совершать взломы квартир, где, по данным Советов, были улики, которые могли быть использованы против них, людей, готовых убивать.

Именно на Бюси Рената Штейнер познакомилась с Сергеем Эфроном, который в свою очередь представил ее Марселю Роллэну (он же Дмитрий Смиренский), жившему в Париже по соседству со Львом Седовым, сыном Троцкого. Эфрон и Смиренский пообещали Штейнер репатриантскую визу, хотя она и была швейцарской, а не русской подданной, в обмен на оказание услуги Советскому Союзу. Речь шла о том, чтобы она познакомилась с четой Седовых, отдыхавшей в Антибе, на юге Франции. Штейнер согласилась на такой пустяк по сравнению с визой, к тому же не лишенный приятности. Она сняла комнату рядом с седовской. Ее снабдили деньгами и гардеробом да попросили всего-навсего сообщать Эфрому и Смиренскому о передвижениях Седова. Она, конечно, с честью выполнила поручение. С тех пор ее часто можно было видеть в Париже в компании ее обоих покровителей. Она уже не очень горела получить визу теперь, когда вокруг нее были мужчины, причем, по-видимому, несемейные. Помимо Эфрона и Смиренского, она познакомилась с Кондратьевым, белоэмигрантским журналистом и тоже членом Союза возвращения.

Рената Штейнер рассказала швейцарской полиции все, что требовалось для расследования убийства Людвига. Она сообщила им название отеля в Лозанне и имена двух постояльцев: Франсуа Росси, выдававшего себя за француза по фамилии Абиат, тогда как полиция установила, что он был гражданином Монако, и Гертруды Шильдбах. В снятых ими смежных номерах были найдены их вещи, причем в чемодане Росси обнаружили подробный план дома в Мексике, где жил Лев Троцкий. Как оказалось, Росси-Абиат был небезывестен международной полиции и однажды арестовывался в США. Тот факт, что убийцы бросили багаж и коробку напичканную стрихнином конфет, предназначавшихся мне и моему ребенку, говорил о том, что они не

возвращались в отель после убийства; они бежали, не расплатившись.

Штейнер сообщила полиции, что это она привезла коробку конфет из Парижа, переданную ей 25 августа неким Лео, с которым она познакомилась через Пьера-Луи Дюкоме и другого француза Этьена-Шарля Мартины. «Лео» поинтересовался, умеет ли она водить автомобиль, и когда она сказала, что у нее швейцарские водительские права, тот вручил ей конфеты, а также письмо для Росси, который должен был ждать ее в Берне. Встретив ее, Росси велел ей взять в прокатном агентстве «Казино» машину, затем сел за руль и уехал. Это было 2 сентября. Когда Росси заехал за ней снова, в машине уже сидели Кондратьев, Смиренский, Эфрон¹ и Шильдбах, которую она только тут увидела в первый раз. Штейнер и Кондратьева довели до Мартины, откуда ей было велено проследовать в нашу горную деревушку Финхаут. Штейнер рассказала полиции, как она увидела Людвига в деревне, улыбнулась ему и помахала рукой. Потом Кондратьев и она пошли в гостиницу в Мартины². 4 сентября она следовала по пятам за мной из Лозанны в Террите и позвонила в гостиницу «Дё ля Пэ», доложив, что «Дядя» вышел из дому. Шильдбах распорядилась, чтобы она немедленно отправилась в Берн, где ей предстояло на следующий день встретиться с Росси. Кондратьеву же послали в Мартины 4 сентября телеграмму с предписанием вернуться «домой»; он понял и возвратился в Париж. Он и Рената Штейнер сделали свое дело.

Прождав напрасно Росси в Берне, Штейнер попыталась дозвониться ему в Лозанну и Париж — никто ей не ответил. Ее бросили одну. В то время, как она силилась связаться с друзьями, она прочитала в газетах о преступлении под Лозанной, но ей и в голову не пришло, что оно имеет к ней отношение. От одиночества ей стало не по себе, и она отправилась в агентство «Казино» разузнать о машине. Там ждала ее полиция, установившая тем временем, что окровавленный автомобиль, найденный в Женеве, принадлежит этому бернскому агентству.

Убийцы в панике провалили хорошо организованное во всех других отношениях преступление, оставив после себя свидетеля, который их всех назвал и вскрыл тщательно охранявшуюся тайну использования белоэмигрантских организаций на службе Советского Союза. Самим же убийцам удалось улизнуть. Французская полиция допрашивала Эфрона³ и Смиренского, но отпустила их. По словам французов, оба выехали в Испанию. Дюкоме находился в Париже,

¹ Из показаний Штейнер полиции следовало, что С. Эфрона в машине не было.

² 3 сентября в Лозанне швейцарская полиция, проверяя документы в связи с приездом маршала Петэна в качестве наблюдателя на учения швейцарской армии, задержала Кондратьева. Однако его паспорт был в порядке, и его отпустили. — *Прим. авт.*

³ Согласно материалам французской полиции, ей не удалось допросить С. Я. Эфрона, так как он спешно покинул Францию.

однако французские власти отказались выдать его на том основании, что он был французским подданным. Высокие политические соображения — французско-советский договор о взаимной дружбе, подписанный Сталиным и Лавалем, — сорвали сотрудничество между французской и швейцарской полицией, и Кондратьев получил возможность скрыться, а затем приложить руку к другому преступлению, содеянному три недели спустя. Но поскольку похищение генерала Миллера, в котором был замешан Кондратьев, произошло в Париже, на французской земле, французы не могли окреститься от него, как это было с убийством Людвига¹.

Что касается Росси и Шильдбах, НКВД, видно, заранее позаботься об их отъезде — для них были готовы паспорта и надежное укрытие, где они могли переждать, наблюдая за ходом следствия. Не исключено, однако, что после такого правала их надо было как можно скорее убрать из Европы. Убийц могли доставить в Испанию, а там посадить на советское судно, или отправить на судне из французского или бельгийского порта в Москву для получения мзды от НКВД. Но Москве нельзя было больше воспользоваться мастерством Росси-Абиата — полиции всего мира разыскивали его, а его приметы и фотография были напечатаны в газетах. Ну, а Шильдбах? На что она могла надеяться? Она помогла убить революционера, единственного друга в ее жизни, человека, которого она чтит, уважала, слушала, и... оставила в живых меня. Этим она нарушила приказ и испортила все дело. Отправил ли ее НКВД в холодные края, как это обычно делалось со скомпрометировавшими себя агентами, дабы они никогда не попались европейцам на глаза? Была ли она ликвидирована на месте? Или ей дали покончить с собой?

К приезду в Лозанну Снивлита², которого я вызвала телеграммой, у швейцарской полиции была вся необходимая информация, и можно было приступить к опознанию трупа и передаче его для захоронения. Полиция взяла под свою опеку моего сына с тем, чтобы дать мне и Снивлиту возможность присутствовать при кремации. Нас было трое в огромном колумбарии лозаннского кладбища: Снивлит с женой и я. У двери, не бросаясь в глаза, стояли двое швейцарских полицейских в штатском.

¹ Кондратьев был первым помощником генерала Скоблина, советского агента с большим стажем, который сыграл роль Шильдбах: он заманил генерала Миллера, возглавлявшего Русский общевоинский союз, на свидание, с которого генерал не вернулся. Миллер оставил записку, изобличавшую участие Скоблина в похищении, однако Скоблин, улучив момент, исчез, бросив свою жену, певицу Надежду Плевицкую, на произвол судьбы. Французские власти передали ее суду, на котором выяснилось, что Скоблин и Кондратьев были членами гучковского кружка, поддерживавшего связи с германским генеральным штабом. Суд также пролил свет на причины похищения Миллера: он знал, что «доказательства» предательства Тухачевского и других генералов Красной Армии были сожжены нацистами, действовавшими через Скоблина. — Прим. авт.

² Хенк Снивлит (1883—1942) — голландский троцкист, близкий знакомый Людвига. Участник голландского Сопротивления. Казнен немцами.

Мы со Снивлитом сказали полиции, что Ганс Эбергард¹ — вымышленное имя, и назвали убитого по фамилии Рейсс, о чем мы заранее договорились. Как-то Людвиг упомянул при мне, что в его роду были Рейссы. Мы же остановились на этой фамилии потому, что я была уверена, что в Москве она не значится. По мнению Снивлита, это могло содействовать нашей с сыном безопасности. Так Игнатий С. Порецкий стал Игнатием Рейссом; под этим именем он и получил известность. Мы сказали полиции, что погибший был советским коммунистом, противником нынешнего режима в Советском Союзе, но не сообщили каких-либо других сведений о нем, в частности, с каким советским ведомством он был связан. Нам не хотелось давать огласку всему, тем более что письмо Людвига было широко опубликовано, а расследованием его дела занималась лишь полиция. Нам казалось, что мы поступили по его желанию. Ему хотелось придать гласности свой разрыв с Советским Союзом и привлечь к нему внимание всего мира и, как он надеялся, коммунистов за границей. Он не стал просить полицию обеспечить ему охрану, и я пришла в полицию только опознать труп. НКВД обязан сам себе тем, что дело попало в руки полиции прежде, чем о нем узнал что-либо другой, помимо Москвы.

Швейцарская полиция передала мне бумажник Людвига. В нем были французские и швейцарские счета да билет на поезд в Реймс, пробитый пулей.

**Вступление, публикация и комментарии
Маэль Фейнберг, Юрия Клюкина**

¹ На убитом Людвиге был найден паспорт на имя чехословацкого гражданина Германа Эбергарда.

СМЕРТЬ В ЛОЗАННЕ

Игнатий Рейсс родился в 1899 году в Восточной Галиции, принадлежавшей тогда Австро-Венгерской империи, в 1919 году вступил в Польскую коммунистическую партию, работал на аппарат Коминтерна из Вены и Берлина. В начале 30-х годов Рейсс вместе с Вальтером Кривицким входил в число наиболее ценных работников Главного разведывательного управления (ГРУ) Красной Армии. Они не считали себя агентами в нынешнем понимании этого слова, они называли себя солдатами мировой революции. Октябрьская революция была для них первым выстрелом войны, объявленной социальным неравенству и национальному угнетению.

После того как в 1933 году фашизм победил в Германии, Рейсс курсировал между Парижем и Швейцарией и собирал воедино информацию о развертывании военной машины «третьего рейха». Летом 1937 года, после того как почти все высшее командование Красной Армии стало жертвой террора, Рейсс порвал с Москвой. Его выследили и убили в Лозанне.

Обнаруженные недавно архивные документы раскрывают методы, использовавшиеся НКВД для вербовки новых агентов в Париже. Особенно интересны в этом отношении протоколы допросов Ренаты Штайнер, соучастницы убийства Рейсса.

Деликатное обаяние Сталина

Показания Ренаты Штейнер об обстоятельствах ее вербовки агентами НКВД в Париже навели парижских полицейских на след, который вел в самые глубины русской белой эмиграции.

Тысячи этих беженцев к концу 20-х годов уже распростились с надеждами на свержение советского режима и с трудом сводили концы с концами. В умах многих белоэмигрантов зрело желание вернуться на родину. Эти настроения русской эмиграции не остались незамеченными в НКВД. Одним из первых резервуаров русской

«Новое время», 1991, № 21.

Петер Хубер — швейцарский историк. Статья написана в соавторстве с Даниэлем Кунци.

эмиграции, в который советская разведка запустила свой черпак, стала парижская организация «Евразийцев», видевшая спасение России в противодействии влиянию западных интеллектуальных ценностей.

В расследовании убийства Рейсса улики указывали на бежавшего из Франции 34-летнего Вадима Кондратьева, который до гибели Рейсса зарабатывал себе на пропитание разносчиком хлеба, водителем такси и помощником печатника. Он был членом нескольких эмигрантских организаций, в том числе и парижских «Евразийцев». На вопрос полицейских об источниках доходов Кондратьева, позволявших ему вести свободный образ жизни, часто путешествовать и даже приобрести летом 1937 года собственный автомобиль, его друзья не могли найти вразумительного ответа. После убийства Рейсса он бежал в Советский Союз.

Ведущую роль в создании среди русских эмигрантов агентурной сети НКВД играла дама из высшего света Вера Трайл-Гучкова. Она постоянно курсировала между Москвой и Парижем. Дочь военного министра в правительстве Керенского 20-е годы провела вместе с «Евразийцами», а к началу 30-х годов полностью перешла на сторону Сталина.

По запросу парижской полиции после убийства Рейсса английские полицейские вплотную занялись кругом знакомств Веры Гучковой и пришли к следующему выводу:

«Она слывет одной из самых милых и интеллектуальных личностей, чьи политические взгляды не совпадают со взглядами многих ее друзей, поскольку она придерживается коммунистического направления».

В 1935 году Гучкова вышла замуж за Роберта Трайла, сына промышленника из Глазго. В 1934—1936 годах он жил в основном в Москве и работал там в редакции «Москоу ньюс». Роберт Трайл принадлежал к тому поколению английских интеллигентов, которые в начале 30-х годов учились в Кембридже, а затем отвернулись от потрясаемого кризисом английского общества, чтобы обратиться к Советскому Союзу.

То, что такой человек, как Вера Гучкова, выходец из высших буржуазных кругов России, в 1937 году, когда сталинский террор бушевал по всей стране, когда разрешения на выезд за границу были редчайшими исключениями, могла без хлопот выезжать из Советского Союза, позволяет предполагать, что она была связана с высшими инстанциями в Москве и выполняла задания НКВД. После убийства Рейсса полиции стало известно, что Вера Гучкова получила из Москвы чек на 100 тыс. франков и передала его в Париж матери убийцы Рейсса — Ролана Аббата. Полицейские, пришедшие обыскивать квартиру Веры Гучковой, обнаружили там Константина Родзевича. Он жег в камине компрометирующие материалы. Вера Гучкова была задержана полицейскими, но, предъявив паспорт, сумела доказать, что в день убийства Рейсса она пересекала польско-советскую границу.

Слежка за диссидентами

В Париже существовали также «Союз за возвращение на Родину» и «Союз друзей Советской Родины». Из них НКВД вербовал вспомогательные силы для слежки за диссидентами. Таким вспомогательным агентом и была учительница из цюрихской школы Рената Штейнер. В 1932 году она познакомилась с людьми, близкими к коммунистической партии, и в 1934 году провела шесть недель в Москве.

Показания 26-летней Ренаты Штейнер, вырвавшейся из узкого мирка родительского дома, свидетельствуют об огромной притягательной силе, которой обладал Советский Союз для самых различных по происхождению и положению людей, захлестнутых экономическим и моральным кризисом капиталистического мира: «Я не могла больше жить дома, так как мой отец не разделял моих убеждений... Я также надеялась вернуться когда-нибудь в Россию, не столько потому, что хотела больше заниматься вопросами коммунистической политики, сколько потому, что мне хотелось больше узнать о роли русской женщины в общественной жизни».

Рената Штейнер была завербована НКВД весной 1936 года в Париже, когда советское посольство, видимо, рекомендовало ей обратиться за помощью в получении советской визы в бюро «Союза за возвращение на Родину». Этот союз, возвращенный советским диппредставительством, имел свою библиотеку, выбор русских газет и издавал журнал.

Чтобы доказать верность новому режиму, эмигранты, пожелавшие вернуться домой, и люди, подобные Ренате Штейнер, должны были оказывать НКВД «небольшие услуги» — как правило, выполнять задания по слежке за определенной группой лиц. «Он (Сергей Эфрон) объяснил мне, что это были люди, приехавшие из России в Европу, и что нужно было узнать, что они собирались делать в Париже и каковы были их связи», — рассказала Штейнер.

Многие задания, которые Рената Штейнер выполняла с 1936 по сентябрь 1937 года — до ее ареста после убийства Игнатия Рейсса, — касались сына Троцкого, Леона Седова, жившего тогда в Париже. Летом 1936 года она получила задание следить за Седовым во время его отдыха в Антибе на Лазурном берегу и записывать имена его посетителей.

Допрос Марины Цветаевой

Убийцам Рейсса удалось бежать из Швейцарии в Париж. Расследование преступления, спланированного и организованного агентурой НКВД на французской территории, могло бы привести в советское торговое представительство и было для тогдашнего правительства Народного фронта крайне нежелательно. После убийства Игнатия Рейсса, когда французская пресса постоянно сообщала о ходе расследования, советские дипломаты вновь и вновь настоятель-

но напоминали о подписанном в 1935 году советско-французском пакте о сотрудничестве.

В конце сентября 1937 года французская полиция по требованию швейцарской полиции арестовала русского эмигранта Дмитрия Смиренского, который вместе с Ренатой Штейнер следил за Рейссом. После этого первого успеха полиция должна была бы задержать и других агентов НКВД, которых Штейнер и Смиренский называли в своих показаниях. Но, видимо, в этот момент комиссар уголовной полиции, руководивший расследованием в Париже, получил сверху предупреждение о необходимости «осторожного подхода» к делу.

Комиссар полиции вынужден был лично посетить «Союз за возвращение на Родину», который Рената Штейнер назвала вербовочным центром НКВД, и попросить у служащих информацию о целях этой организации. Таким образом, все, кого это касалось, были предупреждены. Прежде чем полиция отважилась на обыск помещения, она сделала письменный запрос министру иностранных дел Дельбо, «не препятствует ли что-либо с дипломатической точки зрения проведению этого обыска».

В документах по делу об убийстве Рейсса есть протоколы допроса Марины Цветаевой. Цветаева заявила, что ее муж Сергей Эфрон через пять недель после убийства Рейсса уехал воевать в Испанию, где шла гражданская война. Те несколько недель, в течение которых было спланировано и осуществлено убийство Рейсса, Эфрон отдыхал вместе с ней на берегу Атлантического океана «и оттуда ни разу не отлучался». «Лично я не занимаюсь политикой, — заявила Цветаева полицейским, — но мне кажется, что в течение двух или трех лет мой муж связан с нынешним русским режимом. Мы с мужем с удивлением узнали из прессы о бегстве Кондратьева в связи с делом Рейсса... Мы с мужем не высказывали по поводу этого дела ничего, кроме возмущения, осуждая любой акт насилия, с какой бы стороны он ни исходил».

Трудно побороть впечатление, что Цветаева старалась создать незамысловатое алиби для бежавшего мужа и описала его в слишком идиллических тонах. На допросе она упомянула как доброго друга Эфрона некоего Афанасьева из Гренобля. Это был тот самый Афанасьев, который в 1934 году завербовал Марка Зворовского — секретаря сына Троцкого Леона Седова, и это помогло НКВД быть в курсе всех дел Седова... След, которому полицейские чиновники, к сожалению, не придали значения, намечался в следующем показании Марины Цветаевой: «В конце лета 1936 года, в августе или сентябре, я поехала в отпуск с моим сыном Георгием, родившимся 1 февраля 1925 года в Праге, к соотечественникам — семье Штрангов, которые живут в замке Арсин в Сент-Пьер-де-Рюмилли... У них есть сын Мишель, 25—30 лет, писатель по профессии».

Полицейским стоило бы посерьезнее отнестись к этим показаниям.

Мишель Штранг, студент в Сорбонне и сотрудник НКВД в Париже, по показаниям Ренаты Штейнер, сменил Эфрона в слежке за Иг-

натием Рейссом. По необъяснимым причинам полиция не пошла по этому следу.

После бегства Сергея Эфрона от правосудия удалось уйти еще двум ключевым фигурам в уголовном деле по убийству Игнатия Рейсса — Вениамину Белецкому и Лидии Грозовской, служащим советского торгового представительства. Белецкий исчез после первого же допроса, а Лидия Грозовская находилась в предварительном заключении и была освобождена под залог в 50 тысяч франков, внесенный советским посольством. Как явствует из полицейских документов, она сразу же сбежала в Советский Союз.

Предшественник «Красной капеллы»?

В записках убитого Рейсса полиция Лозанны нашла имя Морица Бардаха и поручила парижской полиции допросить его. Даже из протоколов видно, что этот журналист, выходец, как и Рейсс, из польско-украинского пограничья, обладал такими источниками информации в «третьем рейхе», что должен был считаться одним из важнейших сотрудников Рейсса.

Свою информацию Бардах передавал не Рейссу, а некоему Арнольду Грозовскому, сотруднику советского торгового представительства в Париже. Судя по показаниям Бардаха на допросе в полиции, его разведывательная деятельность затрагивала следующие вопросы: «он... (Грозовский. — *Авт.*) сказал, что желает получить сведения о внутренней политике немецких национал-социалистов и информацию о политике по отношению к СССР. С другой стороны, он также хотел бы узнать о состоянии сотрудничества русских белых и украинских националистов с немецкими национал-социалистами».

С этим заданием в январе 1937 года Бардах ездил в Женеву и беседовал там с председателем «Украинского клуба» Евгением Бацинским, хорошим знакомым полковника Евгения Коновальца, главы украинского военного Сопротивления в эмиграции. Весной 1938 года полковник Коновалец был убит агентами НКВД.

Благодаря еще одному знакомству Бардаха Рейсс имел канал информации в министерстве авиации в Берлине. Этим информатором был Александр Севрюк, украинский социалист в эмиграции, в свое время один из трех членов украинской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске в 1918 году. 20-е годы он провел в эмиграции в Париже в качестве одного из руководителей просоветского «Союза украинских граждан во Франции», был выслан из Франции в 1929 году, получил в Берлине ответственный пост в министерстве авиации, который сумел сохранить за собой и после прихода к власти Гитлера.

Эльза Порецкая, подруга Игнатия Рейсса, говорила о Севрюке как о человеке, «представляющем огромную важность для нас». Он, несмотря на некоторую разочарованность, сохранил довольно положительное отношение к Советскому Союзу. Игнатий Рейсс регулярно встречался с ним в Швейцарии. Мориц Бардах после убийства Иг-

натия Рейсса также дал показания полиции о своей берлинской встрече с Севрюком. Он написал Севрюку из Швейцарии и встречался с ним последний раз в январе 1937 года в Брюсселе в присутствии сотрудника советского торгпредства в Париже Арнольда Грозовского. Как сотрудник министерства авиации Севрюк должен был иметь доступ и к материалам, содержащим военную тайну, — подобно Харо Шульце-Бойзену из того же министерства, который во время второй мировой войны передавал «Красной капелле», работавшей под руководством Леопольда Треппера, планы вооружения вермахта.

Ко второму типу сотрудников, предназначавшихся не столько для поиска и добывания информации, сколько для ее передачи, принадлежала коренная швейцарка, родившаяся в 1909 году, Хеллен Хессе-Гутгенбуль. До 1933 года она была своим человеком в среде берлинской богемы. Как убежденная антифашистка без определенной партийной принадлежности она хорошо подходила под образец сотрудницы низшего звена — для передачи информации в механизме советских разведывательных служб. Не позже 1934 года она, по общению полиции, была завербована в Цюрихе для разведывательной сети Рейсса. Ее использовали в качестве «почтового ящика»: как человек, не вызывающий подозрений, она получала почту от информаторов в Люцерне, Цюрихе и Берне и переправляла ее дальше, в Париж, Рейссу. Когда после убийства Игнатия Рейсса полиция проверила банковский счет Хеллен Хессе, были обнаружены ежемесячные поступления в 300—350 швейцарских франков. Плательщиком был (под чужим именем) некто Павел Лысенко в Париже, действовавший, в свою очередь, по поручению секретаря советского торгпредства в Париже Арнольда Грозовского. После первого же допроса Павел Лысенко, представившийся полиции как журналист, пишущий для издававшейся в США украинской газеты «Народна воля», бежал.

Ушли в СССР

Сергей Эфрон, Вадим Кондратьев и некто Николай Клепинин — все трое из просоветского крыла «Евразийцев» — после первых же сообщений прессы об уличающих показаниях Ренаты Штейнер бежали в Советский Союз.

Эфрон и Клепинин жили некоторое время в подмосковном поселке Болшево на даче, принадлежавшей раньше бывшему члену Политбюро Томскому, и получали пенсию от НКВД. Осенью 1939 года, вскоре после подписания пакта Гитлера — Сталина, они попали в мясорубку репрессий. Им предъявили абсурдное обвинение в том, что они до 1937 года в Париже, а затем и в Москве, работали на французскую, английскую и американскую секретные службы... В свете пакта Гитлера — Сталина это означало, что они намеревались причинить вред «дружественным отношениям с Германией». Возможно, узкий круг людей вокруг Сталина и Берии собирался инсце-

нировать в 1939 году своего рода четвертый показательный процесс в Москве, причем на этот раз скамья подсудимых предназначалась уже не «фашистским», а «английским и французским агентам». Эти планы были перечеркнуты нападением немцев 22 июня 1941 года. Однако сотрудники НКВД Эфрон, Клепинин и Афанасьев, бежавшие в Москву после убийства Рейсса, заплатились за свое возвращение жизнями. Их со товарищ по НКВД Вадим Кондратьев умер в 1939 году еще до ареста.

Упомянутый Мариной Цветаевой на допросе в полиции Мишель Штранг скрылся после убийства Рейсса. Он вернулся в СССР лишь в 1947 году, после того как в Париже, «одетый в форму советского лейтенанта», участвовал в организации возвращения на родину советских военнопленных. В Москве он вырос в уважаемого профессора-историка и умер в 1968 году.

Теперь известна и судьба единственной немки, которая участвовала в убийстве Рейсса: его давнишняя знакомая, член Компартии Германии Гертруда Шильдбах-Нейгебауер. После бегства из Германии она работала на НКВД в Париже и Риме на второстепенных ролях. Группа НКВД в Париже, планировавшая убийство Рейсса, знала о связях Гертруды Шильдбах с Рейссом и шантажировала ее, угрожая в случае несогласия выдать полиции. Ей было поручено вступить в контакт с Рейссом и договориться о встрече. Рейсс доверился ей и в сентябре 1937 года попал в Лозанне в ловушку, устроенную для него агентами НКВД. Шильдбах бежала вместе с убийцами и, по новейшим советским источникам, также нашла прибежище в СССР. В декабре 1938 года она была арестована и приговорена к пяти годам ссылки в Казахстан.

Убийца Рейсса Ролан Аббиат, вероятно, погиб в 1941 году. Его напарник Шарль Мартинья в 1943 году был приговорен одним из парижских судов заочно к смертной казни.

Найденные в Париже документы полиции по делу об убийстве Рейсса содержат, помимо всего прочего, доказательства, что оба убийцы в феврале 1937 года — за полгода до совершения ими преступления — ездили на два месяца в Мексику, куда как раз в это время прибыл Троцкий... Незадолго до отъезда на банковский счет Аббиата поступили 100 тысяч франков, которые могли иметь только один источник — НКВД.

В реабилитации отказано

Советские власти высказали свое отношение к убийству Игнатия Рейсса лишь спустя 53 года. В ответе Прокуратуры СССР на письмо в комиссию по реабилитации говорится: «Порецкий Игнатий Станиславович (Игнатий Рейсс), родившийся в 1899 году, находился в служебной командировке за границей. В 1937 году, присвоив крупную денежную сумму и совершенно секретные документы, он отказался возвратиться в СССР».

За этим классическим обвинением в личном обогащении и в

присвоении важных документов следует формально юридически корректный аргумент: поскольку уголовное дело против Рейсса «не возбуждалось», то, следовательно, отсутствуют причины для того, чтобы «ставить вопрос о его реабилитации в судебном порядке».

Три важных досье по делу Рейсса все еще остаются закрытыми: его личное дело в военной разведке Красной Армии (ГРУ), на которую работал Рейсс; материалы в иностранном отделе НКВД, откуда пришел приказ убить Рейсса; следственное дело в швейцарской полиции, «раскрытие которого противоречило бы интересам внутренней и внешней безопасности Швейцарии», как странно объяснили бернские власти...

Женева



Сергей Яковлевич Эфрон. Париж. 1937 год (?).

145 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПАРИЖА

Долгие годы мне не давал покоя «загадочный» дом в Болшево. Там с первого дня приезда из Парижа жила, не выходя из него, никому не показываясь, Марина Цветаева.

Отыскала я этот дом с трудом. Считалось, что он уничтожен. Но дом уцелел. Я подружилась с теми, кто живет в нем сейчас. Записала их рассказы, рассказы соседей бывших и теперешних. Отыскала соучеников по большевской школе сына Цветаевой — Георгия. Расспросила героев испанской войны и французского Сопротивления, знавших семью Эфрон-Цветаевых, в том числе А. Эйнера, В. Сосинского, Н. Столярову, А. Сеземана и общих друзей, приезжавших из Чехословакии и Парижа. Сопоставила услышанное с публикациями французских газет 37—39-го годов и воспоминаниями очевидцев, опубликованными за рубежом. Но все-таки никому до сих пор не известно было рассказанное теми, кто в страшные месяцы 1939 года жил совместно с Мариной Ивановной Цветаевой в большевском доме.

Болшевская катастрофа — кульминация и узел трагедийных судеб семьи Марины Ивановны Цветаевой.

Она имеет давние истоки.

Цветаева изначально несла в себе трагедию, но также и способность дать силу на жизнь. Лучше всех скажет об этом она сама в письме к Вере Меркурьевой в 1940 году. «Счастливому человеку жизнь должна радоваться, поощрять его в этом редком даре. Потому — что от счастливого человека — идет счастье. От меня — шло. Здорово шло. Я чужими тяжестями (наваленными) играла, как атлет гириями. От меня шла свобода. Человек — в душе — знал, что выбросившись из окна — упадет вверх. На мне люди оживали, как янтарь. Сами начинали играть»¹.

При всей **ОСОБОСТИ** жизни Цветаевой, ситуация в Болшево была совсем **ОСОБОЙ**.

Пять месяцев жизни с 19 июня по 10 ноября 1939 года.

Литературное обозрение», 1990, № 11. Печатается с небольшими сокращениями.

¹ Неизданные письма. УМСА-Press, Париж, 1972 г.

Уезжала Цветаева из Парижа в полной безнадежности от отторгнувшей, вытолкнувшей ее из себя Франции, как сама она говорила. Нина Берберова в книге «Курсив мой» вспоминает, что в 1937 году в Париже после панихиды по Сергею Волконскому по выходе из храма никто не подал руки Цветаевой. Она стояла одна, в слезах. Все шло мимо.

Дорога возврата в Россию была, как говорила дочь Цветаевой, предначертана: Париж — Гавр — Ленинград — Москва — Болшево. Маршрут побега из Франции в Россию ее мужа Эфрона. Путь был указан «органами».

Уезжала она и от наступающего фашизма, от смертельной тоски, от невозможности противостоять категоричности сына (писала об этом А. Тесковой), рвавшегося к отцу в Россию — прямо в пасть системы, поочередно поглотившей сестру, дочь, мужа, близких, истребив всякую надежду на жизнь.

В письме А. Тесковой из Парижа от 31 мая 1939 года Цветаева назвала Болшево деревней: «Отложу до деревни. Там — сосны, это единственное, что я знаю о ней». (Об аресте сестры Анастасии она еще ничего не знала.)

Болшево, как оказалось, не было ни деревней, ни уединением. Болшево, по сути своей, было условно-безусловным заключением — жизнь по предписаниям, со все возрастающим кошмаром надвигающейся катастрофы. Неизбежность ее была осознана всеми обитателями дома, накрепко повязанными между собой.

Невдалеке от поселка Болшево, за путями железной дороги, в глубине леса, стояли три совершенно одинаковые дачи-близнецы, объединенные далеким тыном и вполне разъединенные. Дачи так называемого поселка «Новый быт». За ними, подалее, стояли частые домики — там уже был не такой «новый» и совсем другой быт.

Эти дачи, как рассказывает живущий там сегодня сотрудник «Экспортлеса» Израиль Завельевич Клугман, назывались дачами «Экспортлеса», они же — «Жургаза», они же — НКВД. Казенные дачи Госбезопасности (Михаил Кольцов к «Жургазу» и ко многому другому имел прямое отношение).

Жители округи глухо знали, что «там живут иностранцы». Рядом стояла дача-крепость Пятакова и вдалеке — дача, где еще не затихло эхо болшевского выстрела самоубийцы Томского.

Посторонним вход в дачу, где жила Цветаева, был воспрещен. Во всяком случае, оговаривался и не поощрялся. В зарослях порой обнаруживались оглядатаи. Похоже, что эта дача была «перевалочным» пунктом» по дороге в одном направлении.

Дом, по устному преданию, построен был в начале 30-х годов и

передан наркомом Розенгольцем¹ Борису Израилевичу Краевскому². В 1937 г. Краевского, его жену Павлину Павловну и сына арестовали. У Краевских часто гостила вдова Якова Свердлова (позже ее сын Андрей Свердлов станет следователем по делу Ариадны Эфрон).

Исполняющий обязанности коменданта дачи, как удалось установить, был Алексей Матвеевич Обухов. По служебному списку дворник, умер в 1966 г. Комендант, по сути, был и полновластный хозяин, и обслуга. Он был окружен многими домочадцами и имел пять человек детей. Вместе с ним жила семья старшей дочери, свояки и свояченицы. Одна из них, сестра его жены Анна Трофимовна, служила домработницей у Краевских и хорошо помнит вдову Свердлова.

Комендант Алексей Матвеевич был постоянным, неизменным понятием при всех многочисленных арестах, так же как и его жена Любовь Трофимовна (умерла в 1982 г.). Младшая их дочь Клавдия Обухова (Долматова), 1934 г. р., помнит, как пятилетней девочкой ходила она на эту дачу, где ее угощали, а она потом приговаривала: «Я была КВД (НКВД), кушала кидорки (помидорки)».

Дом стоял «лицом» к железной дороге, близко от нее. Бревенчатый, большой, вытянутый по фасаду, с двумя остекленными верандами по бокам, с двумя отдельными входами и сенями, с трехстворчатыми окнами двойных рам, с общей просторной гостиной; в ней был камин, стояли большой овальный стол, буфет и диван (буфет-свидетель и посейчас там). Голландские печи, паркетные полы. Холодная уборная во дворе.

На громадном участке шумели сосны (об этих соснах и знала Цветаева в Париже). Дорожек не было — все устилал мягкий ковер хвои. Среди сосен был турник, висели качели, костыли их, вросшие в стволы, торчат и по сей день. Были там и гимнастические кольца.

Был колодец с прозрачной целебной водой. Летние душевые кабинки. Насос качал воду из колодца только к домику коменданта. На дачу воду носили ведрами.

Безумно жарким летом 1939 года в Болшево совместно жили Эфрон-Цветаева и Клепинины с подругой их семьи Эмилией Литauer. Марина по приезде еще иногда продолжала вести свой дневник. Писать письма. (Со временем будут опубликованы ее собственные свидетельства о событиях в Болшево.) Дочь Клепининых Софья Николаевна, — в ту пору ей было 12 лет — рассказывала мне: «Жили мы на станции Болшево на «улице» с дурацким названием «Новый быт», дом 4/33 (ныне ул. Свердлова, д. № 15). Это был бревенчатый, нелепо вытянутый в длину дом в глубине участка, никак не обработанного, просто отгороженного забором... Гостиная и кухня были общи-

¹ Розенгольц Аркадий Павлович (1889—1938). Член партии большевиков с 1905 г. (в 1925—27 гг. исполняющий обязанности полпреда в Лондоне). Член ЦКК. Зам. наркома РКИ с 1929 г. (Это то небольшое, что мне удалось узнать.)

² Кто он был — выяснить не удалось.

ми. Мои родители и семья Цветаевой были знакомы еще в Париже. Приехали мы в Советский Союз почти одновременно. Мы провели на даче зиму 1938/39 года... Хлынувшие в конце 1939 года события, которые оставили меня сиротой и изгоем, заслонили в моей душе очень многое.

Я дружила с Муром (Георгием), сыном Марины Ивановны... Нам было трудно в чужой среде. Деревенские ребятишки дразнили нас, необычно одетых. Поэтому почти вся наша жизнь проходила на участке либо в гостиниой, которая днем была в нашем распоряжении».

Совместность этих семей не случайна. Чета Клепининых, их подруга Эмилия Литауэр и муж Цветаевой Сергей Эфрон были разведчиками Коминтерна, а затем и службы Госбезопасности.

Парижская газета «Последние новости» (№ 6056, 1937 г.) поместила материал: «Исчезновение генерала Е. К. Миллера. Обыск в «Союзе друзей Советской Родины». Бегство С. Я. Эфрона. Допрос М. И. Цветаевой в сюртэ». Газета писала: «...Обыск в «Союзе друзей Советской Родины» связан с дознанием по делу об убийстве Игнатия Рейсса. Прямого отношения к делу об исчезновении генерала Миллера эта полицейская операция не имеет. Однако оба преступления совершены агентами ГПУ по указанию Москвы. Результаты обыска на ул. Бюсси могут обогатить следствие новыми ценными данными». И ниже: «В течение последних дней в Париже распространились слухи, что вслед за таинственным отъездом Н. Н. и Н. А. Клепининых покинул Париж также и б. евразиец С. Я. Эфрон, перешедший несколько лет тому назад на советскую платформу и вступивший в Союз Возвращения на родину». Клепинины и Эфрон бежали из Франции, когда стало известно о гибели И. Рейсса, под чужими фамилиями: Клепинины — Львовы, Эфрон, — Андреев.

Участвовали в разведывательной работе и их старшие дети: Алексей Васильевич Сеземан, приехавший в Москву в 1936 году (сын Клепининой от первого брака), и Ариадна Эфрон — дочь Цветаевой, приехала 18 марта 1937 года.

Постоянная совместность этих семей была обусловлена всем ходом событий. В Париже семьи дружили уже с 1926—27 гг. После трагических событий похода белой армии против революционной России вместе они испили горькую чашу на мучительном пути переоценок. Пути поиска искупления. Места жительства под Парижем (так уж получилось) меняли почти одновременно и жили всегда рядом.

Первоначально их переоценки шли в русле «евразийства». Исподволь Клепинин и Эфрон были втянуты в литературную, а затем идеологическую борьбу против недругов новой, советской России, а затем — в разведку — сначала по линии Коминтерна во спасение встающей из пепла России, затем гибнущей Испании (тогда и Пикассо стал коммунистом) и потом уже — логично — включились в борьбу против конкретных персональных врагов Родины уже по линии Госбезопасности.

Сергей Эфрон формировал интербригады в Испании. (Интербригадовцы тоже были втянуты в разведку.) Участвовал он также и в

наблюдениях за Троцким, его сыном Седовым, в похищении генерала Миллера, а затем в преследовании так называемого «ренегата-перебежчика» разведчика Игнатия Рейсса-Порецкого (партийная кличка — Людвиг).

Начался этот путь, как он думал, с искупления вины перед своим народом, нового служения ему, а закончился полным подчинением системе. Все это происходило не сразу: шаг за шагом, постепенно.

В письмах к Е. Л. Недзельскому С. Эфрон пишет 18.IV.26 г.: «Евразийство мне близко и тем, что пытается подойти и к национальному самоопределению через культурное, а не *практическое*», 25.V. 27 г. — через год уже: «Сейчас стою *во главе* Парижского Евразийского клуба (...) главное не здесь, а «там».

Спустя немного времени он уже безоглядно готов был сделать все для покинутой Родины — «вся правда "там"».

Подобные чувства тогда испытывали многие достойные люди (и это необходимо понять), так действовали заложники эпохи, жившие «у времени в плену».

Трагический путь их неоднозначен. Не типичные разведчики — профессионалы, а мятущиеся борцы-мученики, из немногих возможностей выбравшие себе гибель в тот единственный короткий исторический отрезок кануна второй мировой войны.

«Сила страсти в служении любимой России и сила заблуждений у эмигрантов, — пишет Софья Клепинина, — были так велики, что некоторые исторические ситуации, бывшие с ними, — неподсудны, сложны и откроются в своей сложности и наготе еще не скоро. Брат моего отца, Дмитрий Клепинин, отважный офицер Деникина, ярый монархист, кончил тем, что был расстрелян фашистами за помощь коммунистам. Офицер — он стал священником. Служил в Парижской тюрьме и был связан между заключенными и Сопротивлением. Он и мать Мария теперь известны всему миру. Русские эмигранты страстно любили Россию. Их иногда осуждают за выбранный ими путь служения Родине, где они рисковали жизнью, были жертвами и были очень отважными».

Что понимала Цветаева в этой ситуации, живя бок о бок с Эфроном? Вполне посвященной она быть не могла, но известно, что Эфрон-Цветаевы в Париже получали советскую «пенсию».

Ум Цветаевой был мужской, пронзительный. Глаза — провидческие. Из ее дневников времен революции («Избранные произведения» в 2-х томах, 1917—1937 гг., Нью-Йорк, 1979 г.) ясно, как глубоко и объемно она понимала все с самого начала. Но здесь речь о другом.

На всех зигзагах жизненного пути всем своим сочувствием, верой, гордостью своей она была рядом с Эфроном. Когда Сергей Эфрон, кадровый военный офицер, прапорщик 10-й роты известного истории 56-го запасного полка оборонял Кремль (помните — в 1917 г. ключ от Кремля — в Борисоглебском, о чем писала Марина) — Марина Ивановна всем сердцем была с ним — «Белым стражем да встанет Честь». При сдаче Кремля был заколот штыками командир его полка Пекарский. Об октябрьских боях, где Эфрон сра-

жался бесстрашно, Сергей Яковлевич написал повесть «Октябрь» (она опубликована в Праге в сборнике «На чужой стороне», № 11, изд. «Пламя», 1925 г.). В те дни Цветаева написала: «Если Сережи нет, нет и меня, значит, нет и их» (детей. — *Н. К.-Л.*). Обе жизни мыслились неразрывно.

Затем — «лавиною простонародною низринут трон». Сергей Яковлевич, разведчик и командир в Добровольческой армии генерала Л. Г. Корнилова, он прошел с ней по всем дорогам ледяного похода до Крыма. «На кортике своем: Марина — ты начертал, встав за Отчизну».

Он всегда был на переднем крае. До самого Перекопа, где по горло в трясине, нахлебавшись соли, умирая от жажды, рвался в бой.

«В последний раз я видела Сергея 18 января 1918 года, — пишет Марина. — Как и где, когда-нибудь скажу — сейчас духу не хватает». «И в словаре задумчивые внуки за словом: долг напишут слово Дон». Каждый день она мысленно была с ним и пишет об этом в своих дневниках. «Старого мира — последний сон; Молодость — Доблесть — Вандея — Дон».

Далее «Бег» — по Булгакову: Галлиполи, Чехия, Париж.

Сергей Яковлевич опубликовал превосходную статью о добровольческом движении. ...«Тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и... «белогвардейщина», контрразведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр. и пр. Где же правда? Кто же они или, вернее, кем были — героями-подвижниками или разбойниками-душегубами?»

«Добрая воля к смерти», — говорила Цветаева. Эфрон отдал должное героям и клеймил нагодяев — «Георгии» и «Жоржики». Цветаева высоко оценивает как его литературный дар, так и его доблесть. Пишет поэму «Перекоп» — «Моему дорогому и вечному добровольцу».

Затем новый этап. «Сергей весь в евразийстве». Пристальный, возбужденный взгляд в сторону новой России.

В «Возрождении России» и «Днях» «точные сведения», что евразийцы получили огромные суммы от большевиков. Доказательств, естественно, — пишет Цветаева, — никаких (ибо быть не может) — шел уже 1929 год.

«Я вдалеке от всего этого, но мое политическое бесстрашие колеблено. То же самое, что обвинить меня в большевистских суммах, Сергей, естественно, расстраивается, теряет на этом последнее здоровье».

Далее: «У евразийцев раскол. Профессор Алексеев и другие уверяют, что Сережа чекист и коммунист. Если встречу (т. е. Алексеева и др. — *Н. К.-Л.*), боюсь себя (...) Профессор Алексеев (...) негодяй! (...) Но очень страдаю за Сергея. С его чистотой и жаром сердца. Он... моральная сила евразийства. Так его и зовут: «евразийская совесть». Это конец 1929 года.

«С. совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а

в ней видит то, что хочет» — теперь август уже 1932 года. События развивались стремительно.

Восемь месяцев (1936 г.) Сергей Яковлевич поправляет здоровье в здравнице в Савоие. Сын Мур (Георгий) и Марина Ивановна снимают помещение рядом. Оплачивает Красный Крест. Вероятно — дважды «красный». Далее ловушка, когда ни ум, ни совесть не могут ничего контролировать. Нет открытого забрала — естественной сути натуры Эфрона. Думают и решают за него. Он только исполнитель чужой воли (Далёкого Центра), когда целое неизвестно и не сразу ясно, за что ты в ответе.

«Эфрон и другие были, — вспоминал советский разведчик Кирилл Хенкин, племянник знаменитого артиста, — если хотите, платными агентами. Но они никогда не были наемниками, ибо работать против Советского Союза они не стали бы ни за какие деньги... Помню также, что в этой среде оценка человека всегда включала критерий его политической преданности и материального бескорыстия».

Ставшая гласной гибель Игнатия Рейсса, восставшего против сталинизма советского разведчика, всколыхнула весь Париж, по сути дела, явилась провалом заданной операции. Теперь как единственный выход и приказ — обратный бег во вздыбленную Россию 1937 года. Тот же Хенкин пишет: «Перед войной у Москвы было несколько неудачных опытов с *бывшими коминтерновцами*, ставшими работниками разведки: Игнатий Порецкий и Вальтер Кривицкий в ответ на процессы старых большевиков в Москве порвали с Советами». Трагедия еще и в том, что по сути своей Эфрон и Порецкий-Рейсс были людьми одного лагеря: «за землю, за волю, за лучшую долю».

Дочь Цветаевой Ариадна убежденно и истово напишет потом, что отец вернулся верным сыном своей Родины. Марина Ивановна никогда не сомневалась в чистоте его помыслов. Ее друг и издатель Дмитрий Шаховский, архиепископ Иоанн Сан-Францисский*, сказал, что Сергей Эфрон еще более трагическая фигура, нежели Марина Ивановна. О Сергее Эфроне на заре своей юности, до всех этих событий, Цветаева сказала: «Такие в роковые времена слагают стансы и идут на плаху».

Идут. Зорко видела. Стихи сбываются.

* * *

Первыми в Болшево в ноябре 1938 года поселились Клепинины. приезжала Эмилия Литауэр: Клепинины - Николай Андреевич (его все звали Додой), Антонина (сокращенно Нина) Николаевна Клепинина, его жена, младший ее сын от первого брака 16-летний Митя Сеземан и 12-летняя их дочь Софья. Старший сын Алексей, приехавший в 1936 году, вскоре женился на московской школьнице 9 класса, красавице Ирине Горошевской. В феврале 1939 года у них родился сын Николка. Цветаева упоминает о нем в «Неизданных

* Скончался в мае 1989 года.

письмах». Николку с Ириной тоже привезли в Болшево. Сохранилась открытка из Парижа в адрес Алеши Сеземана от Марины Цветаевой — поздравление с рождением сына. Позже, живя в Болшево, Цветаева особо отличала Алешу, его одного приглашала к себе в комнату, угощала, читала ему стихи.

Не сразу, а где-то в феврале—марте 1938 года на даче появился Сергей Эфрон. Дочь Ариадна продолжала жить в Москве у сестры отца. Марина Ивановна с сыном Георгием-Муром приехала в Болшево 19 июня 1939 года. Началась совместная жизнь двух семей с общим хозяйством. Нина Николаевна Клепинина была человеком сильного характера. Дворянка, петербуржанка, выпускница Смольного, внучатая племянница вице-адмирала В. А. Корнилова, героя Севастопольской обороны и дочь академика-биолога Николая Викторовича Насонова. Она была безупречного воспитания, абсолютной выдержки, подтянутая, неуязвимая, красивая, непоколебимой воли. Рядом с ней всем приходилось быть в форме, несмотря ни на что. Она требовала этого от детей и, невольно, от окружающих. С ней нельзя было расслабиться или сорваться. Ровной, сдержанной она была всегда.

Ее расстреляли. Говорят, она осталась такой, и принимая смерть. Об этом рассказали ее дочери Софье бывшие сокамерники матери.

Пути Господни неисповедимы. Для своей маленькой Сонечки разведчица Нина Клепинина выбрала в крестные матери — Зинаиду Гиппиус. Она и крестила ее дочь Софью.

Тенью Клепининой была Эмилия Литауэр, разделившая с ней ее убеждения и судьбу.

Николай Андреевич Клепинин отличался добротой. Он был родным братом тому самому священнику (об этом сказано выше), герою французского Сопротивления Отцу Дмитрию Клепинину, соратнику Матери Марии. Отец Дмитрий спас не одну сотню людей, среди них особенно много было обреченных евреев в оккупированном Париже. Он погиб в гитлеровском лагере смерти.

Живя в Болшево, Николай Андреевич работал научным консультантом восточного отдела ВОКСа.

В болшевском доме по традиции дворянских семей дети были отделены от взрослых и жили своей жизнью. К детям причислены: Софа, Мур, Митя и «маленькая мама Ирина». Марина звала ее «деточка». С детьми и с Мариной дружило «зверье» — купленный добрым «Додой» из жалости и привезенный из Парижа глухой от рождения, не умеющий лаять, кривоногий бульдог-альбинос Билька и памятный Марине рыжий кот, который, как она пишет, прыгал в колыбель к Николке.

Хозяйство вели общее. Обедали за одним столом, летом на веранде, осенью — в гостиной. Во главе стола всегда была Нина Николаевна. Продукты возили кто когда: Аля — Ариадна, «считавшийся ее женихом или мужем» Самуил Гуревич, иногда Сергей Яковлевич Эфрон, иногда Нина Николаевна. Готовили поочередно. Помогала девочка Шура — носила воду и дрова, топила печи. Посуду мыли сами.

«Постепенное щемление сердца... — пишет Марина Ивановна через год, в 1940 году, вспоминая 1939-й, — живу, никому не показываясь. *Страх его сердечного страха. Ручьи пота и слез в посуденный таз*».

Марина Ивановна была мрачна, замкнута, молчалива, иногда с удручающе бурными, немотивированными срывами, изобличившими усталость и муку. Так однажды «маленькая мама Ирина», оскользнувшись, расплескала Николкину кашку у ее двери. Ирину Марина Ивановна любила, но крик ее был таким неожиданным и страшным, что не забывает всю жизнь. Так кричат на краю гибели. Цветаева была на этом краю и смотрела в пропасть.

Был приказ Нины Николаевны во всем уступать Марине Ивановне, отступать, уходить. Жизнь шла под прицелом. Марина Ивановна нервничала, была постоянно несправедлива с сыном, мучила его, срывалась на нем. Требовала невозможного, недетского, а он все-таки был всего лишь 14-летним подростком.

«В двух наших семьях как бы параллельно существовало два мира, — говорит Софья Клепинина, — мир взрослых, полный страха, тревоги, напряженности и попыток скрыть его. И мир детей, обо всех этих страхах понятия не имевших. Так от меня, Мура и брата Мити скрыли факт ареста Али. Прозрение пришло после ареста Сергея Яковлевича. И, надо сказать, для Мура прозрение это было ужасным. Меня такой ужас ожидал месяц спустя.

В Муре было странное сочетание хрупкости и силы.

И все-таки воздух катастрофы был всеобщим».

На даче становилось все тревожнее и мрачнее. По ночам иногда приезжали машины и увозили всех взрослых. Всех, кроме Марины Ивановны. Возвращались они утром, бледно-серые и молчаливые. Волей Нины Николаевны и Сергея Яковлевича все старались держаться мужественно.

Марина Ивановна почти не выходила из комнаты. Софа не помнит ее без папиросы; разве что за обедом, а так, даже стоя над керосинкой, — курила. Ходила она всегда в одном и том же сером платье. Вечером набрасывая красивую шаль на плечи.

«Я не хочу рассказывать о срывах Марины Ивановны, — говорит Софа Клепинина, — самое яркое воспоминание о ней: мы в гостиной с окнами на железную дорогу. У одного из окон стоит Марина Ивановна, сложив, скрестив, как всегда, руки на груди; с папироской в правой, чуть обхватив себя за плечи, поеживаясь. В доме тишина. Никого, кроме нас двоих. Это случалось часто, ибо я не помню, чтобы Марина уезжала из дома (долго была без документов. — Н. К.-Л.). Сумерки. Свет в комнате еще не зажигали. Камин тоже не горит. На фоне стекла вполуборот вижу ее профиль. Что-то очень сиротливое, холодное, неуютное. Общение наше, в основном, ограничивалось вопросами: Что на обед, надо ли мыть руки, куда ушел Мур. (..)

Сергея Яковлевича помню очень хорошо и совсем иначе. У него были ярко-синие, лучистые, буквально излучающие добро и свет глаза (вспомним, как хорошо, с какой глубокой симпатией говорили о нем Пастернак и Бальмонт и многие другие. — Н. К.-Л.). Было впечатление красоты. Благородный высокий лоб, огромные глаза, тем-

но-темные ресницы, черные брови. Его все любили. Мимо Марины Ивановны я всегда старалась пройти незаметно. Но вот когда возвращался из города Сергей Яковлевич, мы, дети, мчались к нему навстречу. Он с нами много возился. Не помню у него дурного настроения. Он скрывал его, держал его при себе и старался развеселить нас. Был улыбочивым. Смеялся с нами, запрокидывал голову. Играл иногда в карты с детьми и молодежью. Придумывал живые картины, шарады с переодеванием, все время что-то изобретал.

О Муре вспоминать труднее. Уж очень сложные были у него отношения с матерью. Я беру на себя смелость, вопреки многочисленным свидетелям, хорошо и долго знавшим Марину Ивановну, утверждать, что на моих глазах, в Болшево, нежной с сыном она никогда не была. Скорее наоборот. Марина Ивановна была с ним резка, несправедлива, всгыхивала из-за мелочей, без видимого повода. Ему было тяжело. Он воспринимал это в штыки. Однажды после стычки Мур чуть не убежал под электричку.

...В наших двух семьях Аля была арестована первой. Беда эта пришла в наш дом в августе 1939 года. Аресты репатриантов шли давно. Все понимали, что стихийное это бедствие, как лавина, может захватить каждого, оказавшегося на ее пути. Взрослые готовы были к тому, что им придется разделить судьбу многих ни в чем не повинных людей, разве только повинных в чрезмерной любви к своей Родине. Ждали каждую ночь, хотя днем старались делать вид, что все в жизни идет как надо...

Атмосфера тревоги, напряженности, страха — все это тщательно пытались замаскировать деловитостью, серьезностью, занятостью. И только я и Мур словно выпадали из этой атмосферы и ощущали ее как несправедливую жесткость взрослых, замкнувшихся от нас и выходивших из этого состояния, когда наша беготня и веселые лица взрывали их. Самым выдержанным среди взрослых был Сергей Яковлевич. Я ни разу не слышала его повышенного голоса. Легче всех срывалась Марина Ивановна. Я знаю, что полоса отчуждения между Муром и ею пролегла именно тогда, летом 1939 года. То же произошло тогда между мною и моими родителями. Это было менее заметно, потому что я была меньше Мура и лишилась сразу обоих родителей... Мы с Муром не могли понять, куда подевались тепло и любовь к нам наших родителей. Острее всего мы ощущали это в матерях наших. Умом не могли понять, что с ними случилось... Мы тогда не один раз говорили об этом, а однажды, помню, плакали вдвоем в углу за шкафом на «нашей веранде», хотя он был мальчиком спокойным, а я — девочкой неплаксивой. Сначала мы не знали, что Алю арестовали. Ее отсутствие объясняли нам отъездом... Арест отца потряс Мура. Через месяц такое же состояние потрясения, оглушенности и ненависти к миру пережила и я... Еще долгие годы я, бывшая покладистым и общительным ребенком, оставалась человеком, общение с которым доставляло людям мучение, даже людям, очень ко мне расположенным... Резкость, грубость, нежелание Мура пойти навстречу матери были вызваны не столько юношеским максимализмом, сколько следствием потрясения души осенью 1939 года.

Мур был умен, талантлив, пытлив и бесстрашен. Он был похож на мать, когда внезапно отодвигал от себя все, что не внутри его, все, что вокруг. Тогда он так же, как Марина Ивановна, казался холодным и надменным. И так же неожиданно выходил из своей отчужденности, оглядываясь с легким недоумением — где был?

В Марине Ивановне поражала замкнутость на себя, внутри себя. Вокруг идет жизнь, ходят люди, разговаривают, а она не в этой жизни. Не любила есть. Жила без косметики. Контакты со всеми были как бы вынужденные. Но ни пренебрежения, ни досадливости, как у Али, у нее не было. Холодная, резкая, но никогда не грубая.

Мур дружил с моим братом Митей. Муру было 14, а Мите 17 лет. Мур был крепенький, пухлый мальчишка. Бегал, валял дурака. Иногда вдруг становился юношей, разговаривал с Митей о философии. Аля приезжала, привозила продукты, иногда жила день-два. Постоянно жила у тетки в Москве.

...Вечерами все собирались в гостиной у камина. Марина Ивановна выходила к столу ровная, «серая», поблекшая, легкой походкой с потухшим взглядом, отдаленно вежливая, отстраненная. Вдруг вспыхивала. Кричала. Голос был резкий, пронзительный. Марина Ивановна все время обижала Мура. Ему было очень тяжело. Он был измучен, оскорблен и не понимал, что происходит.

Люди укоряли Мура за то, что в Елабуге, после смерти матери, он тщательно гладил костюм. Мур был чистюля и очень аккуратен во всех условиях. Гладить и чистить свое верхнее платье было для него так же обязательно, как чистить зубы и расчесывать волосы. Рефлекс. Он был приветлив и обязателен, если не уходил в себя. Когда он пошел в школу в Болшеве, он всегда был очень аккуратен в одежде, брезглив. Как чистился! Если зацеплялся за что-нибудь, всякую царापину мазал йодом.

После Ташкента Алексей Толстой помог Муру поступить в Литинститут. Мур всегда был голодный. Часто ночевал у брата Алеши, который после контузии вернулся домой. Перед уходом на фронт Мур подарил ему и Ирине серебряные столовые ложки с вензелями и свою фотографию...»

Через 43 года, попав на ту дачу в Болшеве, Софья Клепинина расплакалась. Написала экспромт — «Маме» (Н. Н. Клепининой):

И ты, как прежде,
молода,
Со мной доходишь
до калитки.
И листьев золотые
слитки
К лицу подносишь,
как тогда.
Над домом сосны
шелестят.
Мир превращеньям
вновь послушен...

Давно мертвы
все наши души,
И мне уже
за пятьдесят...

Усилием воли взрослых (и указанием свыше: кому — куда) вскоре Мур и Софа все-таки пошли в школу. Мур пошел в знаменитую костинскую школу-коммуну. Он учился там первую четверть. Всего два месяца. Удалось найти пока четверых его соучеников, которые помнят и интересно рассказывают о нем. Помнят его, как не похожего на всех других мальчиков, якобы приехавшего из Испании.

Болшевский житель инженер Юрий Александрович Кошель помог мне найти болшевских соучеников Мура по седьмому классу «А» костинской школы-коммуны и записать их воспоминания. Привожу их в сокращении.

Воспоминания Люси Азаровой, 1925 г. р.:

«Мы казались деревенскими против него. Он подарил мне тоненькую книгу стихов со своим автографом. Что за стихи — не помню. Не сохранились. Прекрасно рисовал. Высокий интересный блондин. Мальчики смотрели на него с завистью. Говорили, что он приехал из-за границы. Раза два меня провожал. Нес мой портфель. Рисовал карикатуры. Девчонкам раздаривал листочки с рисунками и ставил автографы. Сутулился. Ходил в светлой куртке с поясом и в светлых ботинках».

Воспоминания Людмилы Харитоновой, 1926 г. р.:

«Где-то не с начала года к нам в седьмой «А» пришел новый мальчик. Высокий. Красивый. Прекрасно держался. Легко. Просто. Мы вместе ходили домой в район «Нового быта». Ходили по тропке вдоль леса, по мосткам. Я знала, что мальчик приехал из-за границы. Рассказывал что-то об Испании. Великолепно рисовал тушью карикатуры на фашистов. И сразу раздаривал всем и подписывался — Георгий Эфрон. У меня их было много. Пропали. Мы ничего не знали о нем. Немного опекали, так как он видел ужасы Испании».

Воспоминания Ольги Вацкель (Вольф), 1924 г. р.:

«В один из осенних дней к нам в школу пришел наш новый одноклассник. Он был выше всех на голову. Полный. Лицо интересное. Интеллигентное. Меня поразила его одежда. Мы ведь носили пионерскую форму. Он носил брюки с напуском, с пуговицей ниже колена и кожаные краги. Ботинки на толстой подошве, курточка со многими замками и кармашками. В кармашках было очень много ручек. Он был окружен вниманием. Не дичился. На переменках его окружала стая мальчиков. Он был очень самостоятельный, уверенный. У него была прекрасная речь. Об этом мальчике мы ничего не знали. Он доходил до железной дороги и куда-то сворачивал. Попутчиками ему были Люся Азарова и Олег Петров. Карикатуры его вызывали дружный смех. Помню, Эфрон получил отметку «хорошо» по немецкому. Это было непонятно. Он хорошо говорил по-немецки. Я сидела затаив дыхание. Он тогда очень спокойно встал и сказал: «Немецкий язык я знаю хорошо, считаю отметку неправильной». Учитель-антифашист Теглаш ответил ему: «Вы читаете, разговариваете, а в грам-

матике вы не сильны, делаете ошибки». Мы никогда бы не смогли вступить в такой разговор. Потом он исчез. Не помню, как это было».

Рассказ Леонида Яковлевича Шапиро, 1927 г. р., жившего на соседней даче (приехал из Бельгии):

«Мне было тогда 12 лет. Я искал друзей. Случайно встретил двух ребят старше меня. Они говорили по-французски. Я обратился к ним на французском... Они как-то меня не приняли к себе в друзья. Держались с превосходством. Через некоторое время я услышал, что тех, кто жил на даче, арестовали. Я пришел и увидел — на террасе открыты все двери. Следы разгрома. Валялось все на полу. Валялись книги на французском. Я взял один том «Декамерона» и один — Вольтера. Ну, и все из этой дачи пропали. Я потом часто о них думал. Туда въехал вроде бы начальник Костинской милиции... На наших дачах был еще сторож, он же и комендант Алексей Обухов и его жена Любовь Трофимовна. Я не знал фамилий тех мальчиков, соседей на даче. Ничего не знал о Цветаевой».

Вероятно, Марина Цветаева сразу тогда поняла, что надежд на спокойную жизнь быть не может. Ситуация безвыходности для всех членов семьи и обитателей большевского дома была очевидной. Катастрофа нарастала. Влюбленная Аля старалась быть «вопреки». Марина Ивановна была готова ко всему и, как она говорила, «искала крюк», но у нее были обязательства перед несовершеннолетним сыном.

На даче становилось все напряженнее, взрывоопаснее. Все чаще машины увозили на ночь взрослых.

Ранним утром 27 августа 1939 года первой была арестована Аля, Ариадна Эфрон-Цветаева.

10 октября 1939 года вторым в Болшево арестовали Сергея Яковлевича Эфрона.

Через месяц, в ночь с 6-го на 7 ноября, в Болшево арестовали Николая Андреевича Клепинина.

В ту же ночь с 6-го на 7 ноября 1939 г. в Москве, на Пятницкой, д. 12, кв. 4, в доме академика Насонова арестовали Нину Николаевну Клепинину — она с дочерью Софой приехала к своей матери на ноябрьские праздники.

В ту же ночь в Москве, на Садово-Триумфальной, д. 7, кв. 30, в доме известного фотокорреспондента и друга Родченко и Маяковского Елизаветы Александровны Игнатович, матери «маленькой мамы Ирины», арестовали старшего сына Нины Николаевны Алешу — Алексея Васильевича Сеземана. Ирина дождалась утра и первой электричкой поехала срочно сообщить о случившемся в Болшево. Она помнит жуткую осеннюю погоду: свист ветра и снег с дождем. Ее встретил, как погребальный звон, стук раскачивающихся, лязгающих друг о друга гимнастических колец. На крыльцо вышла буквально безумная, — «как Мельник у Пушкина», подумала Ирина, — распухая, с седыми космами, Марина Ивановна, теперь оставшаяся с Муром в доме совершенно одна. Она быстро перекрестила Ирину и пробормотала: «Бог с тобою, деточка, скорее уезжай отсюда — ночью всех взяли». Через три дня, бросив все, она с Муром уехала в Моск-

ву, в каморку сестры мужа, Елизаветы Яковлевны Эфрон. В марте отважилась приехать в Болшево, взять кое-какие вещи. Застала гроб в разоренной, незаконно занятой квартире. Хоронили с оркестром повесившегося (!) у нее в комнате начальника милиции (или КГБ?) Калугина.

Гиблое было место.

Так кончились первые, сразу по прибытии из Парижа в Россию, 145 дней Марины Ивановны Цветаевой в Болшево — «среди сосен» на даче Госбезопасности. Путь к Голгофе. Через год после Болшева она писала секретарю Союза писателей СССР Павленко: «Начну сначала».

18-го июня 1939 года, год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз, с 14-летним сыном, и поселилась в Болшево, в поселке Новый Быт, на даче, в той половине, где жила моя семья, приехавшая на два года раньше. 27-го августа (ныне годовщина) была на этой даче арестована моя дочь, а 10-го октября — и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду»

Затем скитания по случайным комнатам.

Уже после гибели Цветаевой в Елабуге в октябре 1941 года, по изысканиям студента Дмитрия Юрасова, работавшего в архивах, в пересыльной орловской тюрьме «расстреляли групповым расстрелом» Сергея Яковлевича Эфрона, супругов Клепининых и Эмилию Литауэр¹. После сообщения Юрасова сделал свой новый запрос в Верховный Суд А. В. Сеземан. Увы, ничего не прояснил. В мае 1989 года Алексей Васильевич решил поехать в Париж, где когда-то все были вместе, и там скоростижно скончался.

* * *

На уровне «разговоров», попавших и в зарубежную печать, возникающих без взаимного пересечения, есть мнение, что Цветаевой в Елабуге предложили сотрудничество с «органами» (из воспоминаний разведчика К. Хенкина, невразумительной записи сына Мура, из пересказа слов поэта Н. Асеева, переданных музыковедом Елизаветой Лойтер, и др.). Об этом необходимо сказать — авось кто-нибудь что-то еще знает.

Проверить это документально сейчас — невозможно. Но допустить такую мысль: Цветаева — осведомитель — абсурд. Кому она была нужна в этой роли? Однако можно допустить изощренные попытки «добить» последнего члена «преступной» семьи. Такие «пытки»

¹ Как теперь стало известно из документов, приведенных в статье Мазль Фейнберг и Юрия Ключкина «Дело Сергея Эфрона» («Столица» 1992, № 39, с. 62), А. Н. Клепинина, Н. А. Клепинин и Э. Литауэр были расстреляны в Москве в июле 1941 года, вскоре после суда. А 16 октября 1941 года в Москве же был расстрелян и Сергей Эфрон.

и «расстрел» били в цель без промаха, и примеры тому есть¹. Ясно: было много поводов для непрерывного горячего обсуждения между подростком сыном и матерью тогда в Елабуге. Фашисты наступали, обстоятельства ужесточались. И для сына врага народа любой шаг — заведомо неверен. Любое слово, как искра, давало вспышку и взрыв. Во многих семьях помнят эту двойную муку и испытания.

После «бегства» из Болшево Цветаева прожила всего один год и десять месяцев. Сын стал старше и принадлежал уже не столько матери, сколько государству, вступившему в жесточайшую войну. Фашизм, от которого она бежала, достигал ее. Всего за два месяца гитлеровская армия докатилась до Москвы. Нет мужа, нет дочери, нет сестры, нет рядом верных друзей. Сын уже с клеймом «сына врага народа» и «матери-белогвардейки» (так позволяли себе о ней говорить иные из писательского руководства). Мать становилась не опорой — помехой. Надежнее было — сиротство. Девять — из одиннадцати — дней жизни в Елабуге между матерью и сыном шел непрерывный и напряженный диалог обо всем, что достигало их. Мур имел потом основания сказать: «Она была права».

* * *

Анастасия Ивановна Цветаева — сестра поэта — в лагерях и ссылках провела 22 года, ее сын Андрей Борисович — 16 лет, дочь поэта Ариадна Сергеевна — 17 лет, сын поэта Георгий — убит на фронте летом 1944 года.

И все это во имя светлого будущего.

САД

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих — лет,
Горбатых — лет...

На старость лет
Собачьих — клад:

¹ «По свидетельству высокопоставленного чиновника Министерства безопасности РФ, не пожелавшего опубликовать свое имя, в архиве хранится документ, свидетельствующий о том, что кто-то из чекистов посетил Марину Цветаеву буквально за день до ее смерти. Тот же чиновник уверил, что как сам факт разговора, так и его содержание были сознательно задуманы таким образом, чтобы великая поэтесса приняла единственное решение — самоубийство». («Аргументы и факты», сентябрь 1992, № 36 (621)).

Горячих лет —
Прохладный сад...

Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни-лица,
Без ни-души!
Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

Без ни-ушка
Мне сад пошли:
Без *ни-душкА!*
Без ни-души!

Скажи: Довольно му́ки, — на
Сад — одинокий, как сама.
(Но около и Сам не стань!)
— Сад, одинокий как я Сам.

Такой мне сад на старость лет...
— Тот сад? А может быть — тот свет? —
На старость лет моих пошли —
На отпущение души.

М. Цветаева

1 октября 1934

«ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ...»

Судьба Сергея Яковлевича Эфрона (1893—1941) необычна, и в то же время в ней отразилась и наша жизнь тех лет, и судьбы русской эмиграции.

Сын народовольцев, а потом эсеров-террористов (действенной участницей движения была мать Эфрона — Елизавета Петровна Дурново), он прошел во многом обычный путь: гимназия, Московский университет, с первого курса которого он уходит и становится медбратом в военном санитарном поезде, затем школа прапорщиков. После революции Эфрон вступает в Белую армию и проходит с нею весь ее путь. Из Крыма, как и тысячи других участников Белого движения, попадает за границу, в Константинополь, потом живет в Праге, где правительство Масарика дало возможность русским молодым людям получить образование на своем языке. Возобновляет литературную работу. Играет в театре в любительских спектаклях с профессиональными актерами. И начинает заниматься политической деятельностью.

Принимает участие в Евразийском движении, собравшем многих известных деятелей русской эмиграции разных направлений, и всячески способствует расколу этого движения, открыто поддерживая перемены, происходившие в СССР.

Переехав в Париж, входит в руководство «Союза возвращения на Родину» и сотрудничает с НКВД. Эта деятельность Эфрона, если судить по воспоминаниям, не была секретом для окружающих.

Осенью 1937 года, после убийства Игнатия Рейсса¹, когда полиция Швейцарии и Франции занялась расследованием и в газетах появились сообщения об этом, Эфрон вынужден был бежать из Франции в Советский Союз. Больше года он жил под Москвой, в Болшеве, на предоставленной НКВД даче. 10 октября 1939 года С. Эфрон был арестован там НКВД как французский шпион. Через два года он был расстрелян.

На людей, знавших его, Сергей Яковлевич производил двойст-

© М. Фейнберг, Ю. Клюкин, 1992.

«Горизонт», 1992, № 1.

¹ См.: «Горизонт», 1991, № 7.

венное впечатление. Одним он казался человеком добрым, бездеятельным, даже слабохарактерным. Другие, напротив, угадывали в нем «стальную волю». Да и то, что он писал в эмиграции, сама манера и стиль его статей и многих писем дают основание говорить о деятельном и волевом характере.

Его жизнь и судьба неразрывны с судьбой Марины Цветаевой, и именно его решения и выбор всегда резко меняли и ее жизнь. За ним в 1922 году она уехала из России. Из-за него в 1939 году вынуждена была приехать в Москву, справедливо считая, что он в беде. Это ее решение не могло быть иным, себе она уже не принадлежала.

Они ушли из жизни почти в одно и то же время — Цветаева повесилась 31 августа 1941 года в далекой Елабуге, Эфрон прожил еще страшных полтора месяца.

Современные исследователи, получившие доступ к архивам, советским и иностранным, сейчас много пишут об Эфроне. Во Франции вышла книга Алена Бросса «Агенты Москвы», основанная на материалах, принадлежащих К. Родзевичу (глава из этой книги «Групповой портрет с дамой» была опубликована в «Иностранной литературе», 1989, № 12). Нужно назвать также статью Петера Хубера «Смерть в Лозанне» («Новое время», 1991, № 21), статью Петера Хубера и Даниэля Кунци «100 000 франков от анонима» («Литературная газета», 13 февраля 1991) и, конечно, статью Аркадия Ваксберга «Правда о платном агенте», напечатанную вместе с отрывком из воспоминаний сына А. Клепининой-Львовой Дмитрия Сеземана в «Литературной газете» 21 ноября 1990 года. Однако многие важные обстоятельства оказались за пределами этих публикаций.

В архиве Главной Военной прокуратуры хранится «Надзорное производство № 31274-39 Эфрон А. С. и др., начатое 26 августа 1939 года». Даты окончания нет¹.

¹ Публикуемые нами материалы уже находились в производстве, когда в журнале «Новое время» (1991, № 47, стр. 34-37) появилась статья Льва Елина «Сергея Эфрона все считали шпионом. Но, похоже, он им не был», в которой приводятся фрагменты из документов того же дела. К сожалению, статья изобилует неточностями и ошибками в цитатах из документов.

Так, цитируя ответ на запрос Главной Военной прокуратуры, автор вместо «6.07.41 г.» дает «6 августа 41 г.» (стр. 34); письмо А. С. Эфрон от 26 июля 1953 г. адресовано не в «органы», как сообщает автор на стр. 36, а в Главную прокуратуру; приговор в отношении А. С. Эфрон был отменен не в 1954 году (стр. 37), а в феврале 1955 года. С. Я. Эфрона арестовали не в сентябре (стр. 37), а 10 октября 1939 г., его не допрашивали во французской полиции. И этот прискорбный перечень ошибок можно продолжить. Однако самое главное в том, что своими лихими комментариями и выводами автор создает у читателя ложное впечатление о незначительной ценности открывшихся исследователям документов. Между тем эти уникальные архивные документы, как об этом упоминается в статье А. Ваксберга (на которого автор, кстати, не ссылается) и как это будет видно из публикуемого материала, впервые доказывают, что С. Я. Эфрон был сотрудником НКВД, причем не рядовым, проводил на протяжении ряда лет «закордонную работу», «переехал» в Советский Со-

Сверху штамп «Секретно». Против пометы «Хранить... до 19... г.» — штамп «постоянно».

Дело это начато в тот же день, когда было вынесено постановление об аресте: «**Эфрон Ариадну Сергеевну арестовать и произвести тщательный обыск в ее квартире**». Оно подписано «следователем следчасти НКВД СССР мл. лейтенантом Гос. безопасности Оршацкой», «согласен»: начальник следственной части НКВД СССР Кобулов и «утверждаю» — Берия. (В деле копия постановления — поэтому подписей нет.) Ариадна Сергеевна Эфрон была арестована на другой день — 27 августа.

В этой папке и находятся дела по обвинению и реабилитации как самой Ариадны Сергеевны, так и Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева и других, проходящих вместе с ним по групповому делу: П. Толстого, А. Клепининой-Львовой, Н. Клепинина-Львова, Э. Литauer, Н. Афанасова.

Дело самой А. С. Эфрон 14 марта 1940 года, как видно из особого постановления следователя, было выделено из этого общего дела № 644 и рассматривалось отдельно, так как не нашлось доказательств «шпионской связи» А. С. Эфрон с другими обвиняемыми.

Дело № 644 состояло из семи томов: в тексте обвинительного заключения даются ссылки на листы дела и номер тома.

15 июля 1953 года А. С. Эфрон писала своей тетке Елизавете Яковлевне Эфрон: «...мое дело, как таковое, лично мое, конечно, существует, соответствующим образом оформленное много лет тому назад. Тем не менее мое твердое убеждение таково. Это "мое дело" — пустая проформа, все заключается в том, что я дочь отца, и от отношения к нему зависит и отношение ко мне»¹.

20 ноября 1954 года она пишет два заявления; одно из них — Главному Военному прокурору о своем деле.

Из этого заявления видно, что о пересмотре своего дела она хлопочет уже давно.

«Дело мое пересматривается уже 21 месяц и, несмотря на ряд моих жалоб, запросов и заявлений, я ни разу не получила ответа о том, в каком состоянии находится мое дело, пересмотрено ли оно, и каковы результаты пересмотра».

И другое — по поводу С. Я. Эфрона (приводится с сохранением особенностей оригинала):

юз при содействии органов. Мы знаем теперь, что формально Эфрона расстреляли не за провал на оперативной работе, а якобы за шпионаж в пользу Франции и антисоветскую деятельность в составе организации.

Именно эти обстоятельства занимали исследователей, а вовсе не вопрос, был ли Эфрон иностранным шпионом, составляющий пафос статьи Льва Елина.

¹ Письма Ариадны Сергеевны Эфрон. Составление, текстология, примечания Р. Б. Вальбе «Нева», 1989, № 6.

«Генеральному Прокурору Союза ССР
от Эфрон Ариадны Сергеевны
1913 г. р., прож. Красноярский край,
с. Туруханск, ул. Лыткина, 1а

ЗАЯВЛЕНИЕ

В сентябре 1939 г. в г. Москве был арестован органами Государственной безопасности мой отец, Эфрон Сергей Яковлевич, бывший долгие годы работником советской разведки за границей, в частности во Франции. Его дальнейшая участь мне неизвестна.

Зная своего отца как человека абсолютно честного, и будучи уверенной в его невиновности, прошу Вас, товарищ Генеральный прокурор, о пересмотре его дела и о реабилитации его, живого или мёртвого.

Кроме того прошу Вас, товарищ Генеральный прокурор, сообщить мне то, что о нём может быть известно, т. е. жив-ли он, статью и срок наказания, по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Лыткина 1а, Эфрон Ариадне Сергеевне.

Подпись

20 ноября 1954.¹

Из квадратных оттисков штемпелей на этом заявлении видно, что оно получено 27 ноября, и что дело С. Я. Эфрона имеет номер 46891-39, правда, он перечеркнут крестом. Смысл этого креста становится понятным из штампика на другом документе — заявке в Архивный отдел Главной Военной прокуратуры (ГВП) от 1 декабря 1954 года с просьбой выдать в соответствующий отдел наблюдательное производство по делу С. Я. Эфрона: это дело «уничтожено по акту № — в 1939 г.».

15 декабря 1954 года Главная Военная прокуратура посылает А. С. Эфрон подтверждение, что ее жалоба от 20 ноября 1954 года, адресованная Генеральному прокурору СССР по делу ее отца, С. Я. Эфрона, поступила в Главную Военную прокуратуру и проверяется.

Для ускорения рассмотрения жалобы Главная Военная прокуратура просила сообщить год и место рождения С. Я. Эфрона и другие известные о нем сведения. Запрос этот был послан в Туруханск А. С. Эфрон. Но ответила на него Елизавета Яковлевна Эфрон.

В дело подшита ее записка от 4 февраля: «По Вашему № 2/6—51464—54 сообщаю Вам год и место рождения моего бра-

¹ В заявлении неверно указаны даты рождения А. С. Эфрон (она родилась в 1912 году) и ареста С. Я. Эфрона (он, как упоминалось, был арестован 10 октября). Дата рождения А. С. Эфрон была неверно записана в ее паспорте, а точной даты ареста отца она не знала. Эта дата встречается и в одном из документов дела.

та Эфрон Сергея Яковлевича. Родился в Москве 1893 г. 24 сентября (по ст. стилю)¹. Остальные требующиеся сведения направит Вам его дочь Эфрон Ариадна Сергеевна...».

Узнав, наконец, что делом отца занимается Главная Военная прокуратура, Ариадна Сергеевна посылает туда 31 января 1955 года новое заявление, на которое и получила ответ: «По вопросу выяснения судьбы Вашего отца необходимо обращаться в Военную Коллегию Верховного Суда СССР». Вместе с тем прокуратура продолжает поиски дела С. Я. Эфрон в ведомственных архивах — на копии ее ответа, находящейся в деле, наложена резолюция: «Найдите наблюдательное производство 51464-54. Видимо шло по делу Эфрон А. С.».

Тем временем завершился пересмотр дела самой Ариадны Сергеевны. На заседании 19 февраля 1955 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР определила: «Протест Генерального Прокурора СССР удовлетворить. Постановление Особого Совецания при НКВД СССР от 2 июля 1940 года и постановление Особого Совецания при МГБ СССР от 19 мая 1949 года в отношении Эфрон Ариадны Сергеевны отменить, дело на нее за отсутствием состава преступления прекратить и из ссылки ее освободить».

13 марта Военный прокурор отдела подполковник юстиции Варлашкин послал А. С. Эфрон за своей подписью в село Туруханск официальное извещение о реабилитации. Пришло оно в Туруханск в начале апреля.

10 апреля 1955 года Ариадна Сергеевна пишет в прокуратуру теперь уже не заявление, а письмо:

«Дорогие товарищи, на днях я получила справку о том, что определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 19 февраля 1955 года дело мое за отсутствием состава преступления прекращено.

Я 16 лет ждала этого дня и дождалась его.

Приношу свою глубокую благодарность работникам Военной Прокуратуры и Военной Коллегии Верховного Суда, разбиравших мое дело, желаю им счастья и успехов в их благородном труде, заверяю их в том, что весь остаток своей жизни буду стараться оправдать оказанное мне доверие.

Спасибо советскому правосудию!

А. Эфрон»

Между тем продолжалась работа по пересмотру дела С. Я. Эфрона. 26 марта прокуратура запросила информацию о нем в 1-м спецотделе МВД СССР. На бланке запроса в исходных данных об Эфроне (адрес места жительства и работы, должность) значится: «Сотрудник НКВД СССР». В справке о результатах проверки, заполненной адресатом на обороте бланка и вернувшейся в прокуратуру через два дня, указывалось, в частности: «Он же Андреев. Арестован

¹ С. Я. Эфрон родился 29 сентября 1893 г.

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

7 Отдел
Исполн. Мицанко тел. № Г-4-5345 **ВП**
(фамилия)

ЗАПРОС

о проверке по учету спецотдела МВД СССР

Просьба проверить и выдать справку:

1. Фам. Эфрон
2. Имя и отч. СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
3. Год рожд. 1893 4. Место рожд. г. Москва

5. Адрес места жительства и работы, должность
Сотрудник НКВД СССР

6. Дополнительные сведения арестован в сентябре 1939 года в г. Москва

7. Какая нужна справка: сведения об аресте, о судимости, о местонахождении следственного дела.

(иначе подчеркнуть)

8. Проверяется в связи с жалобой

Зам Нач. Отдела И. Кошар
Подполковник юстиции (Колосов)
ИП. № Г-31274-39 Л.В. Мадига 1955 год.

(Фамилия, имя и отчество заповедного печатного шрифта)

10/10-1939 г. следственной частью НКГБ СССР как французский шпион. Осужден Военной Коллегией Верховного Суда СССР 6/VII 41 г. по статье 58—1а УК РСФСР к Высшей Мере Наказания, с конфискацией имущества. Исполнение приговора 16/X—41 г. Архивно-следственного дела — нет».

Прокуратура запрашивает теперь о деле Эфрона Учетно-архивный отдел КГБ. Как видно из ведомственной переписки, пересмотр затягивался из-за того, что дело С. Я. Эфрона было затребовано в Ленинград в связи с пересмотром других дел.

Обеспокоенная отсутствием ответа, 28 июня 1955 года Ариадна Сергеевна снова пишет, по-видимому, помощнику Главного Военного прокурора, подполковнику юстиции Камышникову, надеясь ускорить рассмотрение дела:

«Уважаемый товарищ подполковник!

Пишу Вам по делу моего отца, Эфрон Сергея Яковлевича. Я разыскала здесь, в Москве, нашу старую знакомую, в течение долгих лет знавшую моего отца по совместной работе во Франции. Это — Елизавета Алексеевна Хенкина, адрес ее Котельническая набережная, высотный дом, корпус В, кв. 78, тел. Б—7—47—89.

В своё время она сама принимала участие в нашей работе за границей, была в Испании, так же, как её сын Кирилл Викторович, бывший рядовым Интернациональной бригады.

В СССР Хенкины приехали в конце 1939 г. после ареста моего отца.

Е. А. Хенкина знала Шпигельгласса, хорошо помнит, как и кем проводилось задание, данное Шпигельглассом группе, руководимой моим отцом, как и по чьей вине произошёл провал этого дела. Помнит она и многое другое, что может представить интерес при пересмотре дела отца. Лично знала она и большинство товарищей отца, арестованных вместе с ним. Мне думается, что она могла бы принести немалую пользу при пересмотре дела отца, она — один из редких оставшихся в живых участников данной группы заграничных работников.

Если данное сообщение заинтересует Вас, я обращусь к Вам с просьбой связаться с Хенкиной по телефону или письменно, или любым другим удобным для Вас способом, но так, чтобы не вызывать её никуда, т. к. ей 74 года и передвигаться ей трудно. Несмотря на свой возраст, она сохранила ясную память, может быть сможет быть Вам полезной.

Второй человек, знавший моего отца приблизительно с 1924 г. может быть и ранее, это Вера Александровна Трейл, также принимавшая большое и активное участие в нашей заграничной работе. Во время войны она была интернирована с ребёнком во французском концлагере, откуда вышла только благодаря британскому подданству. Сейчас она находится в Англии, вероятно, под надзором полиции. Адрес ее имеется у Хенкиной. М. б. прокуратура найдет возможность связаться и с этим человеком, очень

и очень много знающем о моём отце, и о других, связанных с ним, людях.

Уважающая Вас А. Эфрон

Мой адрес Москва Г-69 Мерзляковский пер., 16 кв. 27, тел. К-4-95-71»

При реабилитации Эфрона имена этих людей, много знавших о его работе за границей, не упоминаются. Возможно, в их показаниях не было никакой необходимости, так как все обвинение строилось на самоговорах и оговорах других обвиняемых. Или же их ответы содержали столь ценную информацию, что она попала в другие архивы.¹

Елизавета Алексеевна Хенкина, урожденная Нелидова (1881—1963), дочь генерала царской армии, актриса, выступавшая в театре Балиева «Летучая мышь», во втором браке Хенкина. Выехала из СССР в 1924 году, вернулась в 1940. Была действительно дружна со всей семьей Цветаевых. Принимала активное участие в работе «Союза возвращения на Родину», где руководила драмкружком и помогала вербовке новых агентов.

Ее сын, Кирилл Викторович Хенкин (1916), выехал с родителями за границу, окончил Парижский университет. В 1937—1938 годах воевал в Испании в 13-й Интернациональной бригаде. В 1930—1940 годах преподавал французскую литературу в Соединенных Штатах. Во время войны служил в отдельной мотострелковой бригаде НКВД СССР. С 1945 по 1965 — работник французской редакции Всесоюзного радио, потом журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге. Уехал из Союза в 1973 году. С 1975 года — политический обозреватель радио «Свобода».

В своей книге «Охотник вверх ногами» («Посев», 1980, сейчас эта книга вышла и у нас) Хенкин подтверждает работу Эфрона как агента НКВД в Париже и рассказывает, что именно Эфрон «направил его судьбу по извилистому руслу», которое и привело его в ученики к Рудольфу Абелю. Хенкин рассказывает, что в 1937 году, когда он хотел уехать в Испанию, помог ему в этом Эфрон, сказав, что «воевать в окопах может всякий, ему же предстоит делать что-то интересное» и направил его к представителю НКВД в Испании Орлову. Там же, в своей книге, Хенкин пишет и об участии Эфрона в убийстве Игнатия Рейсса:

«Эфрон и другие, если хотите, были платными агентами. Но они никогда не были наемниками, ибо работать против Советского Союза они не стали бы ни за какие деньги».

В письме А. С. Эфрон упоминается замначальника иностранного отдела НКВД Шпигельгласс, лично дававший задание группе Эфрона. Это показывает, какое значение придавалось делу, которое группа должна была выполнить (выслеживание и убийство И. Рейсса).

Вера Трайл, урожденная Гучкова (1906—1986) была сначала

¹ Как нам стало известно позднее, показания Е. А. Хенкиной по реабилитации С. Эфрона находятся в архиве МБР.

женой евразийца П. Сувчинского, а в 1935 году вышла замуж за Роберта Трайла и часто приезжала в Москву, где была и в 1937 году. В зарубежных статьях о Трайле всегда говорится как о человеке, связанном с НКВД и принимавшем какое-то участие в убийстве Рейсса. Швейцарский историк Петер Хубер пишет, что «после убийства Рейсса полиция стало известно, что Вера Гучкова получила из Москвы чек на 100 тысяч франков и передала его в Париже матери убийцы Рейсса — Ролана Аббиата».

Все это с несомненностью свидетельствует, что Ариадна Эфрон была очень хорошо осведомлена о характере деятельности своего отца, что она впоследствии категорически отрицала¹.

В деле также есть копия обвинительного заключения, которое подлежало утверждению начальником следственной части ГУГБ НКВД СССР Эсауловым. Соответствующие места для даты утверждения остались на копии незаполненными, проставлен только год: 1940. Зато имеется виза заместителя Главного Военного прокурора Афанасьева: «Обвинительное заключение утверждаю. Дело передать для слушания в Военную Коллегию Верховсуда. 13.7.40 г.»

Итак, обвинительное заключение. Оно составлено «по следственному делу № 644 по обвинению Эфрона-Андреева Сергея Яковлевича, Толстого Павла Николаевича, Клепинина-Львова Николая Андреевича, Клепининой-Львовой Антонины Николаевны, Литауэр Эмилии Эммануиловны и Афанасова Николая Ванифатьевича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58—1а, 58—11, 58—8 и 58—10 УК РСФСР».

Эфрон и Клепинины вернулись в СССР под вымышленными фамилиями, которые, надо думать, фигурировали в выданных им паспортах. Правильное написание отчества Афанасова, судя по имеющемуся в деле рукописному заявлению его жены Эйлер Т. В., было Ванифатьевич.

Пункт 1а статьи 58 — контрреволюционные действия, направленные на ослабление власти, измена Родине (преступления по этому пункту карались расстрелом или десятью годами заключения при смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц); пункт 8 — террор, пункт 10 — пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти; пункт 11 — совершение предусмотренных 58 статьёй преступлений в составе организации, что рассматривалось как отягчающее обстоятельство.

Заключение констатирует, что «в НКВД СССР поступили материалы о том, что из Парижа в Москву по заданию французской разведки прибыла группа белых эмигрантов, с заданием вести шпионскую работу против СССР. В состав этой группы входят... (перечисляются названные фамилии. — М. Ф., Ю. К.).

¹ Например, А. Эфрон говорила В. Лосской уже после реабилитации С. Эфрона: «О политической деятельности отца я ничего не знаю». (Вероника Лосская. «Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников». Нью-Йорк «Эрмитаж» 1989, стр. 177).

На основании этих материалов все вышеупомянутые лица одновременно были арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

В процессе предварительного следствия по делу установлено, что участники этой группы начали вести активную антисоветскую работу еще задолго до прибытия в СССР. Так, например, обвиняемый по настоящему делу Эфрон-Андреев стал на путь борьбы с Советской властью с первых дней Октябрьской революции.

В 1917 году, находясь в Москве, как офицер белой армии принимал активное участие в уличных боях вооруженных рабочих дружин с юнкерами, выступая на стороне последних.

После установления советской власти в Москве выехал на Юг, вступил добровольцем в белую армию Деникина и на всем протяжении гражданской войны служил в чине офицера в белых армиях, принимая активное участие в вооруженных боях против Красной армии (л. д. 16—17, том 4).

В 1920 году, после разгрома белых армий на Юге бежал за границу и принимал там активное участие в антисоветской работе белогвардейских организаций.

В 1922 году по его инициативе в Пражском университете был организован «Демократический союз русских студентов», который ставил своей задачей — объединить вокруг себя белогвардейскую молодежь, находившуюся в эмиграции, для борьбы с советской властью (том 5, л. д. 20—23, 105—108).

После аналогичных сведений о Клепинине-Львове и Афанасове констатируется:

«Произведенным расследованием установлено, что все обвиняемые по настоящему делу одновременно съехались в Париж и примкнули в антисоветской белогвардейской "евразийской" организации...»

Следует описание задач этой организации и краткая характеристика ее «антисоветской» деятельности, в частности, следующее:

«В 1929 году "евразийская" организация, учитывая классовые изменения, происходившие в Советском Союзе в сторону ликвидации капиталистических элементов, начала делать ставку в своей борьбе против СССР не на кулачество и нэпманов, а на контрреволюционные формирования имевшихся в Советском Союзе троцкистов и правых.

В этом же году "евразийская" организация в лице своих руководителей — бывшего помещика белогвардейца Сувчинского¹ и князя Святополк-Мирского² вступила в переговоры с руководи-

¹ Сувчинский Петр Петрович (1892—1985), видный общественный деятель, один из основателей и теоретиков евразийского движения, автор многочисленных работ на эту тему; издатель, критик, эссеист, состоявший в переписке с многими выдающимися философами, писателями и поэтами; музыковед с мировым именем, друг И. Ф. Стравинского.

² Князь Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890—1939), историк литературы, критик, публицист; преподавал русскую литературу в Лондонском университете; был одним из теоретиков движения евразий-

телями контрреволюционного троцкистского подполья в лице Пятакова¹, который работал тогда в советском торгпредстве во Франции, и Сокольников, бывшего полпреда в Англии, через которых установила контакт по антисоветской деятельности с действовавшим в СССР троцкистским центром.

Став на путь двурушничества, "евразийская" организация перед каждым ее участником поставила задачу: войти в доверие советских учреждений, находящихся во Франции, и с их помощью, пробраться в Советский Союз, установить организационную связь с троцкистами и вместе с ними развернуть антисоветскую работу (том 6 л. д. 36—38, том 1 л. д. 37—39, том 5 л. д. 83—86).

Действуя в соответствии с новыми тактическими установками "евразийской" организации, обвиняемые Эфрон-Андреев, Клепинин-Львов, Клепинина-Львова, Афанасов с целью проникновения в СССР установили деловую связь с органами НКВД, находившимися в Париже; одновременно работали на французскую разведку и ставили последнюю в известность о характере получаемых ими заданий от НКВД, затем спровоцировали якобы свой провал на советской работе и приехали в Советский Союз.

Обвиняемая Литauer по заданию "евразийской" организации в 1931 году вступила в французскую компартию для того, чтобы по линии Коминтерна пробраться в Советский Союз. В этом же году была завербована французской, а в 1933 году польской разведками для шпионской деятельности против СССР.

В 1935 году при содействии французской разведки была перебросена в Советский Союз.

Обвиняемый Толстой в 1932 году был завербован Эфрон-Андреевым для шпионской работы на французскую разведку, а в 1933 году через «Союз возвращения на родину» при содействии того же Эфрона был перебросен в Советский Союз с заданием шпионского и террористического характера (л. д. 35—40).

Как установлено следствием, Эфрон-Андреев, занимая руководящее положение в т. н. просоветской организации в Париже — в «Союзе возвращения на родину»² и пользуясь исключи-

цев; в конце 20-х годов обратился с просьбой о советском гражданстве; в 1931 году вступил в компартию Великобритании, а в сентябре 1932 вернулся в СССР; в июне 1937 был репрессирован, отправлен в лагеря, где и погиб.

¹ Пятаков Юрий (Георгий) Леонидович (1890—1937) и Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант (Бриллиантов) Гириш Яковлевич) (1888—1939) были преданы суду по делу так называемого «параллельного антисоветского троцкистского центра». Процесс проходил 23—30 января 1937 года. Пятаков был приговорен к расстрелу, Сокольников к десяти годам заключения, позже он был тоже расстрелян.

² «Союз возвращения на родину» — организация советских и русских граждан во Франции — был основан в ноябре 1924 года. Союз ставил своей задачей распространение правдивой информации о Советском Союзе и организацию возвращенческих групп. Первоначально основной

тельным к себе доверием со стороны бывшего вражеского руководства 5-го отдела НКВД¹, по заданию французской разведки на протяжении ряда лет засылал в СССР через «Союз возвращения на родину» шпионов, диверсантов и террористов, направляемых французской разведкой. При его содействии переброшены в СССР Толстой, Литгауэр, Афанасов, Романченко и Формоза (том 4, л. д. 28, том 1, л. д. 35)».

За этим следует описание «активной контрреволюционной и шпионской» деятельности (часто «по заданию Эфрона») в пользу французской, бельгийской, германской, американской и английской разведок Толстого, Клепинина-Львова, Литгауэр, Афанасова и Клепининой-Львовой. Им инкриминируются, в частности, связи с «шпионами французской и английской разведок» В. Сувчинской-Трайл (бывшей женой П. П. Сувчинского), кн. Святополк-Мирским, «агентом Гестапо» писателем Р. Гулем.

«Следствие считает установленным, что:

1. Обвиняемые по настоящему делу, проживая во Франции в 1924—28 годах одновременно вступили в белогвардейскую организацию под названием "евразия", которая ставила своей задачей объединить вокруг себя все антисоветские элементы, находящиеся за границей и в СССР, свергнуть в Советском Союзе существующий строй и установить власть буржуазии.

2. "Евразийская организация" вошла в сношения с разведывательными органами иностранных государств с тем, чтобы получить от них материальную и техническую помощь для засылки в Советский Союз своих эмиссаров, евразийской литературы и контрреволюционных листовок.

3. "Евразийская организация" вошла также в сношения с другими контрреволюционными белогвардейскими организациями, находящимися за границей, для того, чтобы контактировать с ними свою антисоветскую работу.

4. В 1929 году "Евразийская организация" через Пятакова и Сокольникову установила антисоветскую связь, с троцкистским подпольем, действовавшим в СССР, приняла их платформу и тактику борьбы с советской властью, и в купе с троцкистами вела антисоветскую деятельность вплоть до разгрома троцкистского подполья в СССР.

контингент членов союза составляли бывшие солдаты русского экспедиционного корпуса, русские военнопленные, оказавшиеся после окончания войны во Франции; впоследствии — эмигранты, стремившиеся вернуться на родину. Союз имел отделения в Париже и других городах Франции и пользовался покровительством советских официальных представительств в Париже. В 1937 году переименован в «Союз друзей Советской родины». Находился под пристальным наблюдением французских властей, которые неоднократно высылали из страны его активистов как агентов СССР.

¹ Пятый (иностраный) отдел НКВД, ведавший агентурной работой в Западной Европе, в 1937 году подвергся чистке, многие его руководители были репрессированы как враги народа.

5. Все обвиняемые были связаны с иностранными разведками и вели активную шпионскую контрреволюционную работу против СССР.

Толстой, Клепинин-Львов, Николай Афанасов, Клепинина-Львова Антонина, Литауэр виновными в предъявленных им обвинениях признали полностью.

Эфрон-Андреев виновным признал себя частично, изобличается показаниями своих сообщников и очными ставками с Толстым, Клепининым-Львовым и Литауэр. Остальные обвиняемые также изобличаются взаимными очными ставками и показаниями других арестованных.

На основании вышеизложенного:

Эфрон-Андреев Сергей Яковлевич, 1893 года рождения, урож. гор. Москвы, происходит из мещан, русский, гр-н СССР, бывш. офицер и доброволец белой армии, в 1920 г. бежал за границу и проживал там до 1937 г. До ареста без определенных занятий.

Толстой Павел Николаевич, 1909 года рождения, урож. гор. Ленинграда, происходит из дворян, русский, гр-н СССР, с 1917 по 1933 г. проживал за границей. До ареста литературный сотрудник журнала «Вокс»¹.

Клепинин-Львов Николай Андреевич, 1899 года рождения, урож. гор. Пятигорска, происходит из дворян, русский, гр-н СССР, бывш. офицер и доброволец белой армии, в 1920 году бежал за границу и проживал там до 1937 года. До ареста работал в «ВОКСе» референтом Восточного отдела.

Литауэр Эмилия Эммануиловна, 1902 года рождения, урож. гор. Ленинграда, происходит из семьи крупного торговца, еврейка, гр-ка СССР, в 1921 г. эмигрировала за границу и проживала там до 1935 года. До ареста без определенных занятий.

Клепинина-Львова Антонина Николаевна, 1894 года рожд., урож. гор. Варшавы, происходит из дворян, русская, гр-ка СССР, с 1901 по 1937 г. проживала за границей². До ареста — без определенных занятий.

Афанасов Николай Ванифатьевич, 1903 года рождения, урож. гор. Калуги, происходит из семьи лесопромышленника, русский, гр-н СССР, в 1919 г. служил добровольцем в белой армии в чине подпоручика. В 1920 г. бежал за границу и проживал там до 1936 года. До ареста десятник Водоканала в гор. Калуге.

Обвиняются в том, что:

Являлись участниками контр-революционной организации "евразия", ставившей своей задачей свержение советской власти. Будучи за границей и в СССР, вели активную антисоветскую ра-

¹ Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС) существовало с 1925 по 1958 год. Выходил информационный «Бюллетень ВОКС» на английском, французском и немецком языках.

² В других материалах дела указывается, что Клепинина-Львова проживала за границей с 1922 по 1937 гг.

боту, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58—1а, 58—11 УК РСФСР.

Эфрон-Андреев, Толстой, Афанасов и Литauer, кроме того, обвиняются еще по ст. 58—8 УК РСФСР, а Клепинин-Львов и Клепинина-Львова по ст. 58—10 УК РСФСР.

Считая следствие по обвинению вышеупомянутых обвиняемых законченным, а преступления доказанными, руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР.

Следственное дело № 644 по обвинению Эфрон-Андреева С. Я., Толстого П. Н., Клепинина-Львова Н. А., Литauer Э. Э., Клепининой-Львовой А. Н. и Афанасова Н. В. направить Прокурору Союза ССР для передачи по подсудности».

Обвинительное заключение подписано следователем следственной части ГУТБ НКВД СССР мл. лейтенантом госбезопасности А. И. Ивановым; с заключением согласился помощник начальника следственной части ГУТБ НКВД СССР старший лейтенант госбезопасности Шкурин.

Следователь Иванов снабдил заключение следующей справкой:

«Обвиняемые по делу № 644 арестованы: Толстой П. Н. 29 июля 1939 года, Литauer Э. Э. — 27 августа 1939 года, Эфрон-Андреев С. Я. — 10 октября 1939 года, Клепинин-Львов Н. А. и Клепинина-Львова — 7-го ноября 1939 года.

Эфрон-Андреев содержится в Лефортовской тюрьме, а остальные обвиняемые во внутренней¹.

Вещественных доказательств в деле нет».

После долгих поисков в Военную прокуратуру поступает архивно-следственное дело по обвинению С. Я. Эфрона и других, но уже под номером 9181464. Изучив его, 30 ноября 1955 года прокуратура дает следующее указание (под грифом «секретно») начальнику следственного управления КГБ при Совете Министров СССР генерал-майору юстиции М. П. Малярову:

«При этом направляется для проверки архивно-следственное дело № 981464 по обвинению Эфрон-Андреева С. Я., Толстого П. Н. и других.

6 июля 1941 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР были осуждены по ст. ст. 58—1—а, 58—11 УК РСФСР к расстрелу: (перечисляются шесть фамилий, проходивших по делу).

Все эти лица признаны судом виновными в том, что являлись участниками контрреволюционной организации «Евразия», ставившей своей задачей свержение советской власти. Кроме того, будучи за границей, а затем в СССР, проводили активную антисоветскую работу, занимались шпионской деятельностью.

В настоящее время дочь Эфрона-Андреева, Эфрон А. С. и жена Афанасова — Эйлер Т. В. просят пересмотреть дело в отношении Эфрона-Андреева, Афанасова и других лиц.

¹ Имеется в виду Внутренняя тюрьма в здании НКВД на Лубянке. Хотя незаконные методы получения показаний в ходе следствия широко применялись в обеих тюрьмах НКВД, пытки и истязания были особой «специализацией» Лефортовской тюрьмы.

Как видно из материалов дела, на предварительном следствии Эфрон-Андреев, Толстой, Клепинин-Львов, Клепинина-Львова, Литауэр и Афанасов признали себя виновными в предъявленном им обвинении.

На суде Литауэр и Львов-Клепинин подтвердили свои прежние показания.

Эфрон-Андреев и Клепинина-Львова, признав свое участие в организации "Евразия", заявили, что какой-либо другой антисоветской работы они не проводили¹.

Толстой и Афанасов в суде вообще отрицали свое участие в антисоветской деятельности...»

Далее называются фамилии лиц, чьи показания имеются в деле (помимо показаний самих осужденных), и отмечается, что протоколы допросов этих лиц в деле либо имеются в копиях, либо отсутствуют.

«Кроме показаний осужденных и перечисленных свидетелей, в деле никаких других объективных доказательств виновности проходящих по делу лиц не имеется.

Прошу Вас в порядке ст. ст. 373—377 УПК РСФСР произвести по настоящему делу проверку, в процессе которой, в частности, необходимо:

1. Через Центральный государственный военно-исторический архив установить, действительно ли служили во время гражданской войны в белых армиях Эфрон С. Я., Клепинин-Львов Н. А., Афанасов Н. В., и если служили, то когда, где, принимали ли непосредственное участие в боях с Красной Армией, когда и в связи с чем прекратили свою службу у белогвардейцев.

2. Через органы госбезопасности и соответствующие государственные архивы установить, существовали ли за границей следующие белоэмигрантские организации... (Следует перечень организаций и задание дать всестороннюю характеристику их деятельности, а также входил ли в них кто-либо из осужденных по данному делу и если входил, то какие имеются сведения о конкретных фактах их деятельности.)

«3. Проверить имеющиеся в деле данные в преступных связях осужденных по настоящему делу лиц с...» (Идет список из 78

¹ В деле имеется девять заявлений Клепининой-Львовой на имя прокурора, наблюдавшего за ее делом, с отказом от ранее данных ею показаний. К этим маленьким листкам написанным неровным почерком из камер Бутырской и Внутренней тюрьмы, и сейчас, спустя 50 лет, страшно притрагиваться. Вот одно из них:

«Гражданин прокурор, показания, которые я давала на следствии не соответствуют действительности. Я отказываюсь от своих показаний.

Я готова давать правдивые показания. Прошу предоставить мне возможность это сделать, а также возможность объяснить причины, побудившие меня говорить неправду.

фамилий, среди которых О. Савич, Святополк-Мирский, Путерман, Эйсер, Зайцев, В. Э. Сеземан, Д. М. Смиренский, Сувчинская-Трайл, Роберт Трайл, Эльсберг, Познер, Мария Остен, Стефан и Яков Литауэр, Родзевич, Роман Гуль.)

«Эти факты необходимо проверить:

а) в отношении лиц, находящихся вне пределов СССР, путем ознакомления с соответствующими оперативными и архивными материалами.

б) В отношении лиц, осужденных советским судом, путем ознакомления с их архивно-следственными делами.

в) В отношении лиц, находящихся в СССР и не привлекавшихся к уголовной ответственности, путем их допроса.

Пункт 4 предписывает изучить дела одиннадцати лиц (в т. ч. А. С. Эфрон), давших показания в отношении осужденных по данному делу, проверить эти показания на предмет их достоверности, а также не были ли они получены незаконными методами следствия.

«5. Проверить, не располагают ли органы госбезопасности какими-либо дополнительными материалами, кроме тех, которые имеются в деле, об антисоветской деятельности...» (фамилии осужденных), в том числе и о принадлежности их к агентствам иностранных разведывательных органов.

Не располагают ли органы госбезопасности какими-либо данными о шпионской деятельности лиц, названных осужденными по настоящему делу лицами как их соучастников по шпионажу.

6. Осмотреть оперативные материалы, относящиеся к работе... (фамилии осужденных) в системе закордонных советских разведорганов.

Составить по этим материалам обзорные справки, в которых, в частности, необходимо указать, как Эфрон-Андреев и другие лица относились к выполнению заданий, в связи с чем они были отозваны в СССР <...>

8. Путем допроса лиц, знавших <...> (фамилии осужденных), установить их деловые и политические качества.

9. Установить, не привлекались ли к ответственности за фальсификацию следственных дел лица, принимавшие участие в расследовании данного дела <...>

По окончании проверки все материалы вместе с делом и Вашим заключением прошу направить в Главную военную прокуратуру <...>».

Запрос подписан старшим помощником Главного Военного прокурора полковником юстиции Лепшиным.

Через пять месяцев, 8 мая 1956 года, в секретариат прокуратуры поступил ответ Следуправления КГБ с результатами проверки:

«При этом направляем на Ваше рассмотрение архивно-следственное дело № 981464 на Эфрон-Андреева С. Я., Толсто-

го П. Н., Клепинину-Львову А. Н., Литауэр Э. Э., Клепинина-Львова Н. А. и Афанасова Н. В. вместе с материалами дополнительной проверки.

Согласно Вашим указаниям в ходе проверки все вышеуказанные лица были проверены по соответствующим архивам МВД СССР и КГБ при СМ СССР, составлены справки по оперативным материалам, относящиеся к работе Эфрон-Андреева, Афанасова и других осужденных по делу по заданиям органов НКВД СССР; изучены архивно-следственные дела на Эфрон А. С., Мосину Н. В., Балтера П. А. и других, по которым составлены обзорные справки, а также собраны сведения о быв. сотрудниках НКВД СССР, проводивших расследование по делу.

Приложение: дело в 9-ти томах, материалы проверки подшиты к 1-му тому».

Эта сопроводительная записка подписана заместителем начальника следственного управления КГБ генерал-майором юстиции А. Козыревым.

По завершении рассмотрения дела и материалов проверки 12 июня 1956 года прокуратура направила в Военную коллегия Верховного суда СССР следующее заключение по делу С. Я. Эфрона и других:

«11 июня 1956 года, гор. Москва.

6 июля 1941 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР осуждены по ст. 58—1а, 58—11 УК РСФСР к расстрелу...» (перечисляются фамилии осужденных с упоминавшимися выше стандартными биографическими данными.)

Приговор по делу приведен в исполнение.

Все осужденные признаны судом виновными в том, что, проживая за границей, они являлись участниками контрреволюционной организации "Евразия" и, кроме того, как за границей, так и в СССР вели активную антисоветскую (шпионскую) работу.

В связи с жалобами дочери Эфрон-Андреева и жены Афанасова по настоящему делу в порядке ст. 373 УПК РСФСР произведена проверка, в процессе которой установлено:

Эфрон-Андреев, Клепинин-Львов и Афанасов во время гражданской войны служили в качестве офицеров в белой армии и после ее разгрома бежали за границу. Находясь за границей, они сотрудничали с рядом антисоветских белоэмигрантских организаций.

Клепинина-Львова, Литауэр и Толстой после окончания гражданской войны также эмигрировали за границу. Проживая во Франции, все осужденные в 1927—28 гг. примкнули к антисоветской белоэмигрантской организации "Евразия".

В 30-е годы, ввиду изменившихся убеждений, они вышли из этой организации.

Факт участия Эфрона-Андреева, Афанасова, Клепининных-Львовых, Литауэр и Толстого в «евразийской» организации под-

тверждается, как показаниями самих осужденных, так и материалами проверки (ссылка на дело).

Что же касается обвинения в шпионской и другой антисоветской деятельности, то оно в ходе проверки не нашло своего подтверждения.

Это обвинение было основано на показаниях самих осужденных, данных ими на предварительном следствии, а также на показаниях Романченко Н. Т. (после каждой фамилии даются ссылки на дело), Гилева А. М., Формозы В. В., Эфрон А. С., Балтера П. А., Мосиной Н. В., Стрелкова А. Я., Введенского А. В.

Однако Эфрон-Андреев, Афанасов, Клепинина-Львова и Толстой в суде отказались от своих прежних показаний, как от ложных и виновными себя в проведении антисоветской работы после выхода из организации «Евразия» не признали (ссылка на дело).

Романченко Н. Т., Гилев А. М., Балтер П. А., Стрелков А. Я. и Введенский А. В. впоследствии также отказались от своих показаний (ссылка на дело).

Эфрон А. С. в настоящее время полностью реабилитирована (ссылка на дело).

Показания Формозы основаны на предположениях, а Мосина дала показания со слов Толстого, который категорически отрицал их правильность (ссылка на дело).

Что же касается показаний Клепинина-Львова и Литауэр, признавших себя виновными в суде, то эти показания не заслуживают доверия. Клепинин-Львов и Литауэр называли среди своих соучастников по шпионской деятельности Эфрона-Андреева, Клепинину-Львову, Афанасова, Толстого, Романченко, Балтера, которые, как указывалось выше, отказались от своих первоначальных показаний и виновными себя в шпионаже не признали.

Таким образом, доказательства, положенные в основу обвинения осужденных по настоящему делу лиц в части шпионской и иной антисоветской деятельности, после выхода из «евразийской» организации, являются порочными.

В архивах органов госбезопасности никаких данных о принадлежности Эфрона-Андреева, Клепинина-Львова и других к агентуре иностранных разведок не обнаружено (ссылка на дело).

Из дела и материалов проверки видно, что Эфрон-Андреев, Клепинин-Львов, Афанасов и другие, осознав ошибочность своей прошлой деятельности, порвали с «евразийской» организацией и, находясь во Франции, проделали большую работу в пользу Советского Союза (ссылка на дело).

Бывший работник НКВД СССР Пудин, знавший Эфрона-Андреева и Клепининых по закордонной работе, показал что во время их ареста, в ИНО НКВД никаких данных о принадлежности их к агентуре иностранных разведок не было (ссылка на дело).

Таким образом обвинение (перечисляются фамилии осужденных) в проведении антисоветской деятельности является необоснованным.

Что же касается их участия в организации «Евразия», то этот факт также не может быть поставлен им в вину, поскольку осужденные, проводя закордонную работу в пользу СССР, не скрывали этого факта и советские органы, оказывая содействие Эфрому-Андрееву, Клепининым-Львовым и др. в переезде в Советский Союз, знали об этом.

На основании изложенного и принимая во внимание, что в процессе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности приговора по настоящему делу, руководствуясь ст 378 УПК РСФСР,

Полагал бы:

войти в Военную Коллегию Верховного Суда СССР с предложением: приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 6 июля 1941 года в отношении Эфрона-Андреева Сергея Яковлевича, Толстого Павла Николаевича, Клепинина-Львова Николая Андреевича, Литауэр Эмилии Эммануиловны, Клепининой-Львовой Антонины Николаевны, Афанасова Николая Ванифатьевича отменить и дело в отношении их на основании п. «б» ст. 204 УПК РСФСР дальнейшим производством прекратить...»

Заключение завизировано военным прокурором отдела Главной Военной прокуратуры В. Добаткиным и скреплено подписью ст. помощника Главного Военного прокурора полковника юстиции Лепшина.

К документу приложены справка об адресах дочери С. Я. Эфрона, жены Н. В. Афанасова и сына Клепининой-Львовой, а также справка о том, что «следствие по делу вели работники НКВД СССР Кузминов Николай Михайлович (осужден), Иванов Алексей Иванович, Прохоров Николай Александрович, Копылов Николай Васильевич, Блинов Василий Максимович, Шкурин Алексей Калинович, Поташник Матвей Моисеевич, обвинительное заключение составлено Ивановым, согласовано со Шкуриным, утверждено Афанасьевым и Эсауловым, осуждены обвиняемые по настоящему делу Военной Коллегией в составе Буканова, Чепцова и Успенского...»

На другой день, 12 июня, капитан юстиции Добаткин послал А. С. Эфрон по адресу Е. Я. Эфрон (Мерзляковский пер., 16), где тогда жила Ариадна Сергеевна, извещение:

«Сообщаю, что после произведенной проверки дело в отношении Вашего отца — Эфрона-Андреева Сергея Яковлевича направлено для рассмотрения в порядке надзора в Верховный Суд СССР, куда Вам в дальнейшем и следует обращаться».

В деле нет документов, свидетельствующих об обращении А. С. Эфрон в Верховный Суд после этого уведомления.

На своем заседании 22 сентября 1956 года Военная Коллегия Верховного Суда в составе председательствующего полковника юстиции Семика и членов, полковников юстиции Дашина и Равич-Щербы, рассмотрела реабилитационное заключение Главной Военной прокуратуры и определила: приговор Военной Коллегии Верхов-

ного Суда от 6 июля 1941 года в отношении осужденных лиц «по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело на них за отсутствием состава преступления прекратить».

Дело завершают два заключительных секретных документа Военной Коллегии, отпечатанных на типографских бланках.

Один из них — сопроводительная записка — датирован 27 октября 1956 года и адресован начальнику учетно-архивного отдела (главного хранилища архивно-следственных дел) КГБ при Совете Министров СССР, с копиями в ГВП и 1-й спецотдел СССР. Этим документом за номером 4н—09939/56¹ препровождалось для исполнения определения от 22 сентября по делу Эфрона-Андреева и других «в части возвращения конфискованного имущества их родственникам» с указанием сообщить об этом в Военную Коллегию. В нем одновременно содержалась просьба «установить ближайших родственников всех реабилитированных лиц (за исключением Эфрона-Андреева и Афанасова)² и, не объявляя полностью содержания определения, сообщить им лишь результат рассмотрения дела, а дату исполнения сообщить в Военную Коллегию и Главную Военную Прокуратуру». Подписано упоминавшимся выше полковником юстиции Семиком.

Другой документ — от 21 декабря того же года под тем же номером 4н—9939/56³, что и предыдущий:

**«Начальнику Управления милиции УМВД Союза ССР
г. Москвы**

**Начальнику 1 спецотдела МВД Союза ССР
Главному военному прокурору**

Прошу дать указание соответствующему отделу ЗАГС о выдаче гражданке Эфрон С. Я. (*Sic!* — М. Ф., Ю. К.) свидетельства о смерти ее отца Эфрон-Андреева С. Я.

Сообщаю, что Эфрон-Андреев Сергей Яковлевич, 1893 года рождения, был осужден Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 6 июля 1941 года и, отбывая наказание, умер 1 октября 1944 года.

Гр. Эфрон С. Я. (*Sic!* — М. Ф., Ю. К.) проживает по адресу г. Москва, Мерзляковский пер, дом 16, кв. 27.

**Зам. Председателя Военной Коллегии
Верховного Суда Союза ССР
Полковник юстиции (В. Борисоглебский)»**

¹ На этот номер как номер надзорного производства по делу Эфрона-Андреева ссылался в своем письме в журнале «Огонек» (1991, № 2) бывший сотрудник Особого архива Военной коллегии и Верховного Суда СССР Д. Юрасов.

² Их родные (а позднее и сын Клепининой-Львовой А. Сеземан) уже были оповещены о результатах рассмотрения дела.

³ Очевидно, в документе описка: в первом случае «О», во втором — «9».

Помимо того, что в эти стандартные бланки вписывались заведомо ложные сведения, в спешке перепутали инициалы.

На двух последних документах наложены резолюции Военного прокурора Добаткина. На первом: «Ожидать сообщения о розыске и уведомлении родственников остальных осужденных (! — М. Ф., Ю. К.) 3/ХІ 56». На втором: «Ожидать сообщения об уведомлении родственников других осужденных. 3/І 58».

До каких же пор ждали?

Цветаева всегда считала, что умершие заслуживают того, чтобы живые помнили их и ухаживали за их могилами. В 38-м году, уже зная, что скоро навсегда уедет из Франции, она ставит памятник на Монпарнасском кладбище Парижа родителям и брату Эфрона.

Точное место погребения самой Цветаевой на Елабужском кладбище неизвестно. В Тарусе, где она хотела быть похороненной, похоронена Ариадна Эфрон.

Урна с прахом Игнатия Рейсса — в нише колумбария живописного и ухоженного Центрального кладбища Лозанны.

Место захоронения Сергея Эфрона неизвестно.

Уже после выхода этой статьи нами были опубликованы некоторые документы из следственного дела С. Эфрона и материалы о приведении в исполнение приговоров за 1941 год. С. Эфрон очевидно похоронен в Москве или где-то в Подмосковье. (См. Маэль Фейнберг, Ю. Клюкин. Дело Сергея Эфрона, «Столица», 1992, № 38 (18 сент.) и 39 (25 сент.).

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

П. А. Павленко

Москва, ул. Герцена,
д. 6, кв. 20 (Северцева)
27 августа 1940 г.

Многоуважаемый товарищ Павленко,

Вам пишет человек в отчаянном положении.

Нынче 27-ое августа, а 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и библиотекой — на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы.

Начну с начала.

18-го июня 1939 г., год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз, с 14-летним сыном, и поселилась в Болшеве, в поселке Новый Быт, на даче, в той ее половине, где жила моя семья, приехав-

Письма и дневниковая запись печатаются по книгам: Мария Белкина «Скрещение судеб», М., 1988; Марина Цветаева «Поклонись Москве», М., 1989. Составление, вступительная статья и примечания Анны Саакянц.

шая на два года раньше. 27-го августа (нынче годовщина) была на этой даче арестована моя дочь, а 10-го Октября — и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало *всячески* нестерпимо, мы просто *замерзали*, и 10-ноября, заперев дачу на ключ (NB! у нас нашей жилплощади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на площади мужа) — итак, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции и мы ей мешали.

Потом Литфонд устроил нас в Голицынский Дом Отдыха, вернее мы жили *возле* Дома Отдыха, столовались — там. За комнату, кроме 2-х месяцев, мы платили сами — 250 р. в месяц, — маленькую, с фанерной перегородкой, не доходившей до́ верха. Мой сын, непривычный к такому климату, *непрерывно* болел, болела и я, к весне дойдя до кровохарканья. Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми негорящими лампами, тасканьем воды с колодца и пробиваньем в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса вскакивая, думая (надеясь!), что уже утро. Слишком много было стекла (всё эти стеклянные террасы), черноты и тоски. В город я не ездила никогда, а когда ездила — скорей кидалась обратно от страха не попасть на поезд. Эта зима осталась у меня в памяти как полярная ночь. Все писатели из Дома Отдыха меня жалели и обнадеживали...

Всю зиму я переводила. Перевела две английские баллады о Робин-Гуде, три поэмы Важа Пшавела (больше 2000 строк), с русского на французский ряд стихотворений Лермонтова, и уже позже, стихи летом, с немецкого на французский большую поэму Бехера и ряд болгарских стихотворений. Работала не покладая рук — *ни дня* роздыха.

В феврале месяце мы из Голицына дали объявление в Веч. Москве о желании снять в Москве комнату. Отозвалась одна гражданка, взяла у нас за 6 месяцев вперед 750 руб. — и вот уже 6 месяцев как предлагает нам комнату за комнатой, *не показывая* ни одной и давая нам ложные адреса и имена. (Она за этот срок «предложила» нам 4 комнаты, а показала только одну, в которую так и непустила, потому что там живут ее родные.) Она все отговаривалась «броней», которую достает, но ясно, что это — мошенница.

— Дальше. —

Если не ошибаюсь, к концу марта, воспользовавшись первым теплом, я проехала к себе в Болшево (где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель) — посмотреть — как там, и обнаружила, что дача взломана и в моих комнатах (двух, одной — 19 метров, другой — 7-ми метров) поселился начальник местного поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудниками вторично приехала на дачу, но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков — а именно начальник милиции — *удавился*, и мы за-

стали его гроб и его — в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги, а мебелью взломщики до сих пор пользуются, потому что мне *некуда* ее взять.

На возмещение отнятой у меня взломщиками жилплощади мне рассчитывать нечего: дача отошла к Экспортлесу, вообще она и в мою бытность была какая-то спорная, неизвестно — чья, теперь ее по суду получил Экспортлес.

Так кончилась моя болшевская жилплощадь.

— Дальше. —

В июне мой сын, несмотря на непрерывные болезни (воспаление легких, гриппы и всяческие заразные), очень хорошо окончил седьмой класс Голицынской школы. Мы переехали в Москву, в квартиру профессора Северцева (университет) на 3 месяца, до 1-го сентября. 25-го июля я наконец, получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован на имя моей дочери (когда я уезжала из Парижа, я не знала, где буду жить, и дала ее адрес и имя). Всё носильное и хозяйственное и постельное, весь мой литературный архив и вся моя *огромная* библиотека. Все это сейчас у меня на руках, в одной комнате, из которой я 1-го сентября *должна* уйти со *всеми* вещами. Я *очень* много раздарила, разбросала, пыталась продавать книги, но одну берут, двадцать *не* берут, — хоть на улицу выноси! — книг 5 ящиков, и вообще — груз огромный, ибо мне в Советском консульстве в Париже разрешили везти *всё* мое имущество, а жила я за границей — 17 лет. —

Итак, я *буквально* на улице, со всеми вещами и книгами. Здесь, где я живу, меня больше не прописывают (Университет), и я уже 2 недели живу без прописки.

1-го сентября мой сын пойдет в 167 школу — *откуда?*

Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему.

Положение безвыходное.

За город я не поеду, потому что там *умру*. — от страха и черноты и полного одиночества. (Да с таким багажом — и зарежут.)

Я *не* истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича.

Но — меня жизнь за этот год — добила.

Исхода *не* вижу.

Взываю к помощи.

Марина Цветаева

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1940 Г.

Возобновляю эту тетрадь 5-го сентября 1940 г. в Москве. 18-го июня приезд в Россию. 19-го в Болшево, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление серд-

ца. Мытарства по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываюсь. Кошки. Мой ой любимый неласковый подросток — кот. (Всё это для *моей* памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит — *такого*.) Торты, ананасы, от этого — не легче. Прогулки с Милей. Мое *одиночество*. Посудная вода и слезы. Обертон — унтертон всего — жуть. Обещают перегородку — дни идут. Мурину школу — дни идут. И отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на дружине. Погреб: 100 раз в день. Когда — писать??

Девочка Шура. Впервые — чувство *чужой* кухни. Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С. бессилён, совсем, во всем. (Я, что-то вынимая: — Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки! — Я на Вас смотрел!)

(Разворачиваю рану. Живое мясо. Корочке:)

27-го в ночь арест Али. Аля — веселая, держится браво, отшучивается.

Забыла: последнее счастливое видение ее — дня за 4 — на Сельскохоз. выставке, «колхозницей», в красном чешском платке — моем подарке. Сияла. Уходит, не прощаясь. Я: — Что же ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она в слезах, через плечо — отмахивается. Комendant (старик, с добротой): — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы...

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека *робче* себя. Боюсь — всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы — если это голова — так преданно мне служившей в тетради и так убивающей меня — в жизни. Никто не видит — не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк, но их нет, п. ч. везде электричество. Никаких «люстр»... Я *год* примеряю — смерть. Всё — уродливо и — страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, *исконная* отвратительность *воды*. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу — *умереть*, я хочу — *не быть*. Вздор. Пока я *нужна*... но, Господи, как я мало, как я *ничего* не могу!

Доживать — дожевывать

Горькую польнь

— Сколько строк, миновавших! Ничего не записываю. С этим — кончено.

Н. Н. принес немецкие переводы. Самое любимое, что есть: немецкие народные песни. Песенки. О, как все это я любила!

Сегодня, 26 сентября по старому (Иоанн Богослов), мне 48 лет.

Поздравляю себя 1) (тьфу, тьфу, тьфу!) с уцелением 2) (а м. б. 1/) с 48-ю годами непрерывной *души*.

Моя *трудность* (для меня — писания стихов и, м. б., для дру-

гих — понимания) в невозможности моей задачи. Например *словами* (то есть смыслами) сказать *стон*: а—а—а. Словами (смыслами) сказать *звук*. Чтобы в ушах осталось одно а—а—а.

Зачем (такие задачи?).

Е. А. Эфрон

Москва, Покровский бульвар, д. 14/5, 4-й подъезд, кв. 62. 3-го октября 1940 г.

Милая Лиля,

спешу Вас известить: С. на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, п. ч. 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, на этот раз — определенно: *не* числится). Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, — и посылно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо» («Вы напрасно так волнуетесь!» — вообще, у меня впечатление, что С. — знают, а по нему — и меня. В приемной дивятся долготы его московского пребывания).

Да, а 10-го годовщина, и день рождения, и еще годовщина: трехлетия отъезда. Але я на *ее* годовщину (27-го) носила передачу. С., наверное, *не* удастся.

Мур перешел в местную школу, по соседству, № 8 по Покровскому бульвару (бывшую женскую гимназию Виноградовой). Там — проще. И — так — проще, может выходить за четверть часа, а то давился едой, боясь опоздать. А — кошмарный трамвай: хожу пешком или ежду на метро (Кировские ворота в 10 минутах). Немножко привыкла. Хорошие места, но — не мои. На лифте больше не ежду, в последний раз меня дико перепугал женский голос (лифтерша сидит где-то в подземелье и говорит в микрофон): — Как идет лифт? Я, дрожащим (как лифт) голосом: — Да ничего. Кажется — неважно. — Может, и не доедете: тяга совсем слабая, в пятом — остановился. Я: — Да не пугайте, не пугайте, ради Бога, я и так умираю от страха!

«И с той поры — к Демьяну ни ногой».

Честное слово: так бояться для сердца куда хуже, чем все шесть этажей.

С деньгами плоховато: все ушло на квартиру и переезд, а в Ин-тер. Лит., где в ближайшей книге должны были пойти мои переводы немец. песен — полная перемена программы, пойдет совсем другое, так что на скорый гонорар надеяться нечего. Хотя бы Муля выручил те (воровкины) 750 руб.

Заказала книжную полку и кухонную (NB! Чем буду платить?)

Столяр — друг Тагеров — чудный старик, мы с ним сразу подружились. Когда уберутся ящики, комната будет — посильно-приличная.

Очень радуюсь Вашему и З. М. возвращению. Как наверное дико — тоскливо по вечерам и ночам в деревне! Я, никогда не любившая города — не мыслю. О черных ночах Голицына вспоминаю с содроганием. Все эти стеклянные террасы...

Замок повешу завтра — нынче не успела. Куплю новый, с двумя ключами: тот тоже есть, но куда-то завалился. Ничего — будет два.

Целую обоих, будьте здоровы.

М.

А. Эфрон

Москва, 12-го апреля 1941 г., суббота.

Дорогая Аля! Наконец твое первое письмо — 4-го, в голубом конверте. Глядела на него с 9 ч. утра до 3 ч. дня — Муриноного прихода из школы. Оно лежало на его обеденной тарелке, и он уже в дверях его увидел, и с удовлетворенным и даже самодовольным: А-а! — на него кинулся. Читать мне не дал, прочел вслух и свое и мое. Но я еще до прочтения — от нетерпения — послала тебе открыточку. Это было вчера, 11-го. А 10-го носила папе, приняли.

Аля, я деятельно занялась твоим продовольствием, сахар и какао уже есть, теперь ударю по бэкону и сыру — какому-нб. самому твердокаменному. Пришлю мешочек сушеной моркови, осенью сушила по всем радиаторам, можно заваривать кипятком, все-таки овощ. Жаль, хотя более чем естественно, что не ешь чеснока, — у меня его на авось было запасено целое кило. Верное и менее противное средство — сырая картошка, имей в виду. Так же действенна, как лимон, это я знаю наверное.

Я тебе уже писала, что твои вещи свободны, мне поручили самой снять печати, так что все достанем, кстати, моль ничего не поела. Вообще, все цело: и книги, и игрушки, и много фотографий. А лубяную вроде банки я взяла к себе и держу в ней бусы. Не прислать ли тебе серебряного браслета с бирюзой — для другой руки, его можно носить не снимая и даже трудно снять. И м. б. какое-нб кольцо? Но — раз уже вопросы — ответь: какое одеяло (твое голубое второе пропало в Болшеве с многим остальным — но не твоим) — есть: мое пестрое вязаное — большое, не тяжелое, теплое — твой папин бэжевый плэд, но он маленький — темно-синяя испанская шаль. Я бы все-таки — вязаное, а шаль — со следующей оказией, она все равно — твоя. Пришлю и нафталина. Мешки уже готовы. Есть два платья — суровое, из номы, и другое, понаряднее, приладим рукава. Муля клянется, что достанет гвоздичного масла от комаров, — дивный запах, обожаю с детства. И много мелочей будет, для подарков.

У нас весна, пока еще — свежаватая, лед не тронулся. Вчера уборщица принесла мне вербу — подарила — и вечером (у меня огромное окно, во всю стену) я сквозь нее глядела на огромную жел-

тую луну, и луна — сквозь нее — на меня. С вербочкою светлошёрстой, светлошёрстая сама... — и даже весьма светлошёрстая! Мур мне нынче негодующе сказал: — Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху! — и мне очень понравилось — что деревенскую. Бедный Кот, он так любит красоту и порядок, а комната — вроде нашей в Борисоглебском, слишком много вещей, все по вертикали. Главная Котова радость — радио, которое стало — неизвестно с чего давать решительно все. Недавно слышали из Америки Еву Кюри. Это большой ресурс. Аля, среди моих сокровищ (пишу тебе глупости) хранится твоя хлебная кошечка, с усами. Поцелуй за меня Рыжего, хороший кот. А у меня, после того, твоего, который лазил Николке в колыбель, уже никогда кота не будет, я его безумно любила и ужасно с ним рассталась. Остался в сердце гвоздем.

Кончаю своих Белорусских евреев, перевожу каждый день, главная трудность — бессвязность, случайность и неточность образов, все распадается, сплошная склейка и сшивка. Некоторые пишут без рифм и без размера. После Белорусских евреев, кажется, будут балты. Своего не пишу — некогда, много работы по дому, уборщица приходит раз в неделю. — Я тоже перечитывала Лескова — прошлой зимой, в Голицыне, а Бенвенуто читала, когда мне было 17 лет, в гетевском переводе и особенно помню саламандру и пощечину.

Несколько раз за зиму была у Нины, она все хворает, но работает, и когда только можно — радуется. Подарила ей лже-меховую курточку, коротенькую, она совсем замерзала, и на рождение одну из своих металлических чашек, — из к-ых никто не пьет, кроме меня — и нее.

Хочу отправить нынче, кончаю. Держись и бодрись, надеюсь, что Мулина поездка уже дело дней. Меня на-днях провели в группком Гослитиздата — единогласно. Вообще, я стараюсь.

Будь здорова, целую. Мулины дела очень поправились, он добился чего хотел, и сейчас у него много работы. Мур пишет сам.

Мама.

Н. Я. Москвину

Голицыно, 9-го/22-го марта 1940 г., весна.

Дорогой Николай Яковлевич!

Приветствую Вас сегодня, в первый день весны. У нас он — сияющий. К. Зелинский, огромного роста, с утра расчищает в саду огромную, по росту — не дорожку, а дорогу — целую дорогу весны.

Я о Вас скучаю, по-настоящему, я к Вам очень привязалась.

Кончаю очередного Робин Гуда — выручало — и тихо, но верно

подхожу к подножью полуторатысячестрочной горы — Эстери. Эта Важа (она же — Пшавела) меня когда-нибудь раздавит.

Народ — все критики из некритиков — Пяст очень больной, тяжело и громко дышащий и трогательно старающийся быть как все, и чем больше старается — тем безнадежнее отличается.

Мур как будто выздоровел, целую пятидневку ходит в школу, но — новая напасть: ему хотят прививать тиф, а я боюсь, п. ч. температура к 6 ч. еще иногда повышается, и боюсь за сердце — ослабленное. Пока что — оттянула и написала Струкову¹ — что посоветует.

Из местных новостей — сильнейшая реакция М. С. Ш.² на статью Асеева — два Ш. Я., не входя в содержание спора, любовалась ее живостью.

Ах, жаль Вас нет, потому что —
Я сегодня в новой шкуре:
Вызолоченной — седьмой.

А шкура — самая настоящая: баранья, только не вызолоченная, а высеребрянная, седая, мне в масть, цвета талого снега, купила за 70 р. в местном Сельмаге, в мире реальном это воротник, огромный. Бог наделил меня самой демократической физикой: я все люблю самое простое, и своего баррана не променяла бы ни на какого бобра.

Эта шкура — Вам в честь.

До свидания — не знаю когда, но *всегда* с огромной радостью.

Поцелуйте Таню. Вас обнимаю. Мур шлет привет.

М. Ц.

В. А. Меркурьевой

Москва. 31-го августа 1940 г.

Дорогая Вера Александровна.

Книжка и письмо дошли, но меня к сожалению не было дома, так что я Вашей приятельницы не видела. Жаль. Для меня нет чужих: я с каждым — с конца, как во сне, где нет времени на предварительность.

Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. Вчера ушли с ул. Герцена, где нам было очень хорошо, во временно-пустующую крохотную комнатку в Мерзляковском пер. Весь груз (колоссальный, все еще непомерный, несмотря на полный месяц распродаж и раздач) оставили на ул. Герцена — до 15-го сентября, в пустой комнате одного из профессоров. — А дальше??? — Обратились к заместителю Фадеева. — Павленко — очаровательный человек, вполне сочувствует, но дать ничего не может, у писателей в Москве нет *ни метра*, и я ему верю. Предлагая загород, я привела основной

Марина Цветаева, Поэт и время, Москва, Галарт, 1992

¹ Врач из поликлиники Литфонда.

² Мариэтта Сергеевна Шагинян.

довод: *собачьей тоски*, и он понял и не настаивал. (Загородом можно жить большой дружной семьей, где один другого выручает, сменяет, и т. д. — а так — Мур в школе, а я с утра до утра — одна со своими мыслями (трезвыми, без иллюзий) — и чувствами (безумными: *якобы* — безумными, — вещими), и переводами, — хватит с меня одной такой зимы.

Обратилась в Литфонд, обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, что «писательнице с сыном» каждый сдающий предпочтет одинокого мужчину без готовки, стирки и т. д. — Где мне тягаться с одиноким мужчиной!

Словом, Москва меня не вмещает.

Мне некого винить. И себя не виню, п. ч. это была моя судьба. Только — чем кончится??

Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. Кстати, уже больше месяца не перевожу ничего, просто не притрагиваюсь к тетради: таможня, багаж, продажи, подарки (кому — что), беганье по объявлениям (дала четыре — и *ничего* не вышло) — сейчас — переезд... И — доколе?

Хорошо, не я одна... Да, но мой отец поставил Музей Изыщных Искусств — один на всю страну — он основатель и собиратель, *его* труд — 14-ти лет, — о себе говорить не буду, нет, все-таки скажу — словом Шенье, его *последним* словом: — Et pourtant il avait quelque chose la (указал на лоб — я не могу, не кривя душой, отождествить себя с любым колхозником — иль одесситом — на к<отор>го *тоже* не нашлось места в Москве.

Я не могу вытравить из себя чувства — *права*. (Не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском Музее *три* наших библиотеки: деда: Александра Даниловича Мейна, матери: Марии Александровны Цветаевой, и отца: Ивана Владимировича Цветаева. Мы Москву — задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такое, чтобы передо мной гордиться?)

У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть (что меня уже смущает, наводит на мысли...) совершенно чужие люди. Это — хуже всего, п. ч. я от малейшего доброго слова — интонации — заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он *не* понимает, что плачет не женщина, а скала. ...Единственная моя *радость* — Вы будете смеяться — восточный мусульманский янтарь, к<отор>ый я купила 2 года назад, на парижском «толчке» — совершенно мертвым, восковым, покрытым плесенью, и который с каждым днем на мне живет: оживает, — играет и сияет изнутри. Ношу его на теле, невидимо. Похож на рябину.

Мур поступил в хорошую школу, нынче был уже на параде, а завтра первый день идет в класс.

...И если в сердечной пустыне
Пустынной — до краю очей,
Чего-нибудь жалко — так сына:
Волчонка — еще поволчей...

(Это — старые стихи. Впрочем, все старые. Новых — нет).

С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: *меня* — все меньше и меньше, вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клоку пуха... Остается только мое основное *нет*.

Еще одно. Я от природы очень веселая. (М. б. это — другое, но другого слова нет). Мне *очень* мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. — Все. — И вот — чтобы это несчастное счастье — так добывать, — в этом не только жестокость, но глупость. Счастливому человеку жизнь должна — радоваться, поощрять его в этом *редком* даре. Потому что от счастливого — идет счастье. От меня — шло. Здорово шло. Я чужими тяжестями (взваленными) играла, как атлет гириями. От меня шла — свобода. Человек — вдруг — знал, что выбросившись из окна — упадет *вверх*. На мне люди оживали как янтарь. Сами начинали играть. Я не в своей роли — скалы под водопадом: скалы вместе с водопадом *падающей* на (совесть) человека... Попытки моих друзей меня растранивают и расстраивают. Мне — совестно: что я еще жива. Так себя должны чувствовать столетние (умные) старухи...

Если бы я была на десять лет моложе: нет — на пять! — часть этой тяжести была бы — *с моей гордости* — снята тем, что мы для скорости назовем — женской прелестью (говорю о своих мужских друзьях) — а так, с моей седой головой — у меня нет ни малейшей иллюзии: все, что для меня делают — делают *для меня* — а не для себя... И это — горько. Я *так* привыкла — дарить! (NB! Вот куда завела — «комната».)

Моя беда в том, что для меня нет ни одной *внешней* вещи, все — сердце и судьба.

Привет Вашим чудным тихим местам. У меня лета не было, но я не жалею, единственное, что во мне есть русского, это — совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, что, ни на секунду не забывая, что — другой в эту же секунду задыхается в жаре и камне.

Это было бы — лишь терзание.

Лето хорошо прошло: дружила с 84-летней няней, живущей в этой семье 60 лет. И был *чудный* кот, мышиный, египтянин, на высоких ногах, урод, но божество. Я бы — *душу* отдала — за такую няню и такого кота.

Завтра пойду в Литфонд («еще много-много раз») — справляться о комнате. Не верю. Пишите мне по адр.: Москва, Мерзляковский пер., д. 16, кв. 27.

Елизавете Яковлевне Эфрон
(для М. И. Ц.)

Я здесь не прописана и лучше на меня не писать.

Обнимаю Вас, сердечно благодарю за память, сердечный привет Инне Григорьевне.

МЦ

Т. Н. Кваниной

Москва, Покровский бульвар, д. 14/5, кв. 62.
17-го ноября 1940 г., воскресенье.

Дорогая Таня,

нынче, проснувшись, я мысленно сказала Вам: — Если бы Вы жили рядом — если бы мы жили рядом — я была бы наполовину счастливее. Правда.

Вчера, до Вас, у меня была одна женщина, которую я видела раз — час — в 1918 г. — ее ко мне привел Бальмонт, это была начинающая поэтесса, и она писала стихи про морковь (честное слово!) — и сама была румяная как морковь — я даже удивилась. И вот, в прошлом году, в Голицыне, 21 год спустя, я получаю от нее письмо — со стихами (хорошие стихи, уже не про морковь, — начинались так: — Душа водопадная! Тобой я верю в страну...) — и потом еще несколько писем, и вчера мы, наконец, с ней свиделись, и — я совсем не знала, *кого* я увижу, я так хотела — любить! и — я просидела с ней три часа, мы говорили с ней о бывших друзьях и временах, мы (как будто) — люди одного мира, она умная, мне очень преданная, пишет стихи, и — Таня! я *ничего* не почувствовала, ни малейшего волнения, ни притяжения, и у меня был ледяной, разумный, даже резонный, голос (Таня, в эту минуту Вам за нее больно. Нет, пусть Вам будет больно *за меня*, потому что она-то все равно — счастливая, потому что она меня любит, а дело в том, *всё* дело в том, чтобы *мы* любили, чтобы у нас билось сердце — хотя бы разбивалось вдребезги! *Я всегда* разбивалась вдребезги, и все мои стихи — *те* самые серебряные сердечные дребезги).

Таня, у меня с той вчерашней гостьей общие корни, и мы одного возраста, и она тоже пишет стихи, и — Таня, я к ней ничего не почувствовала, а к Вам — с первого раза — все.

Но об этом у нас разговор еще впереди. А может быть, его никогда не будет — не удастся — не задастся — быть. Если бы у меня с Вами был какой-нибудь *долгий* час — на воле, в большом пустом саду (были у меня такие сады!) — этот разговор бы был — невольно, неизбежно, силой вещей, силой всех деревьев сада, — а так — в четырех стенах — на каких-то этажах (Таня! я Вас еще нежно люблю за то, что Вы боитесь лифта, это было мне вчера — как подарок, как дар в руки).

Здесь на такое нет ни времени, ни места.

...Да, еще одно. У меня есть одна приятельница. Ее зовут Наталья, а я всегда о ней говорю — *Таня*, и Мур злится: — Она не Таня! —, а я каждый раз поясняю: — Да, Таня не она, она не Таня, была у меня *Таня* — да прошла.

Таня! Не бойтесь меня. Не думайте, что я умная, не знаю что

Т. Кванина, Так было, «Октябрь», 1982, №9, (с сокр.). Печат. по подлиннику.

еще, и т. д., и т. д., и т. д. (подставьте все свои страхи). Вы мне можете дать — бесконечно — много, ибо *дать* мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце он мне и дает. Я, когда не люблю — не я. Я так давно — не я. С Вами я — я.

До свидания. Знайте и помните одно, что всегда, в любую минуту *жизни* и суток — бодрствую я или сплю, перевозжу Франко или стираю (например, как сегодня: *в ведре — сельдерей*), Вы, Ваш голос мне — радость.

Этого я, кажется, здесь не могу сказать никому.

— ...«Если я Вам понадобится»... — «Да, Вы мне можете очень понадобиться», — сказала я, почти с иронией (не над собой, не над Вами, над самым недоразумением жизни) — до того Ваше «понадобилось» расходилось с моей в Вас — надобой...

Моя надоба от человека, Таня, — любовь. *Моя* любовь и, если уж будет такое чудо, *его* любовь, но это — как чудо, в чудном, чудесном порядке *чуда*. Моя надоба от другого, — Таня, — его надоба во мне, моя нужность (и, если можно, необходимость) — ему, поймите меня раз навсегда и всю — моя возможность любить *в мою* меру, т е *без* меры.

— Вы мне нужны как хлеб — лучшего слова от человека я не мыслю. Нет, мыслю: — *как воздух*.

Но есть этому (всегда, во всех случаях, но особенно — в нашем) — помеха: время и место. И, как волной отнесенная к началу письма, к первым произнесенным словам моего пробуждения: «Если бы мы жили рядом». Так просто рядом, как я сейчас живу рядом — с этой чужой парой, которой от этого — никакого проку и для которой я — или *странная* писательница (все время сушит овощи, и т. д.) — или *странная* домашняя хозяйка (которую все время вызывают по телефону редакции)... Так просто — рядом. Присутствие за стеной. Шаги в коридоре. Иногда — стук в дверь. *Сознание* близости, которое и есть — близость. Одушевленный воздух дома. Вот свободных два часа. — Пойдем? (Ведь, в конце концов, все равно — куда, ведь все равно, Елисейских полей. (не парижских, а тех) — нет, но каждое поле ими может стать, каждый пустырь, *каждое облако!*).

Ведь ничего необычайного вокруг не нужно, раз внутри — необычайно. Но что-то, все-таки, нужно. И это что-то — время и место.

Так просто: вместе жить и жить.

Радость от присутствия, Таня, страшная редкость. Мне почти со всеми — сосуще-сучно, и, если «весело» — то *parce que s'y mets les frais**, чтобы *самой* не сдохнуть. Но какое одиночество, когда, после такой совместности, вдруг оказываешься на улице, с звуком собственного голоса (и смеха) в ушах, не унося ни одного слова — кроме стольких собственных.

Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи. Не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи — никаких стихов бы не было. «— Какие хорошие стихи!» Ах, не стихи — хорошие.

* за свой счет (фр.).

Да, недавно одна такая любительница стихов, глядя мне в лицо широкими глубокими глазами, мне сказала: «Ах, почему Вы такая... равнодушная, такая — разумная... Как Вы можете писать такие стихи — и быть такой...»

— Я только с Вами *такая*, — ответила я мысленно, — потому что я Вас *не* люблю. (И что-то очень резонное — вслух.)

Это письмо идет издалека. Оно пишется уже целый год — с какой-то прогулки — с каким-то особенным деревом (круглой — сосною?) — по которому Вы узнавали *den Weg zuruck** — «Такое особенное дерево»... Ну вот, Таня, если у Вас хватило — Ваших больших глаз — на *его* особенность — может быть, хватит — и на мою.

Что касается деревьев, я в полный серьез говорю Вам, что каждый раз, когда человек при мне отмечает: *данный* дуб — за прямость — или *данный* клен — за роскошь — или *данную* иву — за плаче ее — я чувствую себя польщенной, точно *меня* любят и хвалят, и в молодости мой вывод был скор: — Этот человек не может не любить — меня.

(Сейчас, мимо моего лба, в самом небе, пролетела стая птиц. Хорошо!..)

До свидания, Таня, иначе это письмо никогда не кончится.

Так как оно по старой орфографии — не показывайте его чужим. Но такого письма я бы никогда не написала по новой. Вам ведь пишет — старая я: молодая я, — та, 20 лет назад, — точно этих 20-ти лет и не было!

Сонечкина — я.

МЦ

Кажется 6-го дек., наверное — пятница и 1940 г.

Моя дорогая Танечка,

Умоляю Вас возможно скорее узнать насчет *шерстяного* ватина (нешерстяной есть всюду, и это — гадость) и полушубка. И тотчас же позвонить мне: К-7-96-23. Дело — *спешное*. Если меня случайно не будет, скажите Муру и настойте, чтобы он все записал. Жалею, что вчера сразу не дала Вам денег — *пока* они есть. Если шерст. ватин или полушубок *имеются*, назначьте мне сразу место и время, чтобы я могла передать Вам деньги. Повторяю, дело *спешное*, и я нынче не спала всю ночь.

Танечка! Мы должны (помимо дел) увидиться *раньше* четверга. Найдите время! Я — для Вас — всегда свободна. Пишу Вам письмо о совсем другом («В просторах души моей», где нет — ватинов). Обнимаю Вас, жду звонка.

P. S. Узнайте точно цены: 1 м. ватина и полушубка (если есть).

Найдите время — раньше четверга! Я вас нежно и *спешно* люблю.

М. Ц.

* дорогу назад (нем.).

«ДА, В ВЕЧНОСТИ — ЖЕНА, НЕ НА БУМАГЕ!»

«Выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась», — писала Цветаева своему чешскому другу Анне Тесковой в 1939 году перед отъездом из Парижа в СССР вслед за дочерью и мужем.

10 октября 1937 года ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон, был вынужден бежать из Франции, так как его разыскивала полиция в связи с убийством Игнатия Рейсса, резидента советской разведки, порвавшего со сталинским режимом. В Москве С. Эфрон жил под фамилией Андреев.

Цветаева предчувствовала беду, но то, что произойдет в Москве с дочерью и мужем, даже она не могла предвидеть.

Письма ее к Л. Берии, написанные в желании, хоть как-то повлиять на ход следствия, восстановить справедливость, не просто прошения. Исполненные достоинства, они содержат множество новых биографических сведений о ней и о Сергее Эфроне.

Письма от 23 декабря 1939 года и 14 июня 1940 года написаны на линованных листках большого формата печатными буквами, чтобы адресат мог легко прочитать их. Письма эти передавались прямо в приемную НКВД. На них штампы о получении. Далее они пересылались в Главное управление госбезопасности для приобщения к следственному делу. И, конечно, никак не повлияли на участь Ариадны и Сергея Эфрона.

31 августа 1941 года, измученная и отчаявшаяся, Цветаева повесилась в Елабуге, оставив письмо мужу. Чувствовала, что он жив.

Сергей Эфрон прожил еще страшных полтора месяца. Приговоренный Военным трибуналом 6 июля 1941 года к расстрелу, он был расстрелян 16 октября 1941 года, в тот день, когда немцы вплотную подошли к Москве. В списке расстрелянных по распоряжению заместителя наркома внутренних дел Кобулова — 136 человек. Эфрон стоит первым. Похоронен он где-то в окрестностях Москвы, возможно, в Бутове.

Публикуемые письма Марины Цветаевой находятся в архиве Министерства безопасности России. Печатаются с сохранением авторской орфографии.

В Следственную часть НКВД

При отъезде из заграницы в Союз я отправила свой багаж по адресу дочери, так как не могла тогда точно знать, где поселюсь по возвращении в Москву.

По прибытии сюда я в течение двух месяцев еще не имела паспорта и поэтому не могла получить багажа, пришедшего в начале августа с. г.

В соответствии с указанием таможни я получила от моей дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон, доверенность на принадлежащий мне багаж. Но получить его я тоже еще не могла из за отсутствия у меня свидетельства с пограничного пункта, которого у меня не имелось, так как я, с сыном 14 лет, ехала специальным пароходом до Ленинграда.

Было возбуждено соответствующее ходатайство о выдаче мне необходимого документа. В это же время, в конце августа, была арестована моя дочь, и багаж оказался, по-видимому, задержанным на таможне.

Я живу загородом, наступает зима, ни у меня ни у сына нет теплой одежды, одеял и обуви, и пока-что нет возможности приобрести таковые заново.

Настоящим ходатайствую, в случае если невозможно сейчас получить всего мне принадлежа щего багажа, о разрешении на получение мною из него самых необходимых мне и сыну зимних вещей, без которых я не вижу, как мы перезимуем.

О Вашем решении по этому вопросу очень прошу поставить меня в известность¹.

Марина Цветаева

Ст. Болшево Северной ж. д.
Поселок Новый Быт
дача 4/33
Марина Ивановна Цветаева
31-го октября 1939 г.

Голицыно, Белорусской ж. д.
Дом Отдыха Писателей
23-го декабря 1939 г.

Товарищ Берия,

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, *Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева*, и моей дочери — *Ариадны Сергеевны Эфрон*, арестованных: дочь — 27-го августа, муж — 10-го октября сего 1939 года.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я — писательница, *Марина Ивановна Цветаева*. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей — в Чехии и Франции — по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, — жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные Записки», одно время печаталась в газете «Последние Новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще — в эмиграции была и слыла одиночкой. («Почему она не едет в Советскую Россию?»). В 1936 году я всю зиму переводила для французского революционного хора (*Chorale Révolutionnaire*) русские революционные песни, старые и новые, между ними — Похоронный Марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских — песню из «Веселых ребят», «Полюшко — широко поле», и многие другие². Мои песни — пелись.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием³, 18-го июня 1939 г., на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев.

Причины моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи: мужа — Сергея Эфрона, дочери — Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто.

При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

Если нужно сказать о происхождении — я дочь заслуженного профессора Московского Университета, Ивана Владимировича Цветаева, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), *основателя и собирателя Музея Изыщных Искусств* — ныне Музея Изобразительных Искусств. Замысел Музея — его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними — одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию — труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу, как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва — все безчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории, и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея).

Моя мать — Мария Александровна Цветаева, рожд. Мейн, была

выдающаяся музыкантша, первая помощница отца по созданию Музея, и рано умерла.

Вот — обо мне.

Теперь о моем муже — Сергее Эфроне.

Сергей Яковлевич Эфрон — сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (среди народовольцев «Лиза Дурново»⁴) и народовольца Якова Константиновича Эфрона⁵. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: «Яков Константинович Эфрон, Государственный преступник»). О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия», и портрет ее находится в Кропоткинском Музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать — в Петропавловской крепости, старшие дети — Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон⁶ — по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра — два побега. Ему грозит смертная казнь и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью преволуционнные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, — кончает с собой ее 13-летний сын⁷, которого в школе задрали товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней «Юманите».

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский университет, филологический факультет. Но начинается война и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. — 1920 г.) — непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть *не* известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, — забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара — у него на глазах — лицо с которым этот комиссар встретил смерть. — «В эту минуту я понял, что наше дело — ненародное дело».

— Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? — Сергей Эфрон это в

своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился — он из него ушел, весь целиком — и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

Но возвращаюсь к его биографии. После белой армии — голод в Галлиполи и в Константинополе, и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу⁸, где поступает в Университет — кончать историко-филологический факультет. В 1923 г. затевает студенческий журнал «Своими путями» — в отличие от других студентов, ходящих чужими — и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющихся монархических. *В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.)*. С этого часа его «полевание» идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в Париж присоединяется к группе Евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь — уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут большевиком. Дальше — больше. За Верстами — газета Евразия (в ней то я и приветствовала Маяковского, тогда выступавшего в Париже)⁹, про которую эмиграция говорит, что это — открытая большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются: правые — левые. Левые, оглаваемые Сергеем Эфроном, скоро перестают быть, слившись с Союзом Возвращения на Родину.

Когда, в точности, Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой — не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю — около 1930 г. Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха — как сиял! («Теперь, у нас есть то-то... Скоро у нас будет то-то и то-то...»). Есть у меня важный свидетель — сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слышавший.

Большой человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, неустроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, — целое перерождение человека.

О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего: — *Mais Monsieur Efron menait une activité soviétique foudroyante!* («Однако, господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!») Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю — это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог.

Все кончилось неожиданно. 10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в парижскую Префектуру, где нас продержали целый день. Следовательно я говорила все, что знала, а именно: что это самый благородный и безкорыстный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании — не преступление, что знаю его — 1911 г. — 1937 г. — 26 лет — и что больше не знаю ничего. Через некоторое время последовал второй вызов в Префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я *не* узнала его почерка¹⁰, и меня опять отпустили и уже больше не трогали.

С Октября 1937 г. по июнь 1939 г. я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической почтой, два раза в месяц. письма его из Союза были совершенно счастливые — жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожать тотчас же по прочтении — ему недоставало только одного: меня и сына.

Когда я 19-го июня 1939 г. после почти двухлетней разлуки, вошла на дачу в Болшево и его увидела — я увидела *большого* человека. О болезни его ни он, ни дочь мне не писали. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде в Союз — вегетативный невроз. Я узнала, что он эти два года почти сплошь проболел — пролежал. Но с нашим приездом он ожил, — за два первых месяца ни одного припадка, что доказывает, что его сердечная болезнь в большой мере была вызвана тоской по нас и страхом, что могущая быть война разлучит навек... Он стал ходить, стал мечтать о *работе*, без которой изныл, стал уже с кем-то из своего начальства сговариваться и ездить в город... Все говорили, что он, действительно, воскрес...

И — 27-го августа — арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя, Ариадна Сергеевна Эфрон, первая из всех нас уехала в Советский Союз, а именно, 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения на Родину. Она очень талантливая художница и журналистка. И — абсолютно лойяльный человек. В Москве она работала во французском журнале «Ревю де Моску» (Страстной бульвар, д. 11) — ее работой были очень довольны. Писала (литературное) и иллюстрировала, отлично перевела стихами поэму Маяковского. В Советском Союзе себя чувствовала очень счастливой и никогда ни на какие бытовые трудности не жаловалась.

А вслед за дочерью арестовали — 10-го Октября 1939 г., ровно два года после его отъезда в Союз, день в день, — и моего мужа, совершенно больного и истерзанного *ее* бедой.

Первую денежную передачу от меня приняли: дочери — 7-го декабря, т. е. 3 месяца, 11 дней спустя, после ее ареста, мужу — 8-го декабря, т. е. 2 месяца без 2-х дней спустя ареста. Дочь п (*не дописано*. — М. Ф., Ю. К.)

7-го ноября было арестовано на той же даче семейство

Львовых¹¹, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в запечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Я обратилась в Литфонд, и нам устроили комнату на 2 месяца, при Доме Отдыха Писателей в Голицыно, с содержанием в Доме Отдыха — после ареста мужа я осталась совсем без средств. Писатели устраивают мне ряд переводов с грузинского, французского и немецкого языков. Еще в бытность свою в Болшеве (ст. Болшево, Северной ж. д., Поселок Новый Быт, дача 4/33) я перевела на французский ряд стихотворений Лермонтова — для «Ревю де Моску» и Интернациональной Литературы. Часть из них уже напечатана.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его — 1911 г. — 1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли «слепым энтузиазмом». Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати (— «Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?») говорили о нем с каким-то почтением, а следователь — так тот просто сказал мне: — «Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться...»

А *ошибаться* здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал.

Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это — тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет *не оправданным*¹².

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — проверьте доносчика.

Если же это ошибка — умоляю, исправьте пока не поздно.

Марина Цветаева

Москва, 14 июня 1940 г.

Народному Комиссару Внутренних Дел
тов. Л. П. Берия

Уважаемый товарищ,

Обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27-го августа 1939 г. находится в заключении моя дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10-го октября того же года — мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев).

После ареста Сергей Эфрон находился сначала во Внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской, и ныне опять

переведен во Внутреннюю. Моя дочь, Ариадна Эфрон, все это время была во Внутренней.

Судя по тому, что мой муж, после долгого перерыва, вновь переведен во Внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих (Сергей Эфрон — 8 месяцев, Ариадна Эфрон — 10 месяцев), мне кажется, что следствие подходит — а может уже и подошло — к концу.

Все это время меня очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован большим (до этого он два года тяжело хворал).

Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5-го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания.

Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало: с дочерью — 2 месяца, с мужем — три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила.

Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание.

Марина Цветаева.

Сейчас я временно проживаю по следующему адр.:

Москва

Улица Герцена, д. 6, кв. 20

(Телеф. К-0-40-13)

Марина Ивановна Цветаева

¹ Багаж Цветаева получила только 25 июля 1940 г. после того как Ариадна Сергеевна Эфрон была осуждена 2 июля 1940 г. ОСО НКВД на 8 лет лагерей, без конфискации имущества.

² По-видимому, песни были переведены в 1934 г.

³ Георгий Сергеевич Эфрон (1925—1944).

⁴ Елизавета Петровна Дурново-Эфрон (1855—1910).

⁵ Яков Константинович Эфрон (1854—1909).

⁶ Петр Яковлевич Эфрон (1884—1914). Анна Яковлевна Эфрон (Труппчинская) (1883—1971). Елизавета Яковлевна Эфрон (1885—1976). Вера Яковлевна Эфрон (1888—1945).

⁷ Константин Яковлевич Эфрон (1895—1910).

⁸ Эфрон приехал в Прагу 9 ноября 1921 г.

⁹ «Маяковскому» напечатано в газете «Евразия» 24 ноября 1928 г.

¹⁰ Полиция пыталась установить по почерку автора зашифрованной инструкции, посланной телеграфом из Парижа в день убийства И. Рейсса одному из участников группы обеспечения этой операции.

¹¹ Николай Андреевич Клепинин-Львов (1899—1941) и его жена Антонина Николаевна (1894—1941) спешно покинула Францию одновременно с Эфроном. В Советском Союзе жили под фамилией Львовы. Арестованы в ночь на 7 ноября 1939 г.: он — на даче в Болшеве, она — в Москве у своей матери. Был арестован и старший сын А. Н. Клепининой, Алексей Васильевич Сеземан (1916—1989). Клепинины-Львовы были осуждены вместе с Эфроном и расстреляны 26 июля 1941 г. Посмертно реабилитированы.

¹² С. Эфрон был реабилитирован посмертно 22 сентября 1956 г.

**Публикация, вступление, комментарии
Маэль Фейнберг, Юрия Клюкина**

сейчас подумано всего лишь принадлежало барафа, о разрешении
на получение земли из него самих необходимых земли и сыну
зипших вещей, без которых я не выйду, как мы переживаем.

О Вашем решении по этому вопросу очень прошу
поставить меня в известность

Марина Цветаева

Св. Болшево Селерков ф. д.

Поселок Новинский

Дата 4/33

Марина Ивановна Цветаева

31-го октября 1939 г.

Б. Пастернаку

14.8.48*

Дорогой Борис! Бесконечно благодарю тебя за все, полученное мною. Стихи очень хороши. Когда я распечатала конверт и взялась за письмо, сидевшая рядом одна Марья Ивановна, рязанская счетоводница, схватила без спросу стихи. Я говорю: «Бросьте, Марья Ивановна. Это переводы. Вы все равно не поймете». Но она не бросила, все прочла и сказала: «Чего ж тут непонятного. Наоборот, все понятно. И все очень хорошо». Почему в первую очередь, вместо своего, написала тебе отзыв Марии Ивановны? Да потому, что это прекрасно — т. е. то, что прекрасное в них, в стихах, в теперешних твоих, доступно не только избранным. К большей, чем прежде, глубине содержания прибавилась большая, чем прежде, простота формы. Вообще, действительно прекрасные стихи — чего не могу сказать о последних асеевских, что он прислал мне. И ему не смогла не написать, что они мне не очень понравились. Ему это, кажется, тоже не очень понравилось — больше не пишет мне.

Да, дорогой Борис, скоро 35 лет, как я — Ариадна (это имя обычно так коверкают, что я даже сама не смогла сразу написать его правильно! М. б., если бы я была Александрой, все было бы проще и глаже в жизни?).

В общем, имя не из счастливых! Ну и Бог с ним. Вчера я получила всё твоё. Твои книги безумно — если бы ты их видел в эту минуту! — обрадовали ребят. Они только жалели, что ты им ничего не написал на них. И отобрали у меня даже бандероль, чтобы убедиться в том, что «он сам прислал». Если бы прислал сам Шекспир, вряд ли он произвел бы *большый* фурор.

А сегодня мне объявили приказ, по которому я должна сдать дела и уйти с работы. Мое место — если еще не на кладбище, то во вся-

Письма А. Эфрон печатаются по изданиям: Е. Эфрон и З. Ширкевич «Нева», 1989, № 6; к Б. Пастернаку по сб. Ариадна Эфрон «О Марине Цветаевой», М., 1989; составление и вступительная статья М. И. Белкиной, комментарий Л. М. Турчинского. В. Булгакову и В. Орлову — «Известия», 14 мая, 1992. Публикация Р. Вальбе.

* В подлиннике стоит «14.4.48», но это, видно, описка, так как письмо это явно написано позднее 1.8.48 г.

ком случае не в системе народного образования. Не можешь себе представить, как мне жаль. Хотя и очень бедновато жилось, но работа была по душе, и все меня любили, и очень хорошо было среди молодежи, и много я им давала. Правда, За эти годы я стала много понимать и стала добрая. И раньше была не злая, а теперь как-то осознанно добрая, особенно к отчаянным. И работалось мне хорошо, и я много сделала. А теперь, когда я всех знаю по именам и по жизням и когда каждый идет ко мне за помощью, за советом, за тем, чтобы заступилась или уладила, я должна уйти. Куда — сама не знаю. Устроиться необычайно трудно — у меня нет никакой кормящей (в данной ситуации) специальности, и я совсем одна. Еще спасибо, что по сокращению штатов, а то совсем бы некуда податься! Вот ты говоришь — «не унавай». Я и не унываю, но, кажется, от этого не легче. Ты понимаешь, я давно пошла бы на производство или в колхоз, сразу, но сил нет никаких, кроме аварийного фонда моральных. Пережитые годы были трудны физически, и последний был не из легких. Вот сейчас никак и не придумаю — что делать? Видимо, вот пока и все. Прости за нечленораздельность, я устала очень.

Еще раз бесконечно (разве можно так писать — «еще раз бесконечно»?) благодарю за все. Ты не любишь больше вспоминать, да? а я часто вспоминаю, как мы сидели в скверике против Жургаза, и как все было.

Крепко целую тебя, милый.

Твоя Аля

26 августа 1949

Дорогой Борис! Все — как сон, и все никак не проснусь. В Рязани я ушла с работы очень вскоре после возвращения из Москвы, успев послать тебе коротенькое, наспех, письмецо. Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей), а ехала я до места назначения около четырех месяцев самым томительным образом. Самым неприятным был перегон Куйбышев — Красноярск, мучила жара, жажда, сердце томилось. Из Красноярска ехали пароходом по Енисею что-то долго и далеко, я никогда еще в жизни не видела такой большой, равнодушно-сильной, графически четкой и до такой степени северной реки. И никогда не додумалась бы сама посмотреть. Берега из таежных превращались в лесотундру, и с Севера, как из пасти какого-то внеземного зверя, несло холодом. Несло, несет и, видимо, всегда будет нести. Здесь где-то совсем близко должна быть кухня, где в огромных количествах готовят плохую погоду для самых далеких краев. «Наступило резкое похолодание» — это мы. Закаты здесь неопишутые. Только великий творец может, затратив столько золота и пурпура, передать ими ощущение не огня, не света, не тепла, а неизбежного и неумолимого, как Смерть, холода. Холодно. Уже холодно. Каково же будет дальше!

Оставили меня в с. Туруханское, километров 300—400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно — единственное здание каменное — и то — бывший монастырь, и то — некрасивое. Но все же это — районный центр с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами. По улице бродят коровы и собаки-лайки, которых зимой запрягают в нарты. Т. е. только собак запрягают, а коровы так ходят. Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил покойный Остап Бендер, который добавлял, подумав: «и даже не Сан-Франциско». Туруханск — историческое место. Здесь отбывал ссылку Я. М. Свердлов, приезжал из ближлежащего местечка к нему сам великий Сталин, сосланный в Туруханский край в 1915—17 гг. Старожилы хорошо их помнят. Домик Свердлова превращен в музей, но я никак не могу попасть внутрь, видимо, наши со сторожем часы отдыха совпадают. Работу предложили найти в трехдневный срок — а ее здесь очень, очень трудно найти! И вот в течение трех дней я ходила и стучала во все двери подряд — насчет работы, насчет угла. В самый последний момент мне посчастливилось — я устроилась уборщицей в школе с окладом 180 р. в месяц. Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло, мы тоже. Потом сохли. Жили в палатке, которая тоже то сохла, то мокла. Питались очень плохо, т. к., не учтя климата, захватили с собой слишком мало овсянки и хлеба. Сейчас занята ремонтом — побелкой, покраской парт и прочей школьной мебели, мою огромные полы, пилю, колю — работаю 12—14 ч. в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работающие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впиваются в себя и доносят до сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно, ежеминутно хочется писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет.

Бытовые условия неважные — снимаю какой-то, хуже, чем у Достоевского, угол у полоумной старухи. Все какие-то щели, а в них клопы. Дерет она за это удовольствие, т. е. за угол с отоплением, равно всю мою зарплату. Причем даже спать не на чем, на всю избу один табурет и стол.

Я сейчас подумала о том, что у меня никогда в жизни (а мне уже скоро 36) не было своей комнаты, где можно было бы запереться и работать, никому не мешая, и чтобы тебе никто. А за последние годы я вообще отвыкла от вида нормального человеческого жилья, настолько, что когда была у В. М. Инбер, то чувствовала себя просто ужасно подавленной видом кресел, шкафов, диванов, картин. А у тебя мне ужасно понравилось и хотелось все трогать руками. Одним словом, я страшно одичала и оробела за эти годы. Меня долго-долго нужно было бы оглаживать, чтобы я привыкла к тому, что и мне все можно и что всё — мое. Но судьба моя, — не из оглаживающих, нет,

нет, и я все не могу поверить в то, что я на всю жизнь падчерица, мне все снится, что вот — проснусь, и все хорошо.

Вернувшись с покоса, долго возилась с получением своего удостоверения и наконец смогла получить твой перевод. Спасибо тебе, родной, и прости меня за то, что я стала такой попрошайкой. Просить — даже у тебя — просто ужасно, и ужасно сейчас тут сидеть в этой избе и плакать оттого, что, работая по-лошадиному, никак не можешь заработать себе ни на стойло, ни на поило. Кому нужна, кому полезна, кому приятна такая моя работа? Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится — я все еще живу.

Когда я получила деньги, я, знаешь, купила себе телогрейку, юбку, тапочки, еще непременно куплю валенки, потом я за всю зиму заплатила за дрова, потом я немножечко купила из того, что на глаза попало съедобного, и это немножечко все сразу съела, как джек-лондонский герой. Тебе, наверное, неинтересны все эти подробности?

Дорогой Борис, твои книги еще раз остались «дома», т. е. в Рязани. Я очень прошу тебя — создай небольшой книжный фонд для меня. Мне всегда нужно, чтобы у меня были твои книги, я бы их никогда не оставляла, но так приходится. Очень прошу, пришли то твое, что есть и стихи, и переводы Шекспира, и я очень бы хотела ту твою прозу, если можно. И «Ранние поезда». Еще, если можно, пришли писчей бумаги и каких-нибудь тетрадок, здесь совсем нельзя достать.

Я счастлива, что видела тебя. Я тебе напишу об этом как-нибудь потом. Как хорошо, что ты — есть, дорогой мой Борис! Мне ужасно хочется получить от тебя весточку, скорее. Расскажи о себе. Здесь облака часто похожи на твой почерк, и тогда небо — как страница твоей рукописи, и я бросаю коромысла и читаю ее, и все мне делается хорошо. Целую тебя, спасибо тебе.

Твоя Аля.

17.4.50

Дорогой Борис! Большое тебе спасибо за деньги, ты и представить себе не можешь, как они меня выручили и как кстати пришли. А главное, спасибо за заботу. Я с каждым годом становлюсь все беспризорнее, все забвеннее (?), и тем большим чудом кажется мне человеческое внимание, человеческое добро. Сама я, мне кажется, черствее прежнего не стала, но сатиментальности лишилась абсолютно, также как и слезного дара, которым в молодости обладала превыше всякого другого — лет до 20-ти рыдала над чеховской «Каштанкой», плакала в кино и т. д. И, представь себе, израсходовала весь свой слезный запас лет около 10 тому назад, теперь способна плакать только если радуюсь, что со мной случается редко.

У нас один за другим подряд три весенних дня. Снег чернеет, делается губчатым и рассыпчатым, с крыш бежит вода, а по небу — се-

рые, теплые облака. Тайге еще далеко до зелени, но она голубеет, покрывается сливовой дымкой, и, когда солнце заходит за полосу леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных ресниц. От солнца все становится гибким: и веточки лиственниц, и пышные, как лисьи хвосты, ветви пихт, а очертания теряют свою зимнюю сухость, четкость, схематичность. На свет божий выползают ребятишки и щенята урожая этой зимы, выращенные в избах наравне с телятами и курами. Птиц еще не видно и не слышно, только однажды увидела какую-то случайную стайку странных хохлатых воробьев с белой грудкой.

Как удивительно, что в последнее время я совсем не живу, а, скажем, «переживаю» зиму, «доживаю» до весны и т. д. (Прости за гадкую бумагу, здесь и такую трудно добыть.)

Сегодня ходила к врачу, она сказала мне, что нельзя в таком возрасте иметь такое сердце, посоветовала мне побольше отдыхать и беречься волнений и переживаний. И прописала всякой дряни внутрь. Причем, насколько я соображаю, дряни взаимоисключающей. Насчет отдохнуть, не волноваться и не переживать сам догадываешься, а насчет сердца — неправда, оно еще повоюет.

Какая меня всегда тоска за душу хватает от казенных помещений и присущих им казенных же запахов — милиций, амбулаторий, контор и т. д. Сегодня просидела в амбулатории часа четыре подряд, в очереди разнообразных страждущих, — обросших щетиной мужчин, бледных женщин с разившимися волосами, подростков с патетическими веснушками на скуластых мордочках. Скамьи со спинками, отполированными спинами, плакаты «Мы излечились от рака», «Берегите детей от летних поносов», отполированные взглядами, ай-ай-ай, какая тоска! И все эти разговоры вполголоса о боли под ложечкой, под лопаткой, в желудке, в грудях, в висках, о боли, боли, боли! У меня тоже сердце болит тихой скулющей болью, но от этого обилия чужих болезней начинаю себя чувствовать неприлично здоровой, хочется встряхнуться и удрать.

А зато как хороши гостиницы, пристани и вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда? и по силе не уступающая счастью. Тоска приемных покоев совсем другая, заживо ощипанная и бесперспективная (чудесное словечко!). Осенняя муха, а не тоска.

Пишу тебе всякую несомненную ерунду. Кругом так шумно, тесно, неудобно, и, несмотря ни на что, так хочется хоть немного поговорить с тобой, т. е. вернее, смотря на все, так хочется поговорить с тобой! Все бы ничего, но я ужасно тоскую, грущу и по-настоящему страдаю по Москве. Как никогда в жизни. А ведь жила я там так мало, до 8-ми лет ребенком и потом взрослой года три в общей сложности, вот и все. Это — самая страшная тоска, тоска неразделенной любви, что ли! Сколько же я видела в жизни городов, стройных и прекрасных, сколько любовалась ими, понимала и ценила, но не любила, нет, никогда. И, покинув их, не больше вспоминала, чем декорации когда-то виденных пьес.

Но этот город действительно город моего сердца и сердца моей

матери, мой герод, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. И во сне вижу — в самом деле и не для красного словца — московские улицы, улочки и переулочки, именно московские, а не какие-нибудь другие. А вместе с тем жить в Москве я бы не хотела, не хотела бы, чтобы этот город стал для меня будничным городом нескольких привычных маршрутов. И с удовольствием — если бы жизнь моя была в моих собственных руках — жила и работала очень далеко от Москвы, и именно на севере, еще севернее, чем здесь, — жила и работала бы по-настоящему, не так, как сейчас приходится. Книги писала бы о том, что немногим приходится видеть, хорошо писала бы, честное слово! Крайний Север — непочатый край для писателя, а никто решительно ничего настоящего о нем не написал.

А потом прилетала бы в Москву, окуналась бы в нее — и опять улетаала бы.

Все «бы» да «бы».

Крепко целую тебя. Спасибо тебе.

Твоя Аля.

Туруханск, 28 марта 1955

Дорогой мой, Борис, можешь меня поздравить, получила реабилитацию. Дело пересматривалось без нескольких дней два года, за которые я уж и ждать перестала. Прекращено дело «за отсутствием состава преступления». Теперь я получаю «чистый» паспорт (это уже третий за год) и могу ехать в Москву. Я так удивлена, что даже еще не очень рада, еще «не дошло».

Впрочем, до меня зачастую «не доходит» вовремя, и поэтому в години сильных переживаний смахиваю, в отношении эмоций, на скифскую (или какую там!) каменную бабу.

Так что, наверно, с навигацией поеду в Москву, где у меня ни кола, ни двора, и тем не менее я считаю ее своею.

Одним словом, «и ризу влажную свою сушу на солнце под скалою».

Боренька, даже если я буду близко, я никогда не буду тебе мешать работать, не буду навязываться к тебе в гости и даже не буду звонить по телефону (это все после того, как сгоряча продемонстрирую тебе свой еще один паспорт и расцелую тебя по приезду). Ну, а если так пройдет слишком много времени, то я тебе, по старой привычке, напишу очень талантливое письмо, и ты сам позвонишь мне по телефону и скажешь, что очень занят и очень любишь меня. И всегда собираюсь написать что-то толковое и сбиваюсь на чушь!

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

6 апреля 1953 г.

Дорогая моя Лиленька! Ваше письмо с цикламенами получила в субботу накануне Пасхи. Очень ему обрадовалась — еще бы! Первое письмо за этот год! Но зато огорчило состояние Вашего сердца и этот припадок. Т. к. сейчас опять все медицинские светила на своих местах¹, надеюсь, что сердцу Вашему будет лучше! Моему, определенно, стало легче. Страшно было представить себе возможность существования такой дикой группы в наше время и, главное, в нашей стране. И радостно, что сумели разобраться и что виновные будут наказаны.

Лиленька, Вы пишете об амнистии и о том, чтобы я написала о себе Ворошилову. Амнистия ко мне не относится, и Ворошилову я писать не буду. Я не одна в таком положении, и «дело» мое никого не заинтересует. Кроме того, по-честному говоря, я не считаю, что вообще могу подойти под какую-либо амнистию, т. к. вины никакой за собой не знаю, и «простить» меня нельзя! Но вот Асе может быть облегчение, т. к. я слышала (но не знаю еще, насколько это достоверно), что инвалиды будут иметь право на выезд. Это было бы чудесно, ей ведь там так тяжело живется! И Юз должен получить «чистый» паспорт; у него ведь срок был всего 5 лет. Придется Нине «обратно» менять свою квартиру, а это ведь очень сложное дело! < ... >

Весна приближается. Два дня у нас было чуть выше нуля, начало таять, мы все растерялись — рассчитывали еще на по меньшей мере месяц морозов. Светло уже до 8 ¹/₂ вечера, можно лампу не зажигать. И солнце сквозь стекла подогревает, зеленый лук растет вовсю. А главное, и небо и снег днем наливаются какой-то особой, спелой, сливовой синевой, и чувствуешь — вот-вот вода, вот-вот весна!

Снег покрыт тонкой корочкой льда, и ребятишки ожесточенно катаются с гор на санках. Уже настолько тепло, что на свет божий выбираются самые малыши, бледные, как картофельные ростки. Здесь ведь зимы настолько суровы, что самые маленькие от осени — до весны безвыходно сидят дома.

Пасху мы немножко справили — Ада спекла куличик, наши две несовершеннолетних курицы снесли за три недели три яйца, и в субботу удалось достать немного творога, так что все было честь-честью, даже с вашими цикламенами.

Читать не успеваю, в кино не хожу, нигде, кроме работы не бываю, но зато постоянно мысленно говорю с вами и, выговорившись, сажусь за письмо. Ну, и выходит, что писать почти нечего.

¹ 4.04.1953 в «Правде» было помещено сообщение Министерства Внутренних дел о реабилитации группы врачей, обвинявшихся «во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей советского государства». В числе реабилитированных был упомянут проф. П. И. Егоров, в течение многих лет лечивший Е. Я. Эфрон.

Крепко целую вас и люблю, дорогие мои, постоянно с вами и, здравому смыслу вопреки, все равно верю, что мы встретимся!

Ваша Аля

15 июня 1953 г.

Дорогая Лиленька! Сегодня, наконец, после очень долгого переживания, получила сразу от вас две открытки и письмо, а также письмо от Нюти. Спасибо сердечное Вам обоим за вашу неизменную заботу и любовь. Насчет заявлений, о которых вы пишете, скажу вот что: во-первых, многие уже отсюда писали, и уже получили ответ, отрицательный, все, как один. Во-вторых: *мое* «дело» как таковое, лично мое, конечно, существует, соответствующим образом оформленное много лет тому назад. Тем не менее, мое твердое убеждение таково: это «мое дело» — пустая проформа, все заключается в том, что я дочь своего отца, и от отношения к нему зависит и отношение ко мне. Я не сомневаюсь в том, что до этого, основного, дела, доберутся, как и до тех, кто его в то время разбирал или запугивал. Тогда и только тогда решится и моя участь. Писать же об этом я не могу, т. к. дела не знаю совершенно, могу лишь догадываться. Мое же дело настолько стандартно, что я рискую только получить стандартный же отказ, и на том успокоиться. Так что, короче говоря, нет у меня ни малейшего желания писать, ибо это будет не по существу, а написать по существу также лишена возможности, т. к. более чем нелепо основываться на предположениях и догадках, как бы ни были они близки к истине. Еще буду думать, м. б. соображу, как, в какой форме я могла бы написать именно об отце? <...>

Тяжелый этот год, с болезнью Бориса и авт. катастрофой Дм. Ник.¹ Я как раз много-много о нем думала и вспоминала его: готовила выставку о Пушкине и поместила туда две фотографии Дм. Ник. — из «Путешествия в Арзрум»² и читающего — долго берегла их, вырезав из старых «Огоньков». И как-то эти карточки много мне напомнили — хорошего, светлого, истинного. Не помню, рассказывала ли я Вам, что давно, в 39—40 году, идя по длинным этим коридорам³, я увидела афишку с объявлением о Митином концерте в их клубе, и была довольна этой встречей хотя бы с его именем... Надеюсь, что все будет хорошо с ним, дай Бог!

Ледоход у нас прошел благополучно, писала Вам о нем во всех подробностях, повторять я не буду, не потому, что сказать нечего, а — безумно некогда. Холодно у нас нестерпимо, еле-еле пробивается травка, все время ждем, не дай Бог — выпадет снег. Отвоевались с огородом, картошка показывает крохотные листочки. Устали неимо-

¹ В мае 1953 года Д. Н. Журавлев в тяжелой автомобильной катастрофе получил глубокое черепное ранение и перелом обеих ног.

² Д. Н. Журавлев исполнял роль Пушкина в фильме «Путешествие в Арзрум» (1937 г., реж. М. З. Левин).

³ Т. е. на Лубянке.

верно, но обо всех подробностях (бытовых) нашей весны — в следующем письме. А пока крепко целую вас, мои дорогие, желаю отдохнуть и поправиться, и чтобы все было хорошо. Поцелуйте и поблагодарите от меня Нютю, когда она придет. Как я устала и как мне все здесь надоело! Кстати, с открытием навигации здесь свирепствуют амнистированные, население не в восторге от поведения некоторых из них, видимо, стремящихся обратно!

Еще целую.

Ваша Аля

3 июня 1954 г.

Дорогие Лиленька и Зина, пишу вам совершенно безответно — и в который раз! От вас с самой зимы нет весточек, кроме приветственных телеграмм, но ведь в них ни слова не сказано о вас самих. А так хочется знать, как ваше здоровье, как жизнь, какие планы на лето. Я говорю «планы», а вы, возможно, уже выехали к <уда>-н <ибудь>. Постоянно забываю разницу в климате, а мне все кажется, что и у вас еще выпадает снег, ночью заморозки, а днем дует «север».

Пишу вам в поздний час, но у нас давно уже белые ночи; лето будет дождливое и холодное, т. к. Енисей прошел «своей водой», т. е. ледоход на Енисее прошел раньше, чем на его притоках, и потому «большой воды» совсем не было, а ледоход продолжается с 19 мая и по сей день ему конца не видно. Только вчера пошла Тунгуска — и тоже «своей водой», без притоков. В этом году наводнения нам бояться не приходится, вода идет метрах в 25 от нашего жилья.

Я вам писала, что по совету Нютю обратилась к Тихонову, но ответа никакого не получила. Письмо, наверное, дошло, т. к. отправляла заказным, но это еще не значит, что оно «дошло» до Тихонова, видимо, на этот вариант я напрасно рассчитывала. Теперь, недели две тому назад, написала на имя генерального прокурора, с уведомлением о вручении. Уведомление уже получила обратно, теперь буду ждать дальнейшего. Также Ада написала и уже получила ответ, что дело пересматривается и о результатах будет сообщено. Только все это очень долгая история, можно себе представить, насколько прокуратура загружена подобными жалобами и заявлениями и как долго приходится искать правды в каждом таком, плохо скроенном, но крепко сшитом деле, когда до него, наконец, доходит очередь! Окончательного решения нужно ждать никак не меньше года.

Но перемены в наших краях все же чувствуются большие. Получили паспорта греки, когда-то сосланные из Крыма, немцам, сосланным из Поволжья, разрешают выезжать (главным образом, на Алтай и на Урал), нам облегчено передвижение в пределах края — но еще не во все населенные пункты. Несколько человек, правда, пока очень немногие — получили реабилитацию, кое-кто — снятие ссылки. Говорят, что получают паспорта и те, у кого срок был 5 лет, т. е. амни-

ствия распространяется теперь и на эту категорию. Как же и где теперь будут Нина с Юзом? Квартиру ведь Нина потеряла?

Получила от Дины второе письмо — ответ на мое — она пишет о том, как через приятельницу узнала мой адрес и как родные опасались, как бы она (Дина) не сообщила мне о Мульке¹. Я ведь еще в феврале 1953 г. прочла о нем, но главного не знала, что он уехал еще в 1950 г., и поэтому думала, что уехал он значительно позже, и надеялась, что таким образом он дожид до разоблачения Берия. Видимо, это не так, и его давно нет в живых. Иначе он был бы реабилитирован в числе самых первых, как Дина. Ах, еще немножечко дотянуть, и остался бы жив человек. Мне только этого нужно было от него — о себе я уж много лет, как перестала думать. С каждой человеческой потерей немного умираю сама, и, кажется, единственное, что у меня осталось живого, — это способность страдать еще и еще. Совсем я состарилась душой.

Напишите же мне о себе! Бесконечно летят с юга птицы, скоро придут пароходы. Целую вас и люблю.

Ваша Аля

20 июля 1954 г.

Дорогие Лиля, Зина, Нютя! спасибо большое за весточку, очень обрадовавшую меня, особенно потому, что Нютя, наконец, рассказала мне про дачу так, что я смогла себе представить, впервые за многие годы, вашу летнюю жизнь. Об этой ужасной жары я каждый день с сочувствием слушаю по радио. Теперь я тоже очень плохо ее переношу, даже здесь, на огромной реке, откуда постоянно (даже чересчур!) веет прохладой. Впрочем, в этом году нам на жару жаловаться не приходится, ибо о лете напоминают, главным образом, комары. Представляю себе, насколько Лиле с ее сердцем тяжело переносить жару, тем же, кто в городе, так просто нестерпимо. Я очень мало работаю, день раздроблен по мелочам, и ни на чем, по сути дела, не успеваешь сосредоточиться, ничего не доводишь до конца, и это самое тяжелое. Репетиции, лозунги, монтажи, опять репетиции, опять доски почета, и все наспех, и все ужасно низкопробно. «Мероприятия» у нас проходят два раза в неделю, и каждый раз что-то новое, при очень ограниченном количестве участников, не особенно развитых, не знающих, не понимающих и не чувствующих сцены. С ними нужно заниматься долго и упорно, но вот на это-то не хватает времени и у них, и у меня. А у меня к тому же никаких знаний, кроме чутья, да чего-то на лету перехваченного у Лили. Короче говоря, всегда устаю и всегда очень недовольна результатами.

На свое заявление, отправленное 18 мая на имя Руденко², я до

¹ Об аресте С. Д. Гуревича сообщалось в статье Н. Козева «О революционной бдительности» («Правда», 6. II. 53).

² Руденко Роман Андреевич (1907—1981) — с августа 1953 г. Генеральный прокурор СССР.

сих пор ответа (стандартного, отпечатанного на бланке, что, мол, дело ваше направлено туда-то на рассмотрение) не получила. Аде ответ пришел через 10 дней. Настоящий же ответ, о результатах пересмотра, приходит через несколько месяцев (6—9 приблизительно). Вообще-то, говорят, есть какое-то решение чье-то от 31 мая этого года о снятии ссылки как «повторной» меры за одно и то же, и мы уже видели тут первых людей, освобожденных от ссылки. Это, вероятно, коснется всех, и очень это хорошо, но я, конечно, мечтаю о пересмотре и реабилитации, т. к. при снятии ссылки остаются прежние ограничения 39-й статьи паспортизации, т. е. не разрешается проживать там, где хочется, а только в районных центрах, и прочие, исходящие из одного этого, ограничения и огорчения. Вообще же, если, как я очень надеюсь, дождусь я этого счастья, то совершенно не представляю себе, что с ним делать, куда и на какие средства ехать и чем заниматься, чем зарабатывать на жизнь и где? За нашу хибарку, стоившую нам с Адой 2000, в случае отъезда не дадут и 500 р., настолько здесь подешевели дома из-за отъездов, принявших действительно массовый характер, за все же прочее барахло никто и гроша ломаного не даст, настолько все это старое, немодное и никому не нужное. Не везти же это все с собой в неведомое «куда-то»?

Вчера вернулась с воскресника (трехдневного). Ездили в один из соседних колхозов на заготовку силоса. Слава Богу, погода была на редкость удачная, только комары заедали. Я немного помирилась с Енисеем, проехав по нему в общей сложности около 80 километров в оба конца, красиво донельзя, если бы не портили все впечатление сонмы комаров. Деревенька маленькая, ветхие домики с двухскатными замшелыми крышами все повалились в разные стороны, как после землетрясения. Тайга и река. Край света. Приехала, огляделась и почувствовала, что действительно, дальше ехать некуда! Кстати, это чувство охватывает вас на каждом здешнем станке. Пока кончаю, т. к. день явно дошел до предела, перейдя в следующий, и все равно не поймешь, утро ли, вечер ли. Светло. Письма Чехова я тоже сейчас читаю. Целую вас всех и люблю.

Ваша Аля

Особое спасибо за марлю в посылке. Спим под пологом, как боги! На воскресник брала с собой полог и спала отлично.

14 августа 1954 г.

Дорогие Лиленька и Зина! Большое спасибо за деньги и за сопровождавшие их телеграфные слова. Я до сих пор еще дома, на работу выхожу только завтра. Эта моя простуда в жаркое время оказалась, по мнению здешних врачей, вспышкой туберкулезного характера, рентген показал какой-то очажок в правом легком, но вообще-то ничего страшного, никакие анализы никаких «бк» не обнаружили, т. ч. открытым процессом и не пахнет, да у меня их вообще не бывало и в более подверженном этому делу возрасте. Несколько дней была

высокая температура, теперь околачиваюсь в пределах 37, 1,2, а утром и днем нормальная. Чувствую себя значительно лучше. Вообще-то я весь этот год как-то недомогала, ужасно уставала от всего. Здешние врачи отнеслись ко мне очень внимательно, закармлили «паск'ом» и вообще всевозможными лекарствами. Кстати, в отношении лекарств на Крайнем Севере хорошо, сюда засылают новейшие и ценнейшие препараты, которые компенсируют неопытность многих врачей, когда-то в свое время недоучившихся или работающих не по прямому назначению. Нам уже объявили, что все мы «повторники», т. е. те, кто попал сюда не прямо из лагеря, а в свое время был освобожден, должны получить свои прежние паспорта со своими прежними ограничениями, т. е. с 39 ст. Это долгожданное чудо должно произойти осенью. Теперь не знаю, что делать и вообще и в частности. Мне ужасно хочется взять отпуск (зимой, иначе по работе не получается, а летнее свое отпускное время я все проболела) и приехать повидаться с вами (стосковалась я по вас ужасно, кажется, пешком через тайгу ушла бы, будь хоть видимость дороги!). Но такое путешествие будет стоить безумных денег. От Туруханска до Красноярска билет самолетом (другого сообщения зимой нет) 790 р., да и обратно столько же, вот уже 1600, да поездом до Москвы и обратно, вероятно, рублей 250 в один конец, да прочие расходы, набегает около 2500. Из этих денег у меня есть тысяча, которую мне в июне прислал Борис и к <ото>рую я положила на книжку. Остальные деньги тоже можно найти, забрав все наличие у Ады, взяв аванс на работе и т. д. Но тогда я и Аду оставлю без всего, и вернусь на пустое (в смысле денег) место, а главное, что не сумею ни достать, ни заработать за остающиеся до начала навигации будущего года месяцы суммы, необходимой на окончательный выезд (совершенно еще неизвестно, в каком направлении!) и на первое время на новом месте. Если бы могли продать наш домишко тысячи за три, но боимся, что и за тысячу не продадим, т. к. уезжают и распродают все, а покупать никому! Вот и не знаю, на что решиться. Мне ужасно хотелось бы приехать именно в отпуск, и именно самолетом, и именно налегке, мне уже так осточертели все эти путешествия с узлами, черепашьими темпами, за эти 15 лет! И так хочется поскорее повидаться с вами, столько нужно услышать и рассказать, столько всего накопилось за эту разлуку! Столько лет было потрачено зря, что теперь дорогим кажется каждый день, не говоря уже о месяцах! По времени (своему, рабочему) я могла бы выехать сразу после ноябрьских праздников, а вернуться в начале декабря, чтобы успеть подготовиться к Новому году. Вот и не знаю, как все это решить, — с одной стороны я свято знаю, что я *вправе* на этот отпуск, а с точки зрения материальной выходит, что это — причуда, и что если я могла ждать столько, то могу подождать и еще годик.

За эту зиму нужно решить, куда выбираться, в случае, если на наши ходатайства о реабилитации не будет еще ответа, или если ответ будет отрицательным. В случае реабилитации человек имеет право поступить на ту же работу в том же учреждении, откуда его когда-то взяли (в первом или во втором случае, на выбор), имеет право

жить там же, где когда-то был прописан, и даже получает двухмесячный оклад с последнего места работы. С нашей же 39 ст., вы сами помните, какая морока. Я бы на какое-то время осталась здесь, заключила мы м. б. даже договор на 3 года (договор в условиях Крайнего Севера дает порядочные льготы, в том числе двухмесячный отпуск ежегодно, со второго года дорога оплачивается), но жалко расставаться с Адой, с которой мы очень свыклись, а ей здесь делать нечего, по специальности она преподаватель вуза (английский язык), значит, работать может только в областном центре. Кроме того, остаться здесь одной — немислимо, мы и вдвоем еле справляемся. А куда ехать на авось, не знаем!

Сейчас стоят последние ясные дни, такие редкие здесь и чудесные. В нашем садике цветы цветут великолепно, как никогда. Настурции огненные и немного желтых, глазастых — окружают весь наш домик, а по фасаду — разноцветный душистый горюк, матиолы, перед домом клумба ноготков, и еще клумба всякой смеси — ромашки, васильки, маки садовые, огородные, махровые, и разные пестрые безымянные. Сколько с ними было возни, пока они были слабойкой (особенно маки!) рассадой, а как они хороши и самостоятельны теперь! Я радуюсь каждому ясному дню, люблюсь цветами и окружающим видом, прекрасным при солнце и грандиозно-унылым в дождливую погоду.

Да, Лиленька, никогда я не думала, что в жизни может быть так, что счастье приходит слишком поздно — пусть не счастье, а просто радость. Слишком много пережито, слишком многие не дожили, и это все омрачает. А люблю я Вас, Лиленька, бесконечно. В Вас сосредоточилось для меня все тепло, все добро ушедших, всех их несказанное душевное благородство. И потому мне с вами легко и просто — Вы так все знаете и понимаете, и чувствуете. <...>

Лиленька, Зинуша, пишите. Дай Бог, чтобы вы отдохнули хорошо и поправились. Где Нютя, у вас, или уже дома? И ее увидеть ужасно хотела бы. Простите за безалаберное письмо, к нам люди пришли и шумно.

Крепко-крепко целую вас и люблю.

Ваша Аля

Лиля, я хотела бы переслать Вам бандеролями несколько книг Бориса с дорогими мне надписями, сейчас, пока реабилитация, и почта дешевле. Можно? Ответьте.

4 октября 1954 г.

Дорогие мои Лиля и Зина, только что получила Лилино письмо опять из Болшева. Видимо, Лилечка, здоровье лучше, раз Вы опять там и работаете. Слава Богу, я очень беспокоилась, что вам пришлось из-за болезни перебраться в Москву. На предыдущее ваше письмо я ответила по московскому адресу, да вы, наверное, получили. Командировочные удостоверения постаралась взять не только от

клуба, но и от местного отдела культуры, все-таки посolidнее. Кроме того, постараюсь добыть от здешнего главврача направление на лечение или на консультацию. Думаю, что ни те, ни другие мне не откажут, да кроме того и в самом деле врачам нужно будет показаться, да и клуб с отделом надают мне немало поручений — приобретение репертуара, нот, маловольтажных лампочек для елки и пр.

Работы у меня сейчас ужасно много, больше, чем обычно в предноябрьский период, т. к. все работники у нас новые, все — не специалисты; и приходится не только помогать, но зачастую и просто работать за них. Штат довольно большой, но толку пс ка что довольно мало. Так что уеду я, как сумасшедшая, авось в дороге очухаюсь. Самолеты в праздничные дни не ходят, или, если совершают рейсы, то нерегулярные, и мне нужно будет постараться успеть или в предпраздничные дни вылететь, что навряд ли удастся, или сейчас же после праздников. Я Вам писала, кажется, что Борис предложил мне остановиться у них на даче, с тем, чтобы днями (в дневное время), когда он работает, я могла бы ездить по своим делам, а вечера коротать в Переделкино. М. б. действительно так и сделаю, во-первых, повидаясь с ним, как следует, он почитает мне свое новое, а во-вторых, это — не так на глазах, хоть времена и изменились, но все же не настолько, чтобы я чувствовала себя абсолютно спокойно в московских гостях. М. б. хоть несколько дней так, а еще несколько — иначе, понемногу могу гостить и у Т. С., к-ая теперь живет в вашем же переулке, и у Дины. Хотелось бы узнать насчет прописки, м. б. это сейчас легко и просто, тогда я бы прописалась недели на 2 по любому адресу и была бы спокойна. Писала ли я Вам о том, что Эренбург обещал помочь с пособием (ежемесячным) от Литфонда для Аси? Хоть бы Литфонд не отказал! Тогда я была бы за нее (материально) спокойна, кто ей помогает, продолжал бы помогать, а кроме того, у нее был бы какой-то постоянный прожиточный минимум, а это ужасно важно.

Как подумаешь — и все мысли в одно упираются, в реабилитацию. Тогда все было бы несказанно легче и проще. А как представишь себе отъезд отсюда в полнейшую неизвестность, нигде ни квартиры, ни работы, ничего надежного — и руки опускаются. Сил-то мало, сколько раз можно все начинать сначала, бороться все с теми же нелепостями? Все, кроме Вас и Бориса, ругают меня за мою отпускную затею — справедливо в отношении бесхозяйственного расходования денег, которых всегда мало, и несправедливо во всех прочих отношениях, но я уверила себя, что делаю правильно. Весной уедешь куда-нибудь опять к черту на рога, опять впряжешься в какую-нибудь нудную работенку, и так еще долго ни с кем не увидишься. Трудно все это.

Целую вас крепко и люблю.

Ваша Аля

Р. С. Дина писала мне об афишах Митиных и Ваших в Москве — хочет пойти послушать. Как его здоровье, совсем ли поправился? Дай Бог всем здоровья!

Зиночка, дорогая, какие дивные апельсиновые корки, а в одной коробочке с земляничной примесью! Спасибо, родная! Целуем обе.

30 ноября 1954 г.

Дорогие мои Лиленька и Зина! Пишу вам, чтобы успокоить насчет дальнейшего моего путешествия — в одном купе со мной оказался чудесный попутчик, который сходит в Красноярске и дальше летит до Норильска, т. ч. нам и с вокзала и до аэродрома — по дороге. Это очень удачно, один будет доставать машину, другой сторожить вещи и т. д. Так что не тревожьтесь, все будет в порядке.

Будьте все здоровы, мои дорогие. Пишите хоть по чуть-чуточки, чтобы эта теплая ниточка не прерывалась и не переходила в «большое воображение». Очень вас всех люблю.

Ваша Аля

Еду очень хорошо, чудесный вагон, хорошие спутники и obsлуга, только вот направление...

Привет всем квартирным, с кем не успела попрощаться.

Спасибо вам бесконечное за все, мои родные. Я впервые за все эти годы чувствую себя по-настоящему отдохнувшей, проветрившейся, как будто бы все окна моей души раскрылись жизни навстречу (а не только окно вашей комнаты). Все это не поддается словам и все вы отлично знаете и понимаете, недаром родные. Особым, действительно огромным счастьем был для меня «Дом с мезонином»¹ — дом души моей. Спасибо Мите, «Не прошло и трехсот лет», как до меня, до самых недр и глубин дошло ваше величайшее искусство, которое я раньше воспринимала немного внешне, снаружи; как-то только эмоционально. А теперь самым сердцем, как настоящую любовь.

Ем беспрерывно и не знаю, как выйду из этого положения!

По приезде телеграфирую. Зинуша, солнышко мое, так неожиданно появившееся на вокзале, спасибо!

Целую вас всех горячо и нежно. Очень все же грустно расставаться!

11 февраля 1955 г.

Дорогие мои Лиленька и Зиночка! Слава богу, Зинуша «раскошелилась» на письмо, и я немного успокоилась. Как-то по-сумасшедшему быстро идет время в суете и сутолоке, и как много его поглощают мелочи! С самого своего приезда без передышки пишу лозунг за лозунгом, делаю монтаж за монтажом, перескакиваю с декорации на декорацию, никогда не успеваю отдохнуть, собраться с мыслями, и главное, чтобы эти мысли были ясными и бестревожны-

¹ Д. Н. Журавлев в это время работал с Е. Я. Эфрон над рассказом А. Чехова «Дом с мезонином».

ми! У нас такой нетрудоспособный и малоразвитый коллектив, что приходится делать все за всех, а это значит, что на свое не остается необходимого времени, и все делается скоро и плохо.

Я до того акклиматизировалась здесь, что совсем перестала понимать, когда тепло, а когда — холодно. Вижу солнце, кажется — тепло, а оказывается — минус сорок! Несмотря на все «минусы», погода с полмесяца стоит хорошая, с каждым днем солнце отвоевывает себе все больше и больше неба, а земля все больше и больше солнца. Ветров настоящих не было, так что и морозы не страшны. Небо здесь — чем не устаю хвастаться во всех своих письмах — изумительное, ненаглядное! Про ложные солнца я вам писала, а вот еще бывает, что солнце всходит, разрезанное на несколько отдельных (горизонтальных) ломтей, потом они все соединяются, но контур солнца еще не четкий, ровный, а зигзагообразный. Еще полчаса — и настоящее солнце. Все мне кажется здесь необычайно близким к мирозданию, точно Бог еще все лепит и пробует — как лучше? А какие здесь тени на снегу. Синие, глубокие, прочные, так что и на тень не похоже, кажется, можно этот ультрамарин выкопать, вырубить, вытащить с корнем, такие они (тени!) весомые и осязаемые. И тишина здесь первозданная.

Крепко вас целую и люблю.

Ваша Аля

От Бориса за все время ничего не имела.

Спасибо за картинки, здесь они пользуются заслуженным успехом.

Над чем работает с Д. Н.? А с учениками? Что с делом Аванесова-отца?¹ Жив ли он?

Туруханск, 28 марта 1955 г.

Дорогие мои, сперва хотела позвонить вам по телефону, а потом побоялась не столько обрадовать вас, сколько напугать, и решила ограничиться телеграммой. Вызвали меня в здешнее РОМВД, я, конечно, забыла сразу о возможности каких-либо приятных вариантов и шла туда без всякого удовольствия. Войдя в натопленный и задымленный кабинетишко, бросила привычный незаметный взгляд на «тихий» стол, и увидела среди прочих бумажек одну, сложенную, на которой было напечатано «Справка об освобождении», тут у меня немного отлегло от сердца. Мне предложили сесть, но в кабинетишке

¹ Отец соседей Е. Я. Эфрон по квартире — Юрия и Левона Аванесовых, Петрос Сергеевич Аванесов (1889—1956) — член ВКП(б) с 1917 г., преподаватель истории в Коммунистическом университете народов Востока (КУНВ), а затем в Высшей пограничной школе; в 1938—1948 гг. был репрессирован по 58 статье, а в 1949 г. сослан в Красноярский край, где находился, по словам сына — Ю. П. Аванесова, в инвалидном доме для заключенных. В 1957-м — посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.

не оказалось стула. Вообще насчет обстановки плоховато, стол, кресло «самого» и на стене выцветший квадрат от бывшего портрета. Ну, стул мне принесли, я села, они молчат, и я молчу. Помолчала-помолчала, потом решила начать светский разговор. Говорю «самому»: «Интересно, с чего это вы так потолстели?» Он: «Рази?». Я: «Точно!» Он: «Это от сердца, мне здесь не климат!» Я: «Прямо!» Он: «Точно!» Помолчали опять. Он сделал очень суровое лицо и спросил, по какому документу я проживаю. Я непринужденно рассмеялась и сказала: «Спрашиваете! По какому вы мне дали, по такому и проживаю!» Он сделал еще более неприступный вид и сказал: «Теперь можете получить чистый паспорт и ехать в Москву». Я рассмеялась еще более непринужденно и сказала: «Интересно! Тот паспорт давали, то же говорили!» Он: «Нет, тот — с ограничениями, а этот совсем чистый!» И дает мне преогромное «Определение Военной коллегии Верховного Суда СССР», в котором говорится, что свидетели по моему делу (Толстой¹ и еще двое незнакомых) от своих показаний против меня отказываются, показания же Балтера² (его, видно, нет в живых) опровергаются показаниями одного из тех незнакомых, и что, как установлено, все те показания были даны под давлением следствия, и что ввиду того-то и того-то прокуроры такие-то и такие-то выносят протест по делу Эфрон А. С. Дальше идет определение Коллегии о реабилитации. После всего этого данную бумагу отбирают, а мне дают «Справку» Управления МВД по Красноярскому краю от 18 марта, за № 7349... «Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 19.2.55 постановлением Особого Совещания от 2 июля 1940 г. и от 18 мая 1949 г. в отношении Эфрон А. С. отменены, дело за отсутствием состава преступления прекращено». Теперь остается приклеить на эту справку фотографию, а в паспортном столе мне на нее еще одну печать поставят и потом буду всю жизнь носить ее за пазухой, т. е. она «при утере не возобновляется». Теперь я здесь получаю «чистый» паспорт, потом в Москве достану метрику, и на основании ее буду добывать московский паспорт, т. к. мой год рождения нужно исправить (у меня везде 1913). Таким образом, получив четвертый за год паспорт, я успокоюсь. Теперь только Аде дожидаться, и все будет хорошо! Следующее письмо, надеюсь, будет более толковым, а пока целую. Пусть только Митя попробует не поздравить меня персонально.

¹ Павел Николаевич Толстой, племянник А. Н. Толстого. Будучи в Париже, А. Н. Толстой просил С. Я. Эфрона, одного из руководителей «Союза возвращения на Родину», способствовать возвращению племянника в СССР. В 1939 г. П. Н. Толстой был арестован и на очных ставках с Т. В. Сланской показывал, что С. Я. Эфрон давал ему шпионские задания, а Сланская, никогда в действительности Эфрона не выдававшая, служила у них связной. (По рассказу Т. В. Сланской).

² Имеется в виду Павел Балтер.

5 июня 1968 г.

На горке — церковь, в которой, естественно, механическая мастерская, и школа, и старинный (видно, когда-то барский) дом, в котором клуб и сельсовет и выцветший лозунг на нем «Да здравствует коммунизм, светлое будущее человечества!» и маленький густо-позолоченный бюстик Ленина перед ним; и сельский магазин с керосином, пряниками, лейками, рыбными консервами (кильки в томате)...

Уже несколько раз я видела и рассматривала эту церковь — но вот только вчера обнаружила поразительную вещь — оказывается, на восточной стороне храма, под самым куполом сохранилось скульптурное изображение Бога-Саваофа, причем творчества какого-то местного, безвестного, безграмотного мастера! Но что это за изображение, если бы Вы видели! Над окном строгой и скучной формы взмахнул руками, приветствуя восходящее солнце, веселый и простодушный, абсолютно-архаический, донельзя наивный и совершенно языческий Бог, одетый в священническую рясу. Бородка у него, хоть и каменная, но жиденькая, волосы прямые и вразлет, и каждое утро он радуется солнцу, и солнце освещает его, трогательного сельского Бога, творца неба и земли, видимым же вся и невидимым! Вот уж было чудо, так чудо, когда я вдруг увидела его и поняла и обрадовалась ему...

А. и А.

В. Ф. Булгакову

21 октября 1960 г.

...Когда-то меня «гнали этапом» с Крайнего Севера в Мордовию — шла война, было голодно и страшно, долгие, дальние этапы грозили смертью. По дороге завезли меня в какой-то лагерь на несколько дней — менялся конвой. Отправили полы мыть в столовой; стояла зима, на черном полу вода замерзла, сил не было. А дело было ночью — мою, мою, тру, тру, вошел какой-то человек, тоже заключенный — спросил меня откуда я, куда, есть ли у меня деньги, продукты на такой долгий и страшный путь? Ушел, потом вернулся, принес подушечку-думку, мешочек сахару и 300 р. денег — большая сумма для заключенного! Дает это все мне — чужой человек чужому человеку... Я спрашиваю — как его имя? Мол, приехал на место, напишу мужу, он вернет Вам долг. А человек этот — высокий, худощавый, с живыми веселыми глазами — отвечает: «Мое имя Вы все равно забудете за долгую дорогу. Но если и не забудете и мужу напишете, и он мне «вернет долг», то денежный перевод меня не застанет, сегодня мы здесь, а завтра там — бесполезно все это».

Всего, всего вам всем хорошего!

Ваша АЭ.

В. Н. Орлову

17 ноября 1961 г.

...С Буниным — живым — я простилась в 1936 г., на Лазурном побережье, в нестерпимо жаркий июльский день, в белом от зноя дворике маленького, похожего на саклю, и так же прилепившегося к горе — домика, купленного на «нобелевские» деньги. «Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия? А ты знаешь Россию? Куда тебя несет? Дура, будешь работать на макаронной фабрике»... («Почему именно на макаронной, Иван Алексеевич?!») — на ма-ка-ронной. Да. Потом тебя посадят... («меня? за что?») — а вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь себе верблужья пятки!.. («Я?! верблужьи?!») ...Да. Знаешь, что надо? Знаешь? Знаешь? Выйти замуж за хорошего — только чтобы не молодой! не сопляк! — человека, и... поехать с ним в Венецию, а? В Венецию». «Ну что же, Христос с тобой!» и перекрестил, крепко вжимая этот крест в лоб мне, и в грудь, и в плечи. Поцеловал горько и сухо, блёснул глазами, улыбнулся: «Если бы мне — быть — столько — лет, сколько тебе — пешком бы пошел в Россию, не то, что поехал бы — и пропади все пропадом!»

Да, да. И пошла я, и поехала, — и все было, кроме «макаронной фабрики», если не считать мою работу в «Жургазобъединении» под руководством Кольцова именно выпуском в свет макаронных изделий? — и кроме Венеции. Были и «верблужья пятки» и голова, стриженная под машинку в тифу — и даже муж был — такой, какой даруется единожды в жизни, да и то не во всякой! Его расстреляли в последние дни бериевского царствования, накануне падения всех этих колоссов на глиняных ногах...

Всего вам самого доброго!

Ваша АЭ.

28 августа 1974 г.

...Сегодня — первый день на тридцать шестой год с того 27-го августа, когда я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное — два приятных молодых человека в одинаковых «кустюмах» и с одинаково голубыми жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида «эмке» из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группа людей, теснившаяся на крыльчике дачи, неотвратимо отплывает назад — поворот машины и — все. Слезы мои пересохли за 35 лет, всплакивать случалось только от злости; та беда терзает меня всухую и — кому повем?



Георгий Сергеевич Эфрон. 1944 год (?).

ПИСЬМА ГЕОРГИЯ ЭФРОНА

А. Эфрон

13.4.41 г.

Милая Аля!

Получил так же, как и мама, твое письмо от 4.4.41 г. Очень был рад, так как всегда с большим интересом жду от тебя вестей. Сегодня, как известно, выходной, и оттого наконец могу написать, а то школа и уроки не оставляют времени. В своем письме ты пишешь, что мои слова о том, что я «никогда не буду рисовать», — относительно. Ты меня не совсем хорошо поняла — я писал лишь о том, что художество не будет моей основной профессией; продолжать же рисовать для развлечения я, конечно, буду... Составляю себе неплохую библиотечку нужных мне книг. Твой «альманах с Маяковским» давно взят от Лили и красуется у меня на полке. С каждым днем я начинаю все более ценить Чайковского. Для меня он не композитор, а друг. Что за музыка! Готов слушать его Четвертую, Пятую и Шестую («Патетическую») симфонии затаив дыхание — а ведь ты меня знаешь, как я тут на восторги. Вообще, раскрытие музыкального творчества Чайковского было для меня основным событием моего пребывания в Москве. Его музыку я ощущаю как что-то родное.

Довольно интересную жизнь я вел в период моего пребывания в Голицыно, около дома отдыха писателей (в период декабрь — лето 1939—1940 гг.). Ходил я там в сельскую школу, брал уроки математики у завуча, а прямо после школы приходил в дом отдыха, где завтракал и обедал в сопровождении хора писателей, критиков, драматургов, сценаристов, поэтов и т. п. Такое салто-мортале (от школы до писателя) было довольно живописно и давало богатую пищу для интересных наблюдений и знакомств. Бесперывная смена людей в доме отдыха, красочный коктейль, хоровод меняющихся людей — все это составляло порой интересное зрелище. Учился я там немного — большей частью болел. Болел много, обильно, упорно и с разнообразием. Болел я и тяжелой простудой, и насморком, и гриппом, и краснухой, осложнившейся форменным воспалением легких... Приезжал доктор из Литфонда, говорил: «Ну-с,

Письма печатаются по изданиям: Мария Белкина «Скрещение судеб» М., 1988; Станислав Грибанов «Полгода из жизни капитана Карсавина» М., 1990. Марина Цветаева. Поэт и время, М., 1992.

милейший...» — и начинал терпеливо выстукивать. Когда я выздоровел и вновь пошел в школу и приблизились испытания, то в Москве схватил свинку и опять слег. Завуч за меня хлопотал, и я был переведен в 8-й класс без испытания с роскошным свидетельством Наркомата путей сообщения. После Голицыно мы жили в университете у одного профессора в квартире (ул. Герцена), жили у Лили — я поступил в 167-ю школу; потом нашли эту комнату на бульваре — я перешел в 326-ю школу; потом эту школу перевели в 335-ю школу, потом меня перевели в первую смену... Уф!

Рад, что ты любишь «Евгения Онегина». Я делал огромный доклад на тему «Евгений Онегин — столичное общество», за который меня хвалили и называли «замечательным». Как видишь, хвастаться я не разучился...

3.6.41 г.

Дорогая Аля!

Сейчас 11 часов 30 минут дня. За окном почему-то идет подобие снега. Но я люблю такую погоду. За столом мама тоже пишет тебе письмо. В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым, который получил Сталинскую премию за поэму «Маяковский начинается». Он — простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем — он очень ценит и уважает маму. Мама предполагает выпустить книгу переводов — это хорошая идея...

Мама подружилась с Крученых (есть такой поэт, вернее, словообразователь). Вот и будем ездить к нему на дачу. Буду ходить в Эрмитаж — все-таки там ничего, иногда есть неплохие концерты, и вообще мне там нравится. Все мои знакомые девушки разъезжаются: Мирэль Шагинян — в Коктебель, Нетта Квитко — на практику живописи в Новый Иерусалим. Я туда буду ездить — там прекрасная природа. Но все они интересуются живописью, а я давно перестал, и всегда выходят споры, потому что я не перевирую Грабаря и Герасимова и ратую за Мазареля и Пикассо.

Только что звонила Лиля — получила на имя мамы книгу стихов Эренбурга об Испании и Франции «Верность» — с трогательным посвящением. Сегодня мама пойдет в Гослит — подписываться на заем <...>

С величайшим удовольствием прочел рассказы и стихотворения в прозе Тургенева... перечел Чехова, попытался читать Толстого (Ал. Ник.) и Федина, но безуспешно — бросил. Сейчас читаю «Детство» П. Вайяна-Кутюрье; очень нравится (потому что похоже на Арагона, а я поклонник Арагона). Прочел также «Рыжика» Ж. Ренара (помнишь фильм?), потом сочинение Шеллера (Михайлова) «Ртищев» (мрачно, 80-е годы!), «Мелкого беса» Сологуба (тоже мрачно, затхло). Из русских прозаиков впереди всех идут Лермонтов, Тургенев, Достоевский и Чехов. Не Пушкин, а Лермонтов — подлинный родоначальник русской прозы. У Тургене-

ва — замечательный язык; он неподражаем. Достоевский — могуч и умен как дьявол. Чехов же показал подлинного, обнаженного человека. Какие писатели! Они по крайней мере равны великим писателям Запада; Достоевский же, а отчасти и Чехов, и выше этих писателей. Бальзак тяжел и напичкан нелепым мировоззрением, Стендаль устарел со своим навязчивым антиклерикализмом (как и А. Франс), Гюго не читаем сейчас, Флобер скатился в артистизм, Золя назойлив со своими дегенератами. С другой стороны, и Тургенев слишком порой слащав, Достоевский нагромождает ужасы. Лишь Лермонтов абсолютно кристаллен («Герой нашего времени») да Чехов. Всех я обругал, вот и рад, вот и критика.

Но я совсем заболтался, как старая баба.

Обнимаю крепко.

Твой Мур.

19.6.41 г.

Дорогая Аля!

Сегодня получил твою открытку от 6.6.41 г. В Москве стоит жара, сменившая чистые ливни. Я часто пью, ем мало, хожу по липкому асфальту. Вчера были на даче у знакомых — катались на лодке, пили чай и т. п. В общем, дача, и только. Каникулярная жара. Я ничего не делаю — слушаю радио, читаю книги, продаю книги в книжных лавках — те же книги, которые здесь купил когда-то. Я теперь хожу в кепке, которую ношу так:

(рисунок в тексте)

что мне придает вид капитана и очень мне идет.

У меня два новых увлечения: одна девица и футбол. Девицу оставили на второй год в 9-м классе, ей 18 лет, украинка, была в Ташкенте, а теперь ей нечего делать и мы гуляем, обмениваемся книгами, ходим в кино и т. п. Мама злится, что «ничего не знает о моей «знакомой», но это пустяки. Во всяком случае, я с этой девицей здорово провожу время, она остроумна и изяцна — а что мне еще надо?..

Увлечение № 2 — футбол — я предвидел. Острые ощущения — замечательная штука! Я был уже на четырех матчах первенства страны. «Болею» за кого попало. В СССР приехали писатели Жан-Ришар Блок и Андрэ Мальро. Блок выступал в «Интернац. литературе».

Сегодня был в кино с моей девицей — смотрели «Киноконцерт» и «Старый двор». Ничего. Лемешев качается на люстре — эффектно. Мы смеялись над ярыми поклонницами Лемешева. Моя подруга любит джаз и не понимает «большой музыки». Обожает читать Фаррела. Мы с ней часто гуляем вечером — днем слишком жарко. В общем, как видишь — живу. Сегодня иду на футбол: «Трактор» — «Динамо». Прочел замечательную книгу — прямо открытие для меня: «Богатые кварталы» Арагона. А мама эту книгу не переносит!..

...Достоевский же, как какой-то чародей, завлек меня в свой

магический круг и не выпускал из него, несмотря на то, что читал-то я первый том его произведений; особое впечатление произвел на меня «Двойник» — своим языком и особым калоритом мрачности и бреда; нечто вроде синтеза Гоголя и Гофмана. Необыкновенный писатель! И о нем надо будет сказать когда-нибудь совсем иное, чем говорилось и говорится...

7.9.42

...Насчет смерти мамы Лиля и Муля решили сначала почему-то играть комедию и ничего тебе не сообщать, а писать, что мама в «длительном литературном турне». И мне написали, чтобы я тебе не писал, что она умерла. Это было сделано из боязни причинить тебе страдания, учитывая что тебе и так трудно, должно быть, живется, и чтобы этим сообщением не подрывать твоих сил. Я с этой установкой согласен не был, ибо считаю — правда прежде всего и что мы не имеем просто права скрывать от тебя смерть М. И. и решил тебе написать об этом, но не знал точного твоего адреса. Когда же Муля мне написал твой адрес, то оказалось, что тебе уже все известно. Насчет маминых рукописей, опять-таки повторяю, как в предыдущих письмах, — не беспокойся: они в Москве, в надежном месте и в сохранности.

О тебе я думаю очень часто; ты себе не можешь представить, насколько живо я пытаюсь себе представить, как ты живешь, твое самочувствие и внутренние переживания. Я ощущаю тебя совсем близко, как будто ты не так уж далека географически. И меня и тебя жизнь бросила кувырком, дабы испытать нас; с тобой это произошло после отъезда из Болшево, со мной — после смерти мамы. Оттого, именно вследствие этой аналогии судеб, я так стал близок к тебе — близок потому, что одиночество меня, как и тебя, вдруг заволочло.

Мы, бесспорно, встретимся — для меня это ясно так же, как и для тебя. Насчет книги о маме я уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем... <...>

Ты спрашиваешь, осталось ли на память что-нибудь из маминых любимых вещей. Конечно, остались! Целая шкатулка в Москве — всякие бусы и т. д. Боюсь, что Лиля немного украсила меня в письме к тебе чертами бездушного человека или что-либо в этом стиле. Но это отнюдь не так на самом деле. И я настолько любил маму, что, верь мне, никаких прав не превзошел в отношении обращения с ее наследством...<...> Мне страшно недостает мамы, папы и тебя...<...>

...Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами. Подчас мне завидно — за маму. Она бы тоже могла быть в таком «ореоле людей», жить в

пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была «богиней», сфинксом, каким является Ахматова. Она не была способна вот так, просто, сидеть и слушать источаемый ртами мед и пить улыбки. Она была прежде всего человек — и страстный, неспособный на бездействие, бесстрастный, неспособный отмалчиваться, отсиживаться, отлеживаться, как это делает Ахматова. Марина Ивановна всегда хотела деятельности, работы, она была энергичным, боевым существом. Последние ее стихотворения говорят — о смешное выражение, применяемое к ней! — о творческом росте. А последние военные стихи Ахматовой — просто слабы, последняя ее поэма — «1913 год» — сюрреализм. Ахматова остановилась раз и навсегда на одной эпохе; она умерла — и умерла более глубоко, чем мама. И обожают-то ее именно как реликвию, как курьез.

Было время, когда она мне помогала; это время кончилось. Однажды она себя проявила мелочной, и эта мелочь испортила все предыдущее. Итак, мы квиты — никто ничего никому не должен. Она мне разонравилась, я — ей. Относительно Кочетковых, они мне тоже разонравились — оказались уж чересчур чеховскими персонажами, да еще сдобренные «подпольным человеком» Достоевского. Недаром мама говорила: «Кочетков — баба, безвольный человек». Со сфинксом и бабой покончено.

Покончено также знакомство с семьей артистов; одно время я с ними тесно общался, ходил к ним, разговаривал... Но они оказались пресными, пошлыми, неспособными к самообновлению. И постепенно знакомство иссохлось, ждалось в комочек, взаимосимпатия уменьшилась, исчезла... Остались поклоны на улице и приглашения и зайти и мои ответы «обязательно загляну». По такому же пути идут мои отношения с Лидой Бать и Дейчиком. Ли-да — исключительно эгоистична. Дейчик — открыто эгоистичен, черт с ним, пусть, а Лидия Григорьевна обожает говорить о своем сердце и жалости к людям и «как она все понимает». Не нравится мне в ней ее ум, столь трезвый и практический, что перестает быть умом, не нравятся фразы о ее честности (особенно честности литературной), не нравится, как она говорит: «Ах, как хочется помочь такому-то, и ничего, ничего не можешь сделать!» — причем она неминуемо напоминает мне шаблонного лубочного франсовского попа, пьющего вино и ругающего грешников, и т. д. Какое-то бессознательное лицемерие вошло в ее характер. Не люблю вечно хитрящих людей — и особенно опять-таки в литературе. Тем не менее часто к ней захожу: совсем одному быть все-таки невозможно, да и хоть на словах тобою кто-то интересуется; кроме того, она очень тепло вспоминает о тебе, и мне это очень приятно.

Я очень рад, что ты живешь неплохо; для меня это страшно важно — знать, что ты в целостности и сохранности, где-то работаешь, живешь более или менее нормально. Мне тогда кажется, что еще можно вернуть какую-то семью, воссоздать ее когда-то... И так, бесспорно, будет.

Часто бываю у Толстых. Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех. Очень симпатичен сын Толстого — Митя, студент Ленконсерватории. Законченный тип светской женщины представляет Людмила Ильинична: элегантна, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбомы Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах. К тому же у нее есть вкус, и она имеет возможность его проявить. Сам маэстро остроумен, груб, похож на танк и любит мясо. Совсем почти не пьет (зато Погодин!..) и совершенно справедливо травит слово «учеба». Дом Толстых оригинален, необычен и дышит совсем иным, чем общий «литфон» (о каламбуры!), что мне там всегда очень хорошо...

10.10.42 г.

Дорогая Аля!

Надеюсь, что теперь ты регулярно получаешь мои письма; это, по-моему, пятое мое письмо к тебе за время моей среднеазиатской жизни. «Мои», «по-моему», «мое», «моей» и — это все в двух фразах. Н-да... Но я пишу в восемь вечера, и такой стиль извиняем — голова на плечах у меня лишь утром. Я, несмотря на все мои «выверты» ночью способен только спать. Когда я это говорю, то мне не верят; это как-то мне не к лицу, но это — факт.

Мое любимое время — «от 5 до 7» — и действительно, сумерки, начало вечера, «разрядка» после переполненного дня мне всегда милы. Утро — ясность в голове, способность работать, но настроение большей частью кислее — именно из-за ясности. Середины дня как-то не замечаешь. В школе обычно не переносу больше четырех уроков — после четырех уроков перестаю вообще и слушать и понимать. В школе провожу уроки в горячке — кроме уроков литературы, истории и узбекского языка. Горячка — потому (кстати, здесь совершенно не к месту тире) что боюсь, как бы не спросили (все, кроме вышеназванных предметов — т. н. «точные науки»), и начинаю — коль поздно! (что за славянский акцент!) — зубрить все эти злосчастные дисциплины. Начинает казаться, что недостаточно выучил, думаешь, «как бы пронесло!» и т. д.

Тьфу-тьфу, но большей частью мне очень везет. Так как я очень вежлив, лучше других говорю по-русски, имею вполне интеллигентный, даже внушительный вид, то преподавателям и в голову не приходит, что я ничего не понимаю в их дисциплинах, что у меня — в отношении «точных наук» — чудовищно лениво и плохо работает мысль, и потому они думают, когда я плохо отвечаю, что это «случайно», «так» (не зная, что я учил-учил и все-таки так и не «допонял»), и, следовательно, повышают оценку — что и требовалось доказать. Возможно, что, если бы я слушал на уроках, мне бы меньше приходилось корпеть над книгами дома, но мне никогда не удается сконцентрировать мое внимание на излагаемом учителем. Неизбежно то, о чем рассказывает учитель, ускользает из моего поля слуха — и я в лучшем случае обращаю внимание на самого учителя,

на его манеру изложения, на его голос и жесты, на паузы. В большинстве случаев преподаватель стремится в некотором роде загипнотизировать своих слушателей — то ли своим голосом, то ли строгостью, то ли особой манерой «подавать» материал преподаватель стремится возможно полнее «протоколкнуть» свой предмет в сознании слушателя, приковать внимание этого слушателя к предмету. Делается это почти всегда очень примитивно, и именно то, что преподаватель полагает такими дешевыми трюками приковать меня к его рту, меня коробит, и я его не слушаю. Меня коробят именно хорошие преподаватели, ибо они всегда, актеры, а я очень не люблю актеров. И я предпочитаю просто строгого учителя — эдак лучше. А «авторитет», «шарм» преподавателя — почти всегда блеф. По алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, химии и астрономии в первой четверти у меня — пос. По литературе, французскому, истории и узбекскому — отл. Просидев четыре урока, меня начинает клонить ко сну. Я становлюсь вконец рассеян, глуп и туп, и горе мне, если меня в эти два последних урока спросят.

Наконец, избежав все опасности, иззевавшись, я ухожу домой, безмерно счастливым, что учебный день окончился, а дома меня ожидает принесенный из столовой Союза писателей обед. Мне тогда плевать на все — я голоден как волк, и даже то, что завтра две математики, две физики и одна химия, мне глубоко безразлично. Я думаю об обеде и книге, которую буду читать. От школы до общежития — три минуты ходьбы, и я бодро шагаю с портфелем в руке и даже иногда насвистываю. Быть может, оттого-то к сумеркам у меня и во внешкольное время хорошее настроение — по ассоциации. Впрочем, и раньше так было. А ночью — спать.

Я помню, еще в 1939 году я с мамой пошел в какой-то ресторан, где танцевали, и подали какой-то очень вкусный обед, и я пил вино, и глазел, и было скучно... Возможно, я был слишком мал и не танцевал к тому же. Позор и стыд! Танцевать я так и не научился — потому что неохота как-то. И никто не верит, что я не умею танцевать. «Как, вы...» Мне кажется, что танцы сейчас — лишь способ знакомства с девицей, способ убить время, потому что с этой девицей не о чем говорить. Потом, после нескольких таких танцевальных сеансов, авантюра вступает в новую — любовную — фазу. И вправду — всегда танцы лишь средство до достижения цели. Но они бессмысленны в таком случае, ибо неужели же я не смогу покорить девушку, которая мне понравится, не тратя времени и не портя ботинок под звуки плохого джаза? А не смогу, так и не надо.

11.11.42 г.

Дорогая Алечка!

Прости меня, что я так долго не писал. Но это объясняется тем, что с 17.10 по 7.11, т. е. в течение трех недель, я был в колхозе со школой на уборке хлопка. Мои успехи в этой области были весьма умеренными, а здоровье к тому же пошатывалось, так что меня отпустили домой раньше, чем других. Я шел 12 км под проливным

дождем полями и проселочными дорогами, по колено в грязи, за арбой с вещами (уезжали еще три стахановца). На станции я, кряхтя и ругаясь, перелез через тормоза товарных вагонов, нагруженный своими вещами и ружьем одного преподавателя, и ружье мне мешало, и было 3 часа утра, и поезд в Ташкент дьявольски опаздывал, и никто не знал, на каком он будет пути, и... И я был весь промокший, и хлопал дырявыми башмаками по станционной черной грязи, и дождь лил и лил не переставая, и в последнюю минуту пришлось перелезть под вагоном, так как поезд, конечно, приблизился по тому пути, по которому никто его не ожидал... Но я ввалился в вагон, даже удалось сесть, и на все было наплевать, ибо теперь впереди были Ташкент, асфальт, баня и телефонные звонки. И приехал я как раз в разгар демонстрации, и все было в порядке. Когда-нибудь я подробно опишу мое пребывание в колхозе и все это мое путешествие.

Ташкентская погода испортилась: идет снег, слякоть, грязь, холод. Калоши протекают, нос тоже протекает, но все это ничего и я не унываю. Кстати, сказать, вообще никто не унывает, так что даже и никакой заслуги в этом неунывании нет, ибо что же делать, как не унывать...

13.12.42 г.

...Весьма заедают дела хозяйственные; даже не знаю, радоваться или плакать. Дело в том, что в отношении питания мое положение несколько улучшилось, но чтобы получить какие-либо продукты, необходимо терять такую бездну времени!.. У любого школьника и проблемы-то этой нет — пойдут мама или кто-либо еще. А я одновременно и домохозяйка, и ученик 10-го класса. В самом деле, говорят тебе: сегодня будут выдавать то-то и то-то. Ведь жить святым духом невозможно: вот и пойдешь, а пока получишь, смотришь — ан, глядь, уж и время утекло, и опоздал. Впрочем, все это трагично, но в школе иногда трудно это втолковать так, чтобы не выходило, будто ты обжора и лентяй — просто очень необычное положение, и как-то не верится, что некому пойти, принести, приготовить, и что я выполняю функции очень для меня, моего возраста странные. Но хоть, по крайней мере, я научился готовить! Предстоят, быть может, тяжелые испытания, перемены и передряги, так я хочу, раз есть пока возможность, поправить здоровье. Это необходимо. Впрочем, в школе отметки все те же, как и всегда у меня за эти три года, — отлично по истории, литературе и языкам, посредственно по «точным наукам». Это — неизменно, изо дня в день, из года в год.

3 июня 1944

Адрес полевой почты — тот же, с той только разницей, что мы перекочевали в другую деревню и я теперь ночую на чердаке

разрушенного дома; смешно: чердак остался цел, а низ провалился. Вообще же целы почти все деревянные здания, а каменные — все разрушенные. Местность здесь похожа на придуманный в книжках с картинками пейзаж — домики и луга, ручьи и редкие деревья, холмы и поляны. и не веришь в правдоподобность пейзажа, этой «пересеченной местности», как бы нарочно созданной для войны...

17 июня 1944 г.

Милая Аля! Давно тебе не писал... Завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны... Я верю в свою судьбу...

Е. Эфрон, З. Ширкевич, Д. Сеземану.

11.IX—41

Дорогая Лиля!

Я думаю, что до вас дошла весть о самоубийстве М. И., последовавшем 31-го числа в Елабуге. Причина самоубийства — очень тяжелое нервное состояние, безвыходность положения — невозможность работать по специальности; кроме того М. И. очень тяжело переносила условия жизни в Елабуге — грязь, уродство, глупость. 31-го числа она повесилась. Она многократно мне говорила о своем намерении покончить с собой, как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне понимаю и оправдываю. Действительно, как она пишет мне в последнем письме: «дальше было бы хуже». Дальше для нее было бы суррогат жизни, «влачение своего существования». Она похоронена на Елабужском кладбище. После похорон я забрал все вещи и переехал в г. Чистополь, где находится Асеев, детдом Литфонда и множество семей писателей Москвы. Ввиду безвыходности моего положения — в Чистополе мне нечего было делать, — я решил уехать в Москву, на страх и риск, но накануне дня отъезда пришла телеграмма от Литфонда, зачисляющая меня в детдом Литфонда. Кроме того, мне выдадут единовременное пособие. В Чистополе я распродал 90% вещей М. И., — чтобы обеспечить себя какой-то суммой денег (М. И. так и писала в письме — чтобы я распродал все ее вещи). И так, мне обеспечено жилье, стирка, глажка и, главное, — учеба. Буду учиться в Чистопольской школе. Вещей на зиму у меня вовсе достаточно — в этом отношении я богат. Кроме того, у меня будет пособие и есть деньги от продажи вещей. И так — обо мне не беспокойтесь: я полностью устроен и обеспечен. Теперь пишу о главном для меня. *Лиля, разыщите Митьку. Всеми силами*

старайтесь узнать, где он. Узнайте, в Москве ли он, какой его адрес. Пошлите кого-нибудь из знакомых в ИФЛИ (в Скольниках) — может, там знают, где он (он зачислен в ИФЛИ). Если он в Москве, передайте ему приложенное здесь к нему письмо. Если в Москве его нет, узнайте, куда он уехал. Его телефон В-1-97-51. Сделайте все возможное, что в ваших силах, чтобы узнать, где он, что с ним. Он мой единственный друг. Теперь читайте внимательно: как только узнаете, где он находится, немедленно шлите мне телеграмму, сообщающую, где он находится, что с ним, его адрес. Лиля, денег на это не жалейте; это единственное мое желание. Прошу его выполнить. Это — не прихоть. Мне важно это знать: судьбу друга. Телефон Мули: К-2-42-61. Итак, немедленно, когда узнаете что-нибудь о Митьке, шлите мне телеграмму. Очень прошу Вас об этом.

Желаю всех благ, всего доброго.
Целую крепко Вас и Зину.

Ваш Мур

Адрес для телеграммы:

Татарская АССР.

Гор. Чистополь

ПОЧТА — до востребования

Эфрону Г. С.

P. S. Не пишите писем — не доходят, долго идут.

Письмо Сеземану написано по-французски.

11.IX—41

Здорово, старина Митя!

Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой 31 августа. У меня нет желания задерживаться на этой теме. Что сделано — то сделано. Все что я могу тебе сказать по этому поводу — это то, что она правильно поступила: у нее было достаточно поводов и это было лучшим выходом из положения, и я полностью одобряю ее поступок.

После кошмарного пути я очутился в Чистополе, где находится много эвакуированных семейств писателей. Прожив некоторое время у Асеева и продав все оставшееся от матери имущество (примерно на 2000 рублей), я решил, несмотря на бомбежки и все прочее, отправиться в Москву. Я закончил все свои дела, добыл пропуск и подготовился к отъезду на этот раз по воде до Горького, но тут директор Литфондовского Детдома мне сообщила, что на мое имя пришла телеграмма из Московского литфонда о зачислении меня в писательский Детдом, где содержатся дети всех возрастов и где я могу жить на полном пансионе, где меня будут «кормить, мыть и укладывать спать», а главное, я буду учиться в 9-м классе в школе вместе с другими писательскими детьми. И обдумав все это, я решил

остаться главным образом из-за школы, которую я здесь могу посещать, а в Москве «кто знает»?

Это решение мне стоило немалых усилий. Мне ужасно хотелось увидеть тебя, с тобой поговорить, увидеть Москву и Мулю — но всем этим я хладнокровно пожертвовал. Кроме того, я уверен, что на моем месте ты бы тоже остался.

Теперь мне хочется, чтобы ты знал следующее: какими бы ни были грядущие события, настанет день, когда я вернусь в Москву. На это будут направлены все мои усилия. Кроме того, вернется в Москву и весь Детдом (есть толк и от этих «детей знаменитостей»). И в этом случае я вернусь в Москву. Со своей стороны приложи все усилия, чтобы остаться в Москве, и в таком случае мы всенепременно встретимся.

Я тебя очень прошу послать в Чистополь телеграмму с сообщением, где ты живешь. Мне чрезвычайно важно не потерять тебя из виду. Очень тебя прошу. А сейчас хочу сказать тебе до свидания, старина. Что бы ни случилось, все будет хорошо, и мы встретимся. Надеюсь, и на нашей улице будет праздник!

Жму твою лапу.

Твой друг Мур.

P. S. Не пиши писем — они слишком долго идут.

Адрес: Татарская АССР,
гор. Чистополь.

Почта — до востребования.

Эфрону Г. С.

12/II—43

Дорогая Лиля!

Получил Вашу открытку. Не писал я в последнее время потому, что совсем заматался с делами призыва — целый месяц, со 2-го января по 2-е февраля, я мог отправиться каждый день в трудовую армию. Только 2-го я узнал окончательно, что зачислен в резерв до особого распоряжения и, таким образом, могу продолжать заниматься в школе.

А 4-го я тяжело заболел рожистым воспалением — опять! — и тот же тип, что в 1-й раз. Сейчас выздоравливаю, и 15-го думаю уже приступить к занятиям в школе. Все эти дни лежал и не выходил.

Очень беспокоит собственный несуразный аппетит, возвращающийся по мере выздоровления! Но ничего — как-нибудь переживем. А победы, победы какие! И жить становится легче и веселее. Не болейте; желаю Вам сил и здоровья. Целую крепко. Ваш Мур.

Дорогая Лиля!

Сегодня у меня утро писем — в самом деле, написал Але, Вам, Муле. Жизнь моя вновь вошла в некоторое подобие нормальной колеи. Вновь я хожу в школу, вновь занимаюсь; даже был в кино позавчера, смотрел «Мелодии Вальса» — «новый» американский фильм.

Но я подозрителен, и мне кажется, что это — затишье перед бурей. С какой стороны эта буря придет и в чем она выразится — не знаю, но почему-то так кажется.

Деньги идут на питание, исключительно на это; вся трагедия в том, что здесь все есть. В Москве я бы зарылся в библиотеку, о чем мечтаю, а здесь никак нельзя забыть об аппетите, нельзя отвлечься, что необходимо.

Но летом я твердо намерен возвратиться в Москву, окончив 10-й класс, если ничего не изменится с моими делами военными, и поступить в ВУЗ. Образование — прежде всего. А пока надо «дотянуть». Хожу с палочкой — последствия болезни, но надеюсь, что скоро совсем выздоровлю. Пишите подробнее о себе, я очень о Вас соскучился.

Обнимаю. Ваш Мур.

18.05.44

Дорогая Лиля и Зина!

Со времен приезда из Рязанской области получил две Ваших открытки. Я прекрасно понимаю все трудности, испытываемые Вами в отношении помощи мне, и очень хорошо знаю, что и послать нечего кроме того, что не с кем. Если я Вам и писал «просьбы о помощи», то это было сделано сугубо «под непосредственным влиянием момента», и Вы не должны беспокоиться о том, что не удалось ничего предпринять с этой самой помощью. Возможности — самые ограниченные, и я Вам, наверное, уже надоел, о чем прошу Вас извинить.

Что ни Алеша, ни Муля ничего не сделают, было ясно или почти ясно мне уже давно и если я и старался, чтобы они мне помогли, то просто для очистки совести и опять-таки под влиянием этого проклятого «непосредственного влияния момента», к которому давно, в сущности, следует привыкнуть и не завидовать другим, более удачливым в этом отношении. Мало ли что кому и что привозили, за то у других нет Малларме и много другого, что есть у меня, так что завидовать нечего. Еще раз извините, что беспокоил Вас. Если бы кто-либо, включая Вас, написал бы мне упреки по поводу этих моих просьб, мотивируя эти упреки тем, что я ведь хорошо знаю Ваше положение и почти нулевые возможности, то я, возможно, и обиделся бы и разозлился; таков у меня характер. Но я сам «дошел» до этих упреков и таким образом избавил, быть может, Вас от необходимости, в известной степени, наставлять меня на путь

истинный, вернее, на путь сдержанности. Я ведь думал, что Алеша и Муля все-таки и может, Буровы помогут, — а так нечего и говорить. В общем, простите, что надоедаю еще раз, и главное, не жалейте о том, что не смогли почти ничего сделать — мне самому бы не следовало поддаваться «непосредственному влиянию момента» и беспокоить Вас обо всем этом. Но я почему-то привык действовать сразу, вслепую, не беспокоясь о последствиях и всецело поддаваясь желанию; жизнь, вероятно, научит меня и ждать, и молчать, и экономить, и многому прочему, чему она меня еще не в силах была научить. Это все мною написано, так сказать, характера предварительного; так сказать, расчет за старое. Новое же состоит в том, что примерно дня через два (минимум) я окончательно уеду отсюда на фронт: приспели сроки отправки. Конечно, по-видимому (или во всяком случае до самого последнего времени), я не буду знать точно, состою ли я в списках или остаюсь здесь. Но я лично думаю, что отправлюсь вместе с остальными. Будет таким образом новый поворот в моей пестрой биографии. По крайней мере хорошо будет хоть то, что Вы с Вашим добрым сердцем перестанете беспокоиться об организации продуктов ко мне; это будет бесспорно полезной стороной дела. Удивительно все-таки, как «единодушно» все не пишут, все, так сказать, друзья, ни Рая*, ни Муля, ни Алеша, ни Буровы. Рая, вероятно, совсем завертелась в Ташкенте, да и надежды на пропуск, вероятно, угасли; Муля вообще, вероятно, скис, да и совсем от нас отошел; Буровы раз написали; у них много дел, и им не до меня. Алеша занят... Все это наука мне, но наука нехорошая, негуманная, эгоистичная, воспитывающая сухого и желчного человека, рассчитывающего только на себя; ничего тут хорошего нет.

Прошу сравнительно пространно, потому что письмо вполне может оказаться последним перед началом неизвестно когда долженствующей наступить — уже другой серии писем... До свидания, до нового письма, привет Дмитрию Николаевичу** . Ваш Мур.

<июнь 1944>

Дорогие Лиля и Зина!

Давно Вам не писал — но это потому что фронтовая жизнь закрутила, да и, кроме того, проблема бумаги стоит, как говорится, весьма остро.

Что Вам писать? Это — тоже проблема; написать слишком мало — не хочется, написать много — тоже нельзя, — а писать надо. Мне хочется написать о тех положительных сторонах моей теперешней жизни, которые положительны бесспорно и безусловно. Конечно, все меняется — особенно здесь — но все же пока что, во-

* Кто Рая — неизвестно.

** Д. Н. Журавлев.

первых, не холодно, во-вторых, газеты и новости поступают регулярно, и, в-третьих, живем мы сравнительно спокойной жизнью. Последнее, конечно, — чисто временное явление, но тем более оно ценно.

Обычно пишут о товарищах, друзьях, приобретаемых на фронте. Однако здесь люди так быстро меняются и переходят из подразделения в подразделение, что не успеваешь к кому-нибудь более или менее привыкнуть, как этот «кто-нибудь» уже оказывается в другой роте или взводе. Конечно, этот процесс переходов тоже в свое время закончится, и тогда, быть может, в обстановке боев и сложится та дружба, о которой я столько слышал, но пока не находил, хотя найти хотел. Вы себе представляете, с какой огромной радостью я встретил известие об открытии второго фронта. Да и не я один: всех окрылило надеждами долгожданное сообщение. Я оказался прав: я все время твердил, что второй фронт обязательно откроют.

Я пишу, а комары безбожно и нагло кусают. Но к ним в конце концов привыкаешь, как ко многому другому.

Кроме газет, естественно, не читаю ничего. «Естественно» — потому, что книг нет. Писать — тоже не пишу, и тоже «естественно», потому что бумаги нет.

Что же я конкретно делаю? Некоторое время я был ротным писарем, потом произошли всякие пертурбации, в результате которых я и сам не совсем понял, кто же я такой. Возможно, скоро вновь буду писарить, когда будет рота, а возможно — и непосредственно зашагаю вместе с остальными (а возможно и — и то и другое!). Во всяком случае хожу с автоматом — необыкновенно удобным, эффективным и современным оружием.

Варим «бульбу», чистим оружие, действуем лопатой (увы, последнее мне удастся очень слабо!), дневалим, строимся...

Пока — все.

Сердечный привет. Ваш Мур.

30 июня 1944 г.

Дорогая Лиля и Зина! 28-го получил Вашу открытку и обрадовался ей чрезвычайно... Письма на фронте очень помогают, и радуешься им несказанно как празднику... Кстати, мертвых я видел первый раз в жизни: до сих пор я отказывался смотреть на покойников, включая и М. И. А теперь столкнулся со смертью вплотную. Она страшна, безобразна; опасность — повсюду, но каждый надеется, что его не убьет... Предстоят тяжелые бои, так как немцы очень зловредны, хитры и упорны. Но я полагаю, что смерть меня минует, а что ранят, так это очень возможно...

Западный фронт

4/VII—44 г.

Дорогие Лиля и Зина! Довольно давно Вам не писал; это объясняется тем, что в последнее время мы только и делаем, что движемся, движемся, движемся, почти безостановочно идем на запад: за два дня мы прошли свыше 130 км (пешком)! И на привалах лишь спишь, чтобы смочь идти дальше. Теперь вот уже некоторое время, как я веду жизнь простого солдата, разделяя все ее тяготы и трудности. История повторяется: и Ж. Ромэн, и Дюамель и Селин тоже были простыми солдатами, и это меня подбодряет! Мы теперь идем по территории, находящейся за пределами нашей старой границы; немцы поспешно отступают, бомбят наступающие части, но безуспешно; т.к. движение вперед продолжается. Население относится радушно; народ симпатичный, вежливый; разорение их не особенно коснулось, т.к. немцев здесь было довольно мало, а крестьяне — народ хитрый и многое припрятали, а скот держали в лесах. Итак, пока мы не догнали бегущих немцев, все же надо предполагать, что они где-нибудь да сосредоточатся, и тогда разгорятся бои. Пейзаж здесь замечательный, и воздух совсем иной, но всего этого не замечаешь из-за быстроты марша и тяжести поклажи. Жалко, что я не был в Москве на юбилеях Римского-Корсакова и Чехова!

Пишите! Привет. Преданный Вам МУР»

Родной мой и любимый Ирцус!

Третьего дня получил сразу 2 письма от тебя и одно от бабушки. Твое последнее датировано от 9-ого апреля. Я вижу, что ты от меня ровно ничего не получила. Как ты узнала в таком случае мой последний адрес — Коми А.С.С.Р., Усть-Вымьский район, село Межоч, почт. ящик 219/4? Киска милая, не получая все это время от тебя ровно ничего, я прямо с ума сходил. Получив твои письма/, я разревелся, как старый дурак. С этого лагпункта я послал тебе уже два письма (от тебя получил 3 и одно от бабушки). Сейчас тут с связью дело обстоит плохо: весна, распутица, а навигация только-только открылась. Милая моя женушка, сижу над этой бумагой, а в голове моей сумбур — столько мне надо тебе сказать, и опять мне страшно, что пишу впустую и письмо до тебя не дойдет. Пишу и волнуюсь, как будто я с тобой разговариваю — это так отрывает от лагерной жизни, что я каждый раз совершенно теряюсь и мне так же трудно привести свои мысли в порядок, как и тогда в тюрьме на свидании с тобой. Ты уж прости меня за хаотное состояние моего письма, но я постараюсь вложить в него все-все и повтроить то, что уже писал. Ты просишь, чтобы я написал о себе. Здоровье у меня неважное, и чувствую я себя слабым. Кстати, не забудь при возможности прислать мне антицинготного витамина и и рыбьего жира. Внешне твой муж сильно постарел и поседел. Мне сейчас дают лет 30. Работаю я, конечно, на физических работах, это, конечно, тяжело, но я этим доволен, т. к. свободного время на мысли и размышления у меня нет. Мыслей своих я боюсь больше всего, и в данном моем состоянии чем меньше я буду думать, тем лучше я буду себя чувствовать. Ты понимаешь, родная, что я прекрасно сознаю, что надолго у меня этой жизни не хватит. Собственно говоря, я до сих пор не могу сообразить, что случилось. Постараюсь рассказать все по порядку. Следствие у меня велось по 58 статье УК РСФСР пункты 1а, 6, 10 и 11, то есть измена родине, шпионаж, контрреволюционная агитация и принадлежность к антисоветской организации. Вот что было в начале следствия, которое на всем протяжении (2 ¹/₂ месяца) было очень и очень тяжелым для меня во всех отношениях. Я не знаю, насколько тебе это все понятно. Затем по ходу следствия пункт 1а отпал, потом пункт 6, затем и 11. Материалы для обвинения, как я это узнал к концу следствия, были даны Алей (я читал ее показания), она утверждала, что я был завербован иностранной разведкой, что я вел постоянные антисоветские

разговоры; как то: критиковал Сталинскую конституцию и Советскую Власть, все это совместно с моими родителями (мамой и Додой), причем для меня очевидно, что на них она наклеветала еще больше. Я потребовал очную ставку, но это не помогло, т. к. Аля не изменила своих показаний. В конце концов мне удалось конкретно доказать, что я не шпион, так же, как и пункт 11 (принадлежность к антисоветской организации), что же до антисоветских разговоров, то мне свою невиновность в противовес показаниям Али доказать не удалось. Тем не менее я был уверен, что на суде я благодаря свидетелям, о которых я упоминал на следствии, смогу легко доказать свою правоту. Но, увы, суда не было, и я оказался осужден заочно на восемь лет как сын белоэмигрантов (откуда такая чепуха?) и социально опасный элемент, как указано в приговоре Особого совещания при НКВД СССР. <...>

Милый Ирцус, прежде чем мне писать жалобы и кассации, необходимо, чтобы выяснилось в ту или другую сторону дело мамы и Доды, а также необходимо повидать тебя и поговорить с тобою лично. Я со своей стороны подам заявление о свидании, но это оформляется очень долго, и, кроме того, я не знаю точно, имею ли я уже право просить об этом, т. к. я еще недавно в лагерях, поэтому ты обязательно добейся через ГУЛАГ в Москве разрешение на свидание, кажется, это не очень легко, но я думаю, что ты со своей настойчивостью добьешься этого. В крайнем случае есть еще один путь — это приехать в Межоч, в управление 5 отделения Севжелддорлага и добиваться там, уже на месте, но это только в крайнем, ибо можешь прокатиться даром и уехать ни с чем. В общем насчет этого будет видно в дальнейшем, как быть. Вот, кажется, и все, что касается деловых вопросов. Что касается мамы и Доды, то, насколько я знаю, надежд на благоприятный исход у меня лично нет никаких.

Милый, милый Ирцус, теперь я хочу с тобой поговорить, как с моей любимой, родной, незаменимой женушкой. Кис, если б ты только знала, сколько я думаю о тебе, утром рано-рано, когда ты там, в Москве, еще спишь и спит наш Николушка. Я, идя на работу, находясь в тайге, мысленно нахожусь с тобой. Веду с тобой подчас целые беседы, многое тебе рассказываю, расспрашиваю тебя о Коле и я ясно представляю себе твои ответы, слова, выражение твоего лица при этом. То же самое на работе, когда во время краткого отдыха садимся на пенек закуривать и начинаю мечтать о вас, мои близкие, мои родные. Об этом стыдно признаться, но такой близкой и необходимой, как теперь, ты мне не казалась никогда. Кис, милый, мне надо сию же секунду кончать письмо, которое я посылаю с оказией, иначе оно уйдет через неделю только. Обязательно вышли мне мои трубки и несколько книг для чтения (классиков). Послезавтра у нас выходной, напишу тебе новое письмо. Целую тебя и сына крепко-крепко и всюду-всюду.

Любящий тебя Алеша.

Ариадна Эфрон

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом — 163 см, с фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедр, тонка в талии. Юная округлось ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны — без резкости — движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали сесть — и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом — смугло-бледным, матовым; светлы

и немеркнувши были глаза — зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатými веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо — никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь — сжата, реплики — формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подбываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика — и неудовлетворена — ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них — или воображала! — «искру божью» дара; в каждом таком чувала собрата, преемника — о, не своего! — самой Поэзии! — но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действительно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти — хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда — беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких — друзей, детей — требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом — «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Курила: в России — папиросы, которые сама набивала, за границей — крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее — горы, скалы, лес — языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель — юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно — холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, — плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!), относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до..., взобраться на...; радовалась более, чем купленному, «добытче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, — хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользо-

валась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт — за неизбежность его, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его — всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтילה старость.

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явном — или грубо — смешном.

Из двух начал, которым было подвластно ее детство, — изобразительное искусство (сфера отца) и музыка (сфера матери), — восприняла музыку. Форма и колорит — достоверно осозаемое и достоверно зримое — остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного — так дети «смотрят картинки», — поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» — немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась — неизменно — с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга.

При всей своей скромности знала себе цену.

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку — с тем же *чувством ответственности*, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась — острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала — только в тетрадях, любых — от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего — сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала *основное*, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии *только* сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища *то самое* слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а — подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратиться в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится *рукописью для себя одной*.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаивая: *любые*.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты — всем заботам и тяготам дня.

Ее семья

Марина Ивановна Цветаева родилась в семье, являвшей собой некий союз одиночеств. Отец, Иван Владимирович Цветаев, великий и бескорыстный труженик и просветитель, создатель первого в дореволюционной России Государственного музея изобразительных искусств, ставшего ныне культурным центром мирового значения, рано потерял горячо любимую и прелестную жену — Варвару Дмитриевну Иловайскую, которая умерла, подарив мужу сына. Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, — женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами — благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам.

Однако Мария Александровна оказалась слишком собой, чтобы служить *заменой*, сходство же черт (высокий лоб, карие глаза, темные волнистые волосы, нос с горбинкой, красивый изгиб губ) лишь подчеркивало разницу в характерах: вторая жена не обладала ни грацией, ни мягким обаянием первой; эти женственные качества не так часто сосуществуют с мужской силой личности и твердостью характера, отличавшими Марию Александровну. К тому же сама она росла без матери; воспитавшая ее гувернантка-швейцарка, женщина большого сердца, но неумная, сумела внушить ей лишь «строгие правила» без оттенков и полутонов. Все остальное Мария Александровна внушила себе сама.

Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя другого, брак с которым был невозможен, вышла, чтобы, поставив крест на невозможном, обрести цель и смысл жизни в повседневном, будничном служении человеку, которого она безмерно уважала, и двум его осиротевшим детям.

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не остывшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, пришедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице.

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и *поняла* в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом — *чужеродности* самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности — собственной своей; этого необычайного сплава мятежности и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не уместаясь в общепринятых тогда рамках. Мо-

жет быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны.

Так или иначе, несовместимость их характеров привела к тому, что Валерию по решению семейного совета, возглавлявшегося ее дедом, историком Иловайским, поместили в Екатерининский институт «для благородных девиц», среди которых она обрела многочисленных наперсниц; Андрей же воспитывался дома; он с Марией Александровной ладил, хотя настоящей душевной близости между ними так и не возникло: он в этой близости не нуждался, Мария Александровна на ней не настаивала.

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным — на всю жизнь, так до конца не открывшись ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей.

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдыхавшей с ней душою; Асю можно было *просто* любить. В старшей, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки — спутники таланта, свои вершины и бездны — плюс собственные Маринины! — и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и это было материнской любовью и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим — столь безнадежная! — во имя самого будущего... Борясь с Мариной, мать боролась за нее, — втайне гордясь тем, что не может одержать победу!

Причин тому, что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сблизились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой материнская нежность и снисходительность доставались так легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых она могла им обогатиться, и в ее стремлении к главенству — над равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более слабыми, и в том, наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного развития, попросту была неинтересна младенческая Асина несамостоятельность. Лишь перегнав самое себя во внутреннем росте, перемахнув через двухгодичную разницу в возрасте (равноценно взрослому двадцатилетию!) — стала Ася Марининым другом отроческих и юных лет. Ранняя смерть матери еще более объединила их, осиротевших.

В весеннюю свою пору сестры являли определенное сходство — внешности и характера, основное же отличие выразилось в том, что Маринина разносторонность обрела — рано и навсегда — единое и глубокое русло целенаправленного таланта, Асины же дарования и стремления растекались по многим руслам, и духовная жажда ее уто-

лялась из многих источников. В дальнейшем жизненные пути их разошлись.

Искренне любившая отца, Валерия вначале относилась к его младшим дочерям, своим сводным сестрам, с равной благожелательностью; приезжая на каникулы из института и потом, по окончании его, она старалась баловать обеих, «нейтрализовать» строгость и взвисимость Марии Александровны, от которой оставалась независимой, пользуясь в семье полнейшей самостоятельностью, как и ее брат Андрей. На отношении Валерии Ася отвечала со всей непосредственностью, горячей к ней привязанностью; Марина же учуяла в нем подвох: не отвергая Валериных поблажек, пользуясь ее тайным покровительством, она тем самым как бы изменяла матери, ее линии, ее стержню, изменяла самой себе, сбиваясь с трудного пути подчинения долгу на легкую тропу соблазнов — карамелек и чтения книг из Валериной библиотеки.

В Маринином восприятии сочувствие старшей сестры оборачивалось лукавством, служило Валерии оружием против мачехи, рашатывало ее влияние на дочерей. С Марининого осознания бездны, пролегающей между изменой и верностью, соблазном и долгом, и начался разлад между ней и Валерией, чья кратковременная и, по видимому, поверхностная симпатия к сестре вскоре перешла в неприязнь, а впоследствии — в неприятие (характером — личности) — в то самое непростое не только недостатков, но и качеств, на котором основывалось ее отношение к мачехе.

(Валерия была человеком последовательным, разойдясь с Мариной в юности, она никогда больше не пожелала с ней встретиться, а творчеством ее заинтересовалась только тогда, когда о нем заговорили вокруг; заинтересовалась накануне своей смерти и десятилетия спустя — Марининой. С Асей, с Андреем и его семьей общалась, но — соблюдая дистанцию.)

Ивану Владимировичу все его дети были равно дороги; разногласия в семье, для счастья которой он делал (и сделал) все, что мог, глубоко огорчали его. Отношения между ним и Марией Александровной были полны взаимной доброты и уважения: Мария Александровна, помощница мужа в делах музея, понимала его одержимость в достижении многотрудной цели его жизни и его отвлеченность от дел домашних; Иван Владимирович, оставаясь чуждым музыке, понимал трагическую одержимость ею своей жены, трагическую, ибо, по неписаным законам той поры, сфера деятельности женщины-пианистки, каким бы талантом она ни обладала, ограничивалась стенами собственной комнаты или гостиной. В концертные залы, где фортепьянная музыка звучала для множеств, женщина имела доступ только в качестве слушательницы. Наделенная даром глубоким и сильным, Мария Александровна была осуждена оставаться в нем замкнутой, выражать его лишь для себя одной.

Детей своих Мария Александровна растила не только на сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не изменяющее человеку, вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских елок, дала им в

руки лучшие в мире книги — те, что прочитываются впервые; возле нее было просторно уму, сердцу, воображению.

Умирая, она скорбела о том, что не увидит дочерей взрослыми; но последние слова ее, по свидетельству Марины, были: «Мне жалко только музыки и солнца».

Ее муж. Его семья

В один день с Мариной, но годом позже — 26 сентября ст. ст. 1893 года — родился ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон, шестым ребенком в семье, где было девять человек детей.

Мать его, Елизавета Петровна Дурново (1855—1910), из старинного дворянского рода, единственная дочь рано вышедшего в отставку гвардейского офицера, адъютанта Николая I, и будущий муж ее, Яков Константинович Эфрон (1854—1909), слушатель Московского Технического Училища, были членами партии «Земля и Воля»; в 1879 году примкнули к группе «Черный передел». Познакомились они на сходке в Петровском-Разумовском. Красивая строгой и вдохновенной красотой черноволосая девушка, тайно приехавшая из Дворянского Собрания и одетая в бальное платье и бархатную накидку, произвела на Якова Константиновича впечатление «существа с иной планеты»; но планета оказалась у них одна — Революция.

Политические взгляды Елизаветы Петровны, которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П. А. Кропоткина. Благодаря ему она стала — еще в ранней юности — членом I Интернационала и твердо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в ее судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть.

Яков Константинович и Елизавета Петровна выполняли все, самые опасные и самые по-человечески трудные, задания, которые поручала им организация. Так, Якову Константиновичу, вместе с двумя его товарищами, было доверено привести в исполнение приговор Революционного комитета «Земля и Воля» над проникшим в московскую организацию агентом охраны, провокатором Рейнштейном. Он был казнен 26 февраля 1879 года. Обнаружить виновных полиции не удалось.

В июле 1880 года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по неизбежным его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они обвенчались и провели долгих семь лет. Первые их дети — Анна, Петр и Елизавета — родились в эмиграции.

По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко:

народовольческое движение было разгромлено, друзья — рассеяны по тюрьмам, ссылкам, чужим краям. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента — не более. Работа была безрадостной и бесперспективной, а малый оклад едва позволял содержать — кормить, одевать, учить, лечить — все прибавлявшуюся семью. Родители Елизаветы Петровны, пожилые, немощные, жили отъединенно и о нужде своих близких попросту не догадывались; дочь же о помощи не просила.

При всех повседневных трудностях, при всех неутешных горестях (трое младших детей умерли — Алеша и Таня от менингита, общий любимец семилетний Глеб — от врожденного порока сердца) семья Эфронов являла собой удивительно гармоническое содружество старших и младших; в ней не было места принуждению, окрику, наказанию; каждый, пусть и самый крохотный ее член, рос и развивался свободно, подчиняясь одной лишь дисциплине — совести и любви, наипросторнейшей личности, и вместе с тем наистрожайшей, ибо — добровольной.

Каждый в этой семье был наделен редчайшим даром — любить другого (других) так, как это нужно было другому (другим), а не самому себе; отсюда присущие и родителям, и детям самоотверженность без жертвоприношения, щедрость без оглядки, такт без равнодушия, отсюда способность к самоотдаче, вернее — к саморастворению в общем деле, в выполнении общего долга. Эти качества и способности свидетельствовали отнюдь не о «вегетарианстве духа»; все — большие и малые — были людьми темпераментными, страстными и тем самым — пристрастными; умея любить, умели ненавидеть, но — умели и «властвовать собою».

В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путем пойдут и старшие дети. Яков Константинович все той же работой, все в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему «гнезду революционеров». В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые товарищи родителей, и друзья молодежи — курсистки, студенты гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготавливают взрывчатку, скрывают оружие.

На фотографиях тех и позднейших лет сохранился мужественный и нежный образ Елизаветы Петровны — поседевшей, усталой, но все еще несогбенной женщины, со взором, глядящим вглубь и из глубины; ранние морщины стекают вдоль уголков губ, исчерчивают высокий, узкий лоб; скромная одежда слишком свободна для исхудавшего тела; рядом с ней — ее муж; у него — не просто открытое, а как бы распахнутое лицо, защищенное лишь плотно сомкнутым небольшим ртом; светлые, очень ясные глаза, вздернутый мальчишеский нос. И — та же ранняя седина, и — те же морщины, и та же печать терпения, но отнюдь не смирения, и на этом лице.

Их окружают дети: Анна, которая будет руководить рабочими кружками и строить баррикады вместе с женой Баумана; Петр, которому, после отчаянных по смелости антиправительственных дейст-

вий и дерзких побегов из неволи, будет разрешено вернуться из эмиграции лишь в канун первой мировой войны — чтобы умереть на родине; Вера, так названная в честь друга матери, пламенной Веры Засулич, — пока еще девочка с косами, чей взрослый жизненный путь так же начнется с тюрем и этапов; Елизавета («солнце семьи», как назовет ее впоследствии Марина Ивановна Цветаева) — опора и помощница старших, воспитательница младших; Сережа, которому предстоит прийти к революции самой тяжелой и самой кружной дорогой и выпрямлять ее всю свою жизнь — всей своей жизнью; Константин, который уйдет из жизни подростком и уведет за собой мать...

Политическая активность Елизаветы Петровны и ее детей-сратников достигла своей вершины и своего предела в революцию 1905 года. Последовавшие затем полицейские репрессии, обрушившиеся на семью, раздробили единство ее судьбы на отдельные судьбы отдельных людей. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызывает из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться. В эмиграции она лишь ненадолго переживет мужа и только на один день — последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.

В пору первой русской революции Сереже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней принимать он не мог, лова лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших — ничтожна, и мучаясь этим. Взрослые отодвигали его в детство, которого больше не было, которое кончилось среди испытаний, постигших семью, — он же рвался к взрослости; жажда подвига и служения обуревала его, и как же неспособно было утолить ее обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Сережи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно, показавшееся мальчику безмятежным, лето он провел вместе с другими членами семьи около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.

Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав — он смолчал. Горе было больше слез и слов.

В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким.

Одиночество это разомкнула только Марина.

Они встретились — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать

ей — красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все простя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, наощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, и вложил ей его в ладонь, — розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день...

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружавшей его офицерской верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно понятые идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь — в Чехию и Францию, в стан живых призраков — людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами...

В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказаниями», писем почти не было — вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это — кто знает! — судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я. уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение — ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан — и невозможен.

Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«...И все же это было совсем не так, Мариночка», — сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». «Что́ же — было?» — «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не "мы", а — лучшие

из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками — только и всего. Были битвы за «веру, царя и отечество» и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи». — «Но были и герои?» — «Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами...»

«Но как же Вы — Вы, Сереженька...» — «А вот так: представьте себе вокзал военного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — минутное облегчение, — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем, вместе со многими и многими! — не в тот поезд... Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь...»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем — по шпалам — в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ВОСПОМИНАНИЙ

Год этот остался в памяти смутным и трудным. После радости реабилитации пошло свыкание с ней, вращение в новое состояние. Для этого надо было сломать неверное, но ставшее привычным, как в тесном своем быту, так и внутри себя, отважиться шагнуть вперед, но еще вслепую, наощупь, пока глаза не приспособятся к свету, руки-ноги — к отсутствию незримых и давних кандалов. Переход из одной достоверности в другую труден даже физически; состояние неведомости испытали мы прежде Белки и Стрелки. Так или иначе, каждый из нас думал о мифическом «возвращении» в некое мифическое «домой», а значит и к тому, доарестному, довоенному, самому себе. Но *домой* вернулись немногие, к самим же себе — никто. Время не миновало ни нис, ни того прошлого, которое подспудно продолжало для нас оставаться настоящим — сегодняшним и истинным — рассудку вопреки. Истинным для нас, доживших и уцелевших. Да уж так ли уцелели дожившие, чтобы *осознанно* рассчитывать на несокрушимую ценность когда-то оставленного.

Кто распродал, а кто раздав немудрящее свое барахло, уложив в пламенеющие суриком деревянные новенькие чемоданы то, что казалось необходимым в новой жизни, вновь унося в памяти ставшие вчерашними дни, отношения, образы, с грузом прожитого ехали мы к недожитому, недоданному. Будет ли додано, будет ли дожито?

На дворе был июнь, на Енисее — ледоход; нарядный белый «Балхаш» — первый гость с материка в эту навигацию — маневрировал среди черных ангарских льдин, державших путь к Океану. День был пасмурный, холодный; бреющий ветер бросался жесткой крупкой. Заслышав наш прощальный гудок, Туруханск дрогнул, вытянулся во фрунт, чтобы напоследки предстать нам таким, каким мы годы назад увидели его впервые, потом, тускло сверкнув всеми, цвета рыбьей чешуи, оконцами, отвернулся уже отъединенно и стал, медленно сливаясь с горизонтом, отходить в прошлое.

Помню, Москва поразила своей — иного слова не подберу — округлостью. От лихорадящего, самому себе противоречащего города 37—39 годов на первый взгляд и следа не осталось.

В те годы улица Горького только еще вгрызалась в Тверскую,

шла в наступление от Пушкинской площади к Белорусскому вокзалу; по ночам против здания «Известий» тракторы рвали на части сопротивляющиеся розовые стены Страстного монастыря; на месте Арбатского метро был крытый рынок; туда, не смешиваясь с несказанной московской толпой, ходили за покупками нежно-яркие, игрушечные чужеземки, в кимоно и сандалиях-котурнах на высокой подошве: в Морозовском доме помещалось японское посольство. По всей Москве постукивали, позвякивали, поскрипывали уютные красные трамваи; их обгоняли, навсегда оставляя позади, черные отечественные автомобили «Эм-один». Трехрублевыми штрафами москвичей приучали к пешеходным дорожкам; Андреевский классик печального образа, казалось, прочно сидел на своем пьедестале.

В один прекрасный зимний вечер столица праздновала новую, сталинскую конституцию на Манежной площади, в двух шагах от зеленого Лубянского здания со слепыми часами на лбу; каждая минута на них была чьей-то последней; на площади играл оркестр НКВД — народ плясал под его надраенные медные дудки.

Москва 1955 года показалась мне внешне устоявшейся, гладкой, бестревожной. Слаженное движение толпы и транспорта приобрело стремительную плавность. Люди были хорошо и весело одеты, с улиц уходила ветхозаветность, из витрин — допотопность. Византия куполов сменилась псевдоготикой небоскребов, на всем лежал непривычный глазу и сердцу глянцеви́тый налет сытости, даже пресыщенности. По выкорчеванным нашим корням не осталось ни ям, ни рытвин — *эта* Москва по нас не плакала и не кровоточила. Она встречала нас вежливо, рассчитывалась с нами по постановлению за № ..., очень хорошему постановлению: заносила во внеочередные списки для получения жилплощади взамен изъятой, выплачивала «выходное пособие» в размере двухмесячной зарплаты, предоставляла свободу сызнова отращивать верхки и корешки. Она не раскрывала нам объятий, однако и не поворачивала спину, еще не зная, как с нами быть дальше. Уцелевшие друзья вполголоса радовались нам, уцелевшим, рассказывая и расспрашивая, невольно переходили на шепот. Они, как и мы, видимо, переживали свое состояние невесомости, но их невесомость отличалась от нашей опять же некоторой округлостью, обкатанностью, которых были лишены мы, прибывшие из края острых углов, сами — сплошной острый угол.

Как и в 1937 году, я приютилась у Лили с Зиной, в их крохотной, темной и неизменно доброй норке. Теткам и самим-то, по правде, негде было жить и нечем дышать — их вытесняли, отнимали последний воздух вещи многих людей и многих поколений, призрачные вещи, вполне реально громоздившиеся и ввысь и вширь. Все мы трое спали на старых горбатых сундуках, под угрожающе провисавшими книжными полками. В изголовье у Зины стоял железный ящик с маминым архивом, привезенным после ее гибели моим братом Муром — из Елабуги через Ташкент — и сбереженный тетками вплоть до моего прибытия. Чтобы в этот ящик засунуть хотя бы руку, требовалось каждый раз разорять многослойное Зинино гнездо, перекладывать ее постель на постель больной Лили, ставить дыбом доски, на

которых лежал матрац. Мамины тетради я доставала наугад — и ранние, и последние, где между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы записи о передачах отцу и мне, наброски безнадежных заявлений, всем, от Сталина до Фадеева, и слова: «Стихов больше писать не буду. С этим покончено». Читала их по ночам, когда затихала большая коммунальная квартира. Напрасно думала я, что когда-то выплакала все слезы — *этого* было не оплакать. И требовала вся эта мука не слез, а действий, не оплакивания, а воскрешения.

Днем я уходила — кого-то разыскивала, с кем-то встречалась, искала работу; а пепел Клааса стучал громко в сердце мое и не давал мне спокойно и пристойно разговаривать с людьми; естественно, им не внушали доверия ни моя резкость, ни внезапные приступы рабской робости, ни вскипавшие на глазах слезы, равно вызывавшиеся и чужим участием, и чужим равнодушием. Участия, впрочем, попадалось маловато; иногда в начальственных или секретарских зрочках вспыхивали искорки любопытства, но быстро угасали: от «всего этого», воплотившегося во мне и еще ни чуточку не выветрившегося, лучше было быть подальше. Не внушала доверия и убогая моя одежда, штапельные платяшки, сшитые в Туруханском «ателье», по фасону, шедшему мне шестнадцать лет тому назад, ни грубая обувь, ни рыжие чулки. Для того, чтобы одеться-обуться «как все», нужны были деньги, нужна была, следовательно, работа; для получения работы требовалось «выглядеть». А я не выглядела. Мало того, что я не владела ни той одежкой, ни тем умом, по которым встречают и провожают — не было у меня и элементарнейшей человеческой шкуры: ту, дубленую, я поспешила скинуть в Туруханске, а новая еще не выросла. Однако, прежде чем браться за мамини труднейшие дела, надо было хоть как-то справиться со своими, такими, казалось бы, несложными, учитывая и реабилитацию, и восстанавливаемые ею все и всяческие мои права... Но, приученная преодолевать непосильное, я разучилась перешагивать невысокие порожки человеческих и служебных — только-только входящих в норму — взаимоотношений. (Обо всем этом так подробно, потому что «я» тех лет была определенным явлением, то мое «я», возможно, являлось обобщением некоторых, а может быть, и многих других «я», находившихся в моем положении и подобно мне сталкивающихся в начале своего реабилитированного пути с неясностью, неопределенностью, выжиданием, с многолетней инерцией недоверия.)

НА БОЛШЕВСКОЙ ДАЧЕ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Нужно ли рассказывать советскому читателю о том, что такое тридцать седьмой год? Ответ очевиден. Но есть, пожалуй, смысл рассказать о другом: каким он виделся тогда эмиграции. Как она на него «смотрела»... Если говорить о той эмиграции, которую я немного знал, то прекрасно смотрела. Советская власть, породившая и выпестовавшая «возвращенство», поставила жесткие условия перед раскаявшимися грешниками-эмигрантами: хотите вернуться на родину — заслужите прощение, докажите делом, что вы осознали свою вину и готовы на все, чтобы ее искупить.

Как раз в это время НКВД проявляет себя в Париже прямо-таки стахановскими темпами: похищение белого генерала Миллера, убийство Рудольфа Клементы, бывшего секретаря Троцкого, убийство советского коммерческого атташе Дмитрия Навашина, порвавшего с Москвой, охота за сыном Троцкого Львом Седовым, а затем и «медицинское» убийство его, ликвидация советского разведчика-перебежчика Рейсса-Порецкого, подготовка к убийству самого Троцкого, отправка в Испанию добровольцев из эмигрантов и особенно «обезвреживание» всех тех — в рядах испанских республиканцев, — кто не желал быть простым исполнителем заданий советских «органов».

Едва ли хоть одна из этих успешно проведенных операций обошлась без деятельного участия эмигрантов. Для таких людей, как мой отчим Николай Андреевич Клепинин или друг нашей семьи Сережа Эфрон, который вошел в историю в качестве мужа Марины Цветаевой, это время стало звездным часом. Испанская война, «мокрые дела» под видом «секретных операций» — все это было для них чем-то вроде «второго Октября», как бы компенсацией за то, что первый-то Октябрь они проглядели и, хуже того, против него воевали. Куда только девался прежний Сережа, мягкий, добродушно-смешливый говорун? Откуда только взялась, казалось, забытая офицерская выправка? Недоставало ему только френча и портупеи, когда он у нас на кухне обсуждал достоинства и изъяны того или иного молодого эмигранта, посланного в Мадрид, или комментировал тоном опытного стратега сообщения с испанских фронтов, употребляя со вкусом такие слова, как «передислокация» или «второй эшелон». О конспирации почти забыли: французское правительство Народного фронта, объявившее о своем «невмешательстве» в испанские дела,

чувствовало за собой некую вину и старалось не замечать деятельности советских разведчиков на своей территории.

Между тем на нашей кухне уже гораздо реже говорилось о всемирной соборности и о судьбоносности коммунизма для осуществления русской идеи, зато много и охотно — о троцкистах, о их происках и несомненных связях с гестапо. Можно было лишь дивиться тому, как моя мама Нина Николаевна, бывшие офицеры Клепинин и Эфрон, бывший дьякон Алексей Эйсер компетентно рассуждали о непримиримых противоречиях между ленинским Третьим и троцкистским Четвертым Интернационалами. Это при том, что ни один из них никогда не читал ни строчки Ленина или Троцкого.

Именно в то время была проведена операция по ликвидации — это звучит лучше, чем убийство, — советского агента, перебежчика Игнатия Рейсса-Порецкого. Большевик со стажем, он написал письмо Сталину, обвиняя его в измене революционным принципам и узурпировании власти. Бегство и письмо были одинаково непростительными поступками, и компетентным органам было приказано с Рейссом покончить. Собственно операция была проведена близ Лозанны, в Швейцарии. Есть основания предполагать с большой степенью достоверности, что осуществила ее группа агентов, среди которых главную роль исполнял Сергей Яковлевич Эфрон.

Уже сбежав в Советский Союз, Сережа Эфрон, находясь в узком домашнем кругу, никогда не отрицал своего участия в том, что он называл «швейцарской историей», и упоминал о ней с благодушным удовлетворением. Но его дочь Ариадна Сергеевна, Аля, не переставала отрицать, что ее отец мог участвовать в каких-то преступных предприятиях. Она соглашалась с тем, что, находясь в эмиграции, ее отец работал на советскую власть, но исключительно в благородной роли бескорыстного носителя и пропагандиста ее светлых идеалов. До самой смерти в 1975 году она пыталась убедить других — и, что еще труднее, себя, — что Сережа (как она его называла) был «мечтателем в крылатом шлеме», которого ничто низменное, а тем более преступное или кровавое, просто не могло коснуться.

Тут, пожалуй, самое время ответить на вопрос, который мне неизменно задают историки и литературоведы (советские и зарубежные), изучающие биографию Марины Цветаевой, а заодно Сережи Эфрона и клепининского семейства: получали ли все они в эмиграции за верную и беззаветную службу какие-либо субсидии от советских органов разведки? А выражаясь менее изящно, были или нет *платными агентами*. Причем спрашивающий каждый раз надеется получить о меня отрицательный ответ. Рассуждение очень простое: раз *платный* агент, то презренный шпион, которого если его хозяева и расстреляли, то по заслугам; а вот *бесплатный* — он хороший человек, искренне заблуждавшийся и безвинно пострадавший от сталинских палачей. Мне же сама постановка вопроса представляется, как говорят математики, некорректной. Конечно, получали. Получали деньги от советских спецслужб и чрезвычайно этим гордились: ведь этим как бы подтверждалось, что советская родина простила своих заблудших и расквашивших сынов, поручала им деликатные и

MC

Копия.

Л Н П И С И А

Из паспорта ЛЬБОВОЙ Антонины Николаевны.

1. Время и место рождения - 1921 г. гор. Ленинград.
2. Национальность - русская
3. Социальное положение - служащая.
4. Постоянное местожительство - гор. Москва.
5. Номер паспорта - МЧ 588814.
6. Лица внесенные в паспорт владельца - сын ЛЬВОВ Дмитрий Николаевич
192 г. рождения (Свидетельство о рождении
№ 06790).
7. Кем выдан паспорт - Паспортным Отделом УРМ г. Москвы
8. На основании каких документов выдан паспорт - паспортная книжка
№ 460326.
9. Временная прописка - ст. Болшево, ул. "Новый быт" д. № 4/33 с
15 ноября 1938 года.
10. Временная прописка - Питница ул. д. № 12 кв. 4 с 5 февраля 1939 г.
по 1 апреля 1939 г.

ВЫПИСКУ ИЗ ПАСПОРТА ПРОИЗВЕЛ

Сержант государственной безопасности

/ Старовойтов /

КОПИЯ ВЕРНА:

Сотрудник опер. поручений
младше лейтенант гос. безопасности
/ Китаин /



Китаин

*Названный выше Львов Дмитрий Николаевич
Младший брат и отец тов. Сергея
Сеземан Дмитриевича Львов, мать свид.
метрической книги о его рождении.
Нач. группы АХУ НКВД СССР
Молодцова*



Выписка из паспорта Антонины Николаевны Львовой, выданная Дмитрию Васильевичу Сеземану для получения им паспорта. Внизу приписано от руки: «Названный выше Львов Дмитрий Николаевич является одним и тем же лицом по фамилии Сеземан Дмитрий Васильевич, что свидетельствует выпись из метрической книги о его рождении. Начальник группы АХУ НКВД СССР лейтенант государственной безопасности (подпись) 16 / IV-40. Печать: "Управление НКВД СССР по московской области. Упр. Раб. кр. милиции г. Москвы. Детский отдел.» Публикуется впервые.

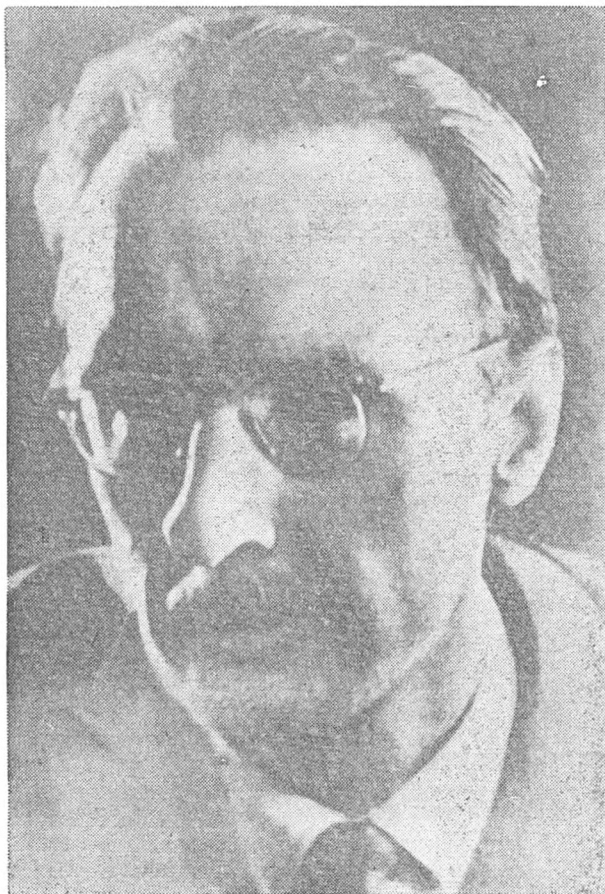
даже опасные задания и — мало того! — еще и платила им за честный труд на благо Отечества. Можно сказать так: работали *не за деньги*, но деньги, конечно, получали.

Поставим заодно еще один «цвстаеведческий» вопрос и постараемся на него ответить. Те же специалисты спрашивают: неужели Марина Цветаева могла знать, что ее муж, Сергей Яковлевич, советский агент? И опять же надеются на отрицательный ответ. Тут даже и отвечать как-то неловко: Марина Ивановна была поэтом, она не была сумасшедшей. Ну что она могла предполагать о деятельности Сережи, который нигде официально не служил, изредка помещал статейки в журналах, сроду не плативших никаких гонораров, но каждый месяц приносил домой несколько тысяч франков жалованья? Вернувшись в Россию, вернее, едва унеся ноги из Франции, где его разыскивала полиция после убийства Рейсса-Порецкого, все жили на бесплатной болшевской даче, и опять же Сережа, практически не выходя из дому, получал регулярное жалованье — до того самого дня, когда его арестовали, чтобы вскоре расстрелять. Не знала... Зачем нам нужна еще и эта ложь? И что может это «знала — не знала» отнять или прибавить ее творчеству?

Болшевская дача, на которой нас разместили, ранее принадлежала покончившему самоубийством Томскому. Места в ней хватило на два семейства: наше и Эфронов, то есть Сергея Яковлевича и Али. Марина Ивановна и Мур, ее сын и мой товарищ, еще оставались в Париже, их приезд на социалистическую родину состоялся в 1939 году. Мы же, Клепинины, были все вместе: моя мать, отчим и я.

Пока что, в 1938 году, жизнь на болшевской даче протекала странно, хоть и спокойно. Странно, потому что обитатели ее жили безбедно, несмотря на то, что из нас всех только Аля работала в редакции московского журнала «Ревю де Моску» на французском языке. Сам же Сережа предавался сибаритству, совершенно не свойственному тогдашней советской жизни. Он читал книги, журналы, привозимые Алей из Москвы, объяснял мне систему Станиславского, иногда жаловался на здоровье — не уточняя, что именно у него болело, и ждал гостей. Гости у нас не так чтобы толпились, однако бывали. Приезжала Сережина сестра, Елизавета Яковлевна Эфрон, грузная, тяжело дышавшая женщина, с невероятно красивыми карирами, отливающими золотом глазами. Она была режиссером у знаменитого чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева, который часто ее сопровождал и пробовал на нас свои новые работы.

В такие дни, вернее, вечера, болшевский дом как бы отключался от внешнего мира, в котором царили страх, доносительство и смерть, и вокруг камина возникала на несколько часов прежняя прекрасная жизнь. Моя мама, обожавшая Толстого, обнаруживала феноменальное знание текста «Войны и мира» (она точно помнила, какие в конце романа Пьер привозит всем домашним подарки из столицы) и хотя бы на один вечер выходила из того состояния подавленного ожидания конца, в котором пребывала едва ли не с первого дня возвращения на родину. Сережа Эфрон из растерянного пожилого человека превращался в милого, одаренного, интеллигентного маль-



Дмитрий Васильевич Сеземан.

чика-идеалиста, каким он был когда-то, двадцать с небольшим лет до того. А ведь случалось, что в тот же день, но несколькими часами раньше из Серезиной комнаты из-за деревянной перегородки вдруг слышались громкие, отчаянные рыдания, и мама бросалась Сережу успокаивать — я теперь часто задаю себе вопрос: ну разве могла она чем-нибудь его утешить?

...Приезд Марины Ивановны и Мура изменил обстановку в доме. Я-то, конечно, радовался появлению Мура: мне сильно недоставало общения с этим мальчиком, который был моложе меня годами, но взрослее умом, его критического, даже злого взгляда на мир и людей, его остроумных суждений. К тому же он мне привез свежие вести из Франции, по которой я успел изрядно истоскаться. А вот появление Марины Ивановны внесло не только в ее семью, но и в нашу — так как дача, хоть и просторная, была все-таки коммунальной — высокий градус напряженности. Конечно, это можно объяснить тем, что гений образует вокруг себя нечто вроде магнитного поля. Я увидел человека, совершенно не приспособленного для общения в прямом смысле слова, то есть для существования с себе подобными.

Однажды мы сидели в большой общей комнате болшевской дачи. Из чужих был, кажется, Дмитрий Николаевич Журавлев. Вдруг из кухни выходит Марина, лицо серее обычного, искажено какой-то вселенской мукой. Направляется к маме, останавливается в двух шагах от нее и говорит осипшим от негодования голосом: «Нина, я всегда знала, что вы ко мне плохо относитесь, но я никогда не думала, что вы меня презираете!» — «Марина, что вы говорите, ну что еще случилось?» — «То есть как — что?! Вы взяли мою коробку с солью, а обратно поставили не на полку, как я привыкла, а на стол. Как вы могли?..»

Остальная часть вечера прошла в судорожных усилиях всех присутствовавших успокоить Марину, убедить, что ее и любят, и чтут. Не принимал участия в этой психодраме один Мур. Он наблюдал за происходящим спокойным взором светлых глаз, не выказывая никаких чувств, даже столь привычной для него насмешливой иронии.

Мать приложила немало усилий, чтобы заставить меня смотреть на Марину Ивановну не как на соседку с трудным характером, а как на поэта. «Она большой поэт. Кто знает, придется ли тебе когда-нибудь встретить такого». В этой сфере я матери вполне доверял, тем более что были моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось в Марине Ивановне такое, что решительно отличало ее от каждого из нас. Это происходило, когда она читала стихи и на эти чтения нас не только допускала, но даже приглашала.

Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионатов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах: коротко стриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжелые серебряные запястья — все было серым. Сами стихи меня смущали, слишком они были не похожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала мать. А в верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким-то вызовом или даже

отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мною не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих — во всяком случае, в эти мгновения — был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов.

Вот так протекала жизнь в Болшеве, удивительная жизнь, какая-то нереальная; мне она тогда казалась скорее приятной, ведь не мог же я знать, что почти для всех жителей злополучной дачи это будет последним отдыхом, последней отсрочкой до погружения во тьму, по замечательному выражению Олега Волкова. Потом пришли славные чекисты и увели Алю, увели Сережу, увели Николая Андреевича, увели маму...



В. Сеземан с сыновьями Алексеем и Дмитрием. 1926 год. Публикуется впервые.

«...ТОГДА ЖИЛИ СТРАШНОЙ ЖИЗНЬЮ»

Я, Львова Софья Николаевна, дочь Николая Андреевича Клепина, точнее — Клепинина-Львова, человека, который приехал в Советскую Россию в 1937 году и целым рядом связей и знакомств (и, добавлю, общим делом) был близок с семьей Сергея Яковлевича Эфрона, то есть — Мариной Ивановной Цветаевой, Ариадной Сергеевны Эфрон и Георгием Сергеевичем Эфроном (Муром).

Ничего не могу сказать о заграничном периоде их жизни, потому что я не помню никого из тех, о ком говорю, в тех пригородах Парижа, в которых жили по соседству наши семьи. А здесь, в России, в доме в Болшево, мы поселились, как явствует из имевшегося у меня (и переданного в собственность Ю. А. Кошеля) документа, по адресу: Болшево, улица «Новый быт» (что скорее всего является опиской, и правильно надо читать: «поселок «Новый быт»), дом № 4/33. Несколько отвлекаясь, следует сказать, что приехали мы в Россию в 1937—1938 г. одновременно, как и семья Эфрона. И потому в моей памяти (без точной даты, но совершенно четко) отложилось, что в этом доме вначале появился один Сергей Яковлевич, когда же появилась (и как) Ариадна Сергеевна — я не помню. Летом же 1939 года там появилась Марина Ивановна Цветаева со своим сыном Георгием, которого в семье все звали Муром.

Дом был бревенчатым, с двумя террасами по бокам, обращенный фасадом к железной дороге. В нем было четыре комнаты, одну из которых занимала семья Эфронов.

Первое время, возможно, в силу старого знакомства и того, что дороги моего отца, моей матери и Сергея Яковлевича за рубежом не однажды пересекались, порядок в доме был таков, что питались обе семьи вместе, вечером собирались вместе в гостиной у камина. Однако и потом, когда (по причине, мне не известной) общение взрослых стало несколько менее тесным, у меня была возможность (а скорее — неизбежность, необходимость) ежедневно сталкиваться с Мариной Ивановной.

Для того чтобы рассказ был более полным, я постараюсь расчленить свои детские воспоминания (не надо забывать, что в 1939 году, во время описываемых событий, мне было десять лет; вот почему хочу сразу оговориться — я не могла в полном смысле этого слова знать наших соседей по дому, я имела возможность наблюдать их) Так вот, начнем рассказ с Марины Ивановны Цветаевой.



**Софья Николаевна Клепинина (Львова). Париж. Весна 1937 года.
Публикуется впервые.**

В общей сложности Марина Ивановна довольно редко выходила из своей комнаты и, как мне теперь кажется, будучи человеком довольно замкнутым и погруженным в себя, а точнее сказать, в свой внутренний мир, в свое творчество, производила впечатление полной отстраненности от всего, что ее окружало, словно между нею и окружающим была какая-то дистанция; словно, чтобы услышать обращенный к ней вопрос и ответить на него, ей требовалось от чего-то отключиться, затем к чему-то подключиться и только после этого ее общение с окружающими становилось, выражаясь современным языком, синхронным. Разумеется, это не было абсолютным — мне приходилось видеть Марину Ивановну и совсем не «здесьней», но все же я ее запомнила более всего именно такой. Таков для меня ее тогдашний образ. И в такие моменты Марина Ивановна казалась и холодной, и надменной: она могла смотреть поверх вашей головы зеленатыми и вроде бы прозрачными глазами.

Она была скорее всего среднего роста, во всяком случае, наверняка не высокая, русоволосая (с довольно обильной сединой). Я не помню ее без папиросы (разве что за обедом), а так она даже над кресинкой стояла обычно курая.

Все мы, кто помнит ее в то время (а это и мой старший брат Алексей Васильевич Сеземан, и его тогдашняя жена Ирина Павловна Горошевская), сходимся на том, что ходила она в платье серого цвета, у нее была какая-то шаль, которая вечерами накидывалась поверх этого платья.

То время было началом самого страшного и трудного периода ее и без того нелегкой жизни (страшным тот период был для всех нас), скорее всего — то было время начала ее конца. Так или иначе, мне тогда ощущалось в ней что-то тоскливое (теперь это ассоциируется у меня с ее же строчками, посвященными Блоку: «проходил... замораживая закаты пустотою безглазых статуй»). Вот так и осталась у меня в памяти эта какая-то ее «безглазость».

Надо, говоря в том времени, все время «держат в уме» то обстоятельство, что в этот период уже давно шли аресты людей, приехавших из-за границы (да и очень многих «заграницы» в глаза не видевших), все это отнюдь не было секретом ни для кого — ни для моих родителей, ни для Марины Ивановны. И то, что каждого из них в любой день это могло коснуться, — знал каждый взрослый. Этого не знали только мы — дети. А взрослые не только знали — ждали этого.

А мое воспоминание о «тоскливой» Марине Ивановне связано, видимо, не только с тем ожиданием, а с уже совершившимся — с арестом Али (Ариадны Сергеевны) и затем Сергея Яковлевича.

Во всяком случае, я видела ее в то время, когда многое сплеталось (и, как оказалось, — трагически сплеталось) в ее судьбе: встреча с Родиной и тяжесть этой встречи, прямо скажем, неласковой (в неподходящее время вернулась она в Россию). Еще раз отвлекаясь в сторону, скажу: я не согласна с Анастасией Ивановной, утверждающей, что причиной смерти Марины Ивановны был только Мур. Скорее всего, в ее смерти (кроме простого стечения обстоятельств) была

виновата наша история и наша Родина, иными словами, — каждый из нас, русских.

Я не очень уверена, что должна рассказать все, что помню о Цветаевой. Марина Ивановна была человеком довольно трудного характера, довольно вспыльчивым. И я не уверена, есть ли смысл вспоминать (а главное — говорить) о мелочах быта. Я думаю, от чего вспыхивала Марина Ивановна и каковы были конфликты, — от знания этого ни сама Марина Ивановна, ни обстоятельства той ее жизни яснее не станут. Поэтому мне не хочется (не потому, что я не хочу сказать правду, да и кто знает, что есть правда о человеке) говорить о том, что было за пределами Цветаевского мира, а быт для нее всегда был — «за».

Самое яркое мое воспоминание о Марине Ивановне — гостиная, о которой я говорила выше, с окнами на железную дорогу; у одного из них стоит Марина Ивановна в очень характерной для нее позе: сложив на груди руки (с папиросой в правой) и даже чуть обхватив себя за плечи руками, словно поеживаясь; в доме тишина, видимо, никого, кроме нас двоих, нет (это случалось нередко, ибо я не помню, чтобы Марина Ивановна уезжала из дому, в отличие от остальных взрослых). Итак, тишина, сумерки, свет в комнате еще не зажжен, камин тоже не горит; Марина Ивановна стоит у окна впол-оборота — я на фоне стекла вижу ее профиль, — но смотрит она в окно. Что-то очень сиротливое, холодное, неуютное...

Чтобы не пропустить ничего из запомнившегося мне во внешнем облике Марины Ивановны, повторим еще раз. Среднего роста, волосы с проседью, но лицо не запомнилось мне старым, морщинистым; лоб вспоминается чистым. Всегда одно и то же серое платье, из украшений — широкий браслет на левой руке. Походка мне вспоминается легкой. Во всяком случае в моей памяти ее появлению в гостиной шаги не предшествовали, она появлялась бесшумно. Хотя и не помню ее походки на улице, когда человек идет куда-то с определенной целью, да еще торопясь. Но дома я ее шагов не запомнила. Речь чуть-чуть напевная, на звуке «эс» она чуть-чуть присвистывала. Правильная чистая русская речь (она свободно говорила по-французски, а возможно, знала и другие языки — я не могу сказать), в которой совершенно отсутствовали вульгаризмы и характерные для русской эмиграции в Париже обороты типа «Возьмем метро».

Читающим эти мои строки хочу еще раз напомнить — я никогда не знала Цветаеву, я ее видела. И общение наше в основном ограничивалось проблемами, что готовить на обед, надо ли перед едой мыть руки, куда ушел Мур и т. д.

И еще одно замечание о том, какой я внешне помню Марину Ивановну. В то время она не употребляла косметики, и потому лицо ее, вероятно, было броским для человека взрослого, думающего. У меня не осталось ярких воспоминаний о ее внешности. И как это ни странно звучит, как ни противоречит теперешнему моему мнению о Цветаевой, когда она иной раз казалась какой-то серой, незаметной, ничем в глаза не бросающейся. Может быть, еще и потому, что я не видела ее такой, какой видели ее другие — чем-то увлеченной, о чем-

то спорящей, просто кого-то любящей и т. д. И потому в воспоминаниях моих внешне она неярка и обыденна. Но вот профиль ее (тот, который я запомнила на темном стекле) был прекрасен: тонкий, одухотворенный, какой-то летящий (абсолютное несоответствие моему воспоминанию о ее облике в целом).

Теперь о Сергее Яковлевиче Эфроне. Воспоминания о нем у меня гораздо более четкие. Начать с того, что внешность у него была яркая. Мне кажется, что у него были ярко-синие глаза (Ирина Павловна говорит — серые), большие, лучистые и буквально излучающие добро, свет. Впечатление красоты создавала скорее верхняя часть его лица — благородный лоб, глаза, о которых я уже сказала, какие-то детские даже, оттененные черными ресницами и черными бровями (хотя он был уже сед в то время). А вот челюсть нижняя, подбородок — были тяжеловаты. Но это не бросалось в глаза, не портило его лица, вообще, по-моему, не замечалось. Главное в нем были его глаза, в полном смысле слова являвшиеся зеркалом его прекрасной души.

Мое отношение к нему? Мимо комнаты Марины Ивановны (когда она была в ней) я старалась пройти незаметно, чтобы лишний раз не попасться ей на глаза — ее я побаивалась. Но вот когда возвращался из города Сергей Яковлевич — мы мчались ему навстречу. Эта чисто детская (видимо) разность отношений к этим двум людям тем не менее в какой-то степени характеризует их самих. Как я теперь вспоминаю, Марина Ивановна целыми днями бывала дома, Сергей же Яковлевич (как мне кажется) каждый день уезжал из дому. Но тем не менее он с нами очень много возился. И что интересно — я не помню его в дурном настроении, видимо, он всегда умел держать его при себе. Он принадлежал к числу не только общительных, добрых, но и очень неэгоистичных людей, никогда не торопящихся переложить свои тяготы (как физические, так и моральные) на плечи соседа или ближнего своего.

Поэтому, наверное, я помню его только улыбчивым, смеялся он, немного закидывая голову. Играл он с нами — детьми и молодежью — много. Это были и какие-то не то живые картины, не то шарады с переодеванием.

Я совершенно не помню, как он был одет. Я просто по сегодняшний день вижу его улыбку, его глаза. Для меня он — сама жизнь. Его доброта и мягкость удивительно передавались окружающим. Во всяком случае, любые наши конфликты он мог понять, разобраться в них, как-то смягчить. Марина же Ивановна, когда конфликт оказывался слишком шумным, раздражал ее, могла просто прикрикнуть; моя мать могла спокойно сказать: «Выйди вон»; а вот Сергей Яковлевич сохранял в себе очень много детского и потому (как мне кажется) он был нам ближе всех остальных взрослых.

О Муре вспоминать намного сложнее, прежде всего потому, что мне не хотелось бы так уж во всеуслышанье говорить о том, что отношения его с матерью были очень сложными. Я беру на себя смелость, вопреки многочисленным свидетельствам людей, хорошо и

долго знавших Марину Ивановну, утверждать, что на моих глазах нежной с сыном она никогда не была. Скорее уж наоборот.

Тут никак нельзя упускать из виду одно обстоятельство, о котором я уже говорила. Люди, которые на очень короткое время слегка коснулись моей жизни в далеком теперь уже детстве и о которых я вам рассказываю, тогда жили страшной жизнью, полной потерь (всяческих — потерь надежд и иллюзий, потерь родных, близких и дальних людей, потерь веры и устойчивости жизни и т. д.). И потому, скорее всего, были в то время не такими, как обычно. И отношения между ними, вероятно, были тоже не совсем характерными для них. Поэтому, возможно, мои воспоминания разнятся со многими другими (не говоря уж о том, что я отнюдь не претендую на абсолютную память и истинность того, что вспоминается).

Но так или иначе, отношение Мура к матери иной раз казалось мне прохладным. Надо, правда, сказать в его оправдание, что в то время Марина Ивановна нередко бывала с ним и резка, и несправедлива, часто вспыхивала из-за каких-то мелочей, а то и вообще без видимого повода. И воспринималось это Муром в штыки. Тут надо повторить то, что я писала в письме к Анастасии Ивановны: в двух наших семьях параллельно как бы существовали два мира — мир взрослых, полный страха и тревоги, напряжения и попыток скрыть это напряжение, и мир детей, обо всех этих страхах и тревогах понятия не имевших (так, например, от нас: меня, Мура и брата Дмитрия — скрыли факт ареста Али; прозрение пришло после ареста Сергея Яковлевича. И надо сказать, что для Мура это прозрение было ужасным. Меня такой же ужас ожидал несколько позднее). И потому миры эти, все время пересекаясь, часто переставали понимать друг друга.

Короче говоря, это был трудный и во многом позорный период в истории нашей страны, он был трудным в жизни многих людей, а особенно в жизни тех, кто принадлежал к кругу семей типа нашей и Эфронов.

Итак, я повторяю — отношения Мура с Мариной Ивановной уже тогда были трудными, он часто обижался на нее, а иной раз даже проскальзывали в его отношении к ней и нотки какого-то пренебрежения, скорее всего — пренебрежения к ее нервозности, несдержанности, к тому, что при нашем непонимании состояния взрослых казалось нам вздорным, дурными чертами характера и т. д., тогда как было это просто крайней измотанностью и усталостью. Теперь-то я это понимаю, а вот тогда...

В Муре было странное сочетание хрупкости и силы, и мне думается, что в его матери оно тоже было (недаром они вообще были похожи). Были в Марине Ивановне, думается, и какие-то области духа, в которых она оказывалась человеком необыкновенно мужественным. И, в противовес этому, иной раз в жизни обыденной она могла быть до смешного слабой. Точно так же слабым оказывался иной раз и Мур в стычках с матерью, которые частенько выбивали его из привычной колеи.

Он был увальнем, и в характере его порой проскальзывало Се-

режино добродушие. Но тем не менее уже тогда чувствовался в нем тот материн эгоизм, который свойствен часто натурам талантливым. Он, как и мать, мог не замечать окружающего, смотреть поверх вашей головы, не видя и не слыша вас. Словно куда-то проваливался неожиданно на ваших глазах. И возвращаясь потом из этого «провала», вроде и сам бывал удивлен: где он был и где он есть? В матери эта черта была отчетлива, в сыне — еще только намечалась.

Он был необыкновенно любознателен в определенной области — искусстве. Он не пропускал ни одной незнакомой книги, попади она ему в руки. Эта страсть очень сближала его с моим средним братом — Дмитрием. Но не надо думать, что в свои четырнадцать тогдашних лет Мур был вундеркиндом. Нет. Обыкновенные детские игры были ему не чужды (и я сильно подозреваю, что Сергей Яковлевич частенько бывал «заводилой» всяких игр шумных, подвижных, потому что его беспокоила склонность сына к полноте). Хотя созерцательное начало (материно, вероятно) было в нем достаточно сильно. И был он внешне, в смысле физическом, несколько с ленцой, что иной раз раздражало Марину Ивановну. Надобно обязательно подчеркнуть одну деталь. Это сейчас, в наш век акселератов, нам кажется, что интересы Мура были необыкновенны. В принципе же для его круга, для той среды, в которой он родился и вырос, его довольно обширные знания искусства, философии, истории — было нормой.

Уже после того, как была сделана магнитофонная запись, которой я руководствуюсь в этих своих записях, я говорила о Муре со старшим братом Алексеем. И не могу не передать одну рассказанную им деталь. После осени 1939 года Алеша встретился с Муром в Москве, скорее всего в 1943 году. Вот его примерные слова: «Я не узнал Мура в лицо. Но мое внимание остановил спокойно, неторопливо, раскованной походкой идущий человек в типичной толпе той поры: суетливой, куда-то спешащей. Он был прилично одет, отнюдь не худ, и внимание останавливал хороший цвет лица. (От себя добавлю: все это — несмотря на лишения и голод, который Мур испытывал точно так же, как та самая толпа, из которой он «выпадал»).

Это «выпадение» из окружающего тоже было в нем от матери. Помните: «Что же мне делать, слепцу и пасынку?» (цитирую по памяти).

Был Мур талантлив вне всякого сомнения, и талант этот был наследием матери (думаю, что способности разного рода: рисование, легкий юмор, живость речи — от отца). В нем было то, что в старину называли «искрой божией», то есть умение видеть то, что не видно другим.

Ариадна Сергеевна Эфрон? Боюсь говорить о ней. Во-первых, меньше всех знала ее. Во-вторых, никогда не испытывала к ней ни малейшей симпатии, чтобы не сказать больше. В моем восприятии она осталась человеком неприятным, холодным, несколько высокомерным. Мое нежелание говорить об Ариадне Сергеевне Эфрон несколько оправдывается и тем обстоятельством, что, в отличие от всех остальных членов этой семьи, она прожила достаточно долгую жизнь, которой было много свидетелей, знавших Алю гораздо дол-

ше и неизмеримо лучше меня. Они пусть и расскажут о ней. Я же считала своим долгом рассказать о Сергее, Марине и Муре именно потому, что мало, очень мало уже осталось людей, могущих это сделать.

А. И. Цветаевой

Уважаемая Анастасия Ивановна!

Мысль о том, что надо бы написать Вам, возникла у меня еще несколько лет тому назад, когда впервые прочла Вашу первую книгу «Воспоминания». Однако подумалось, что слишком мало и кратко-временно знала я Марину Ивановну и ее семью, показалось неудобным беспокоить Вас. Сегодня мне в руки попали, наконец, прошлогодние номера журнала «Москва» с извлечениями из второй Вашей книги, и желание сказать Вам несколько слов о Муре и Марине Ивановне пересилило неловкость писания незнакомому человеку. Впрочем, после знакомства с Вашими книгами Вы для меня человек и знакомый, и близкий. Другое дело — я для Вас.

На стр. 136 журнала «Москва» № 5, 1981, Вы пишете: «...все вместе пробыли два месяца, с июня 1939-го по август, в августе уехала Аля, жили на даче — троим; в октябре выбыл Сережа».

Жили на ст. Болшево, на улице с дурацким названием «Новый быт» (дом № 4 (33)). Это была не дача, а бревенчатый одноэтажный дом, нелепо вытянутый в длину (параллельно улице), но стоящий в глубине участка, никак не обработанного и потому производящего впечатление просто огороженного забором участка леса. С обеих торцов дома были застекленные веранды, с каждой из которых вели двери внутрь. В центре дома была расположена гостиная с камином, с окнами в сторону улицы. На противоположной окнам стороне были две комнаты; из гостиной по направлению к торцам дома было тоже два выхода (входа) и далее симметрично с каждой стороны располагались еще две комнаты. Жили в доме две семьи: Сергея Яковлевича Эфрона и Николая Андреевича Клепинина-Львова, который был моим отцом. Гостиная и кухня были общими.

Мои родители знали Марину Ивановну и Сергея Яковлевича еще в Париже, но я там их не помню. Приехали мы в Советский Союз почти одновременно (только мой старший брат Алеша приехал раньше, едва ли не вместе с Алей; во всяком случае до нашего приезда они были связаны одним делом). Мы провели на даче зиму 1938—1939 гг. Я помню, что Эфроны приехали позднее, однако мне почему-то казалось, что они уже жили вместе с нами весной 1939-го. Возможно, конечно, что я путаю — мне в то время было около десяти лет, вроде бы должно все запечатлеться достаточно точно в мозгу, но хлынувшие в конце 1939 года события, которые оставили меня сиротой и на долгие годы изгоем, заслонили в моей голове и душе очень многое, что было до этого.

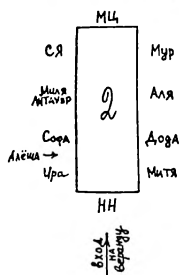
Мы дружили с Муром, хотя он был старше меня. Дружба эта, думаю теперь, была для него вынужденной — по приезде каждому из

Лист 2 Спецификация:

- 4 - широкая черевянная лавка (некрашенная) на ней в бельевой корзине спал Николай
- 2 - стол (сейчас у Атрохиных) и 10 стульев с прямой высокой спинкой с п/мягким кожаным сидением; 3 - широкая тахта (пружинный матрас) на низких ножках
- 5 - стул
- 6 - кресло
- 7 - стопка чемоданов (выше стола)
- 8 - кровати дерев. с низкими спинками, пружин. матрасом
- 9 - платяной шкаф с зеркалом снаружи; 1-створчатый.
- 10 - тумбочка.
- 11 - туалетный столик со скамеечкой (мягкой)
- 12 - платяной шкаф (больше размером, чем № 9) с зеркалом, 2-х створчатый
- 13 - кровать без спинок
- 14 - письменный стол, однотумбовый (с настольной лампой метал.)
- 15 - комод угловой
- 16 - ящик с игрушками, типа сундучка (мягкое сидение, открывается вверх)
- 16 - тахта, как № 3, но накрытая одеялом и всегда лежала подушка
- 17 - кресло
- 18 - камин
- 19 - стол раскладывающийся и 8 стульев (как и в № 2)
- 20 - буфет (сейчас у Атрохиных) — за стеклом были книги, внизу была посуда
- 21 - кухонный столик М. И. Цветаевой
- 22 - кухонный столик Клепихиных
- 23 - плита кирпичная с чугунным верхом на 3 конфорки и на ней 2 керосинки
- 24 - раковина
- 25 - кресло (самое широкое)
- 26 - стопка чемоданов (слева - М. И., справа - Есенинских)
- 27 - шкаф с высокой спинкой, гермет. кожаный
- 28 - печь
- 29 - настенник с низкими полки
- 30 - часы настенные с круглым циферблатом (с магнитом)

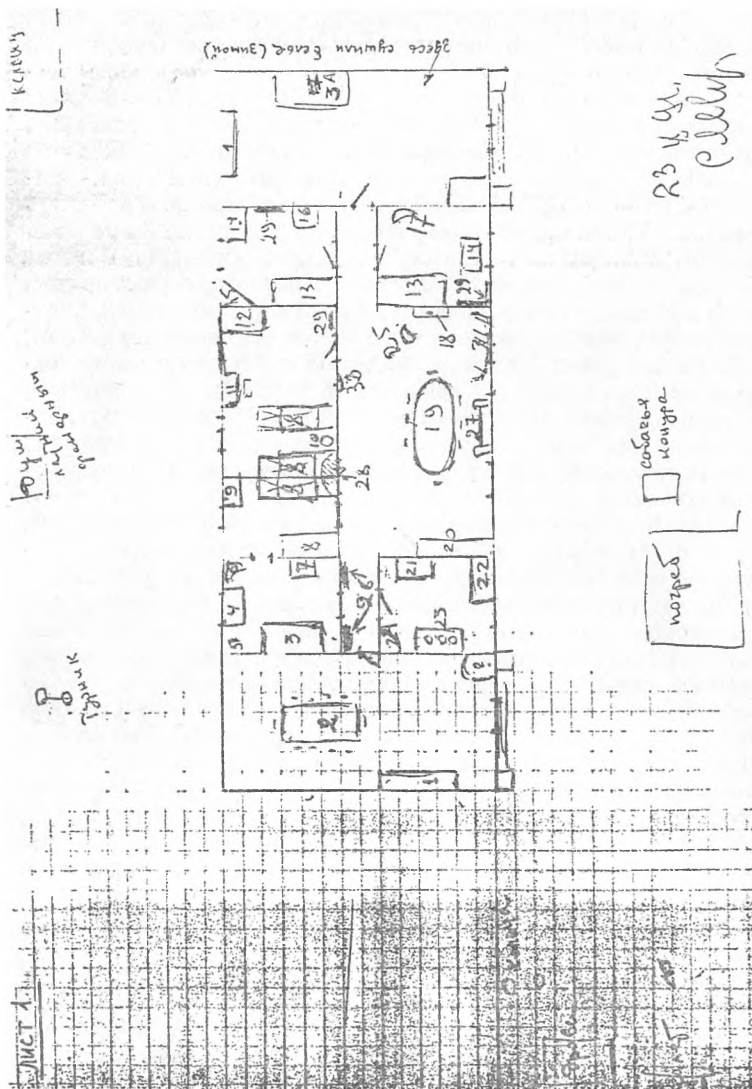


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗА СТОЛОМ НА ВЕРАНДЕ



План дома в Болшеве и расположение за столом на веранде, сделанные С. Н. Львовой. Спецификация к плану. Публикуется впервые.

Спецификация: 1 — большая деревянная лавка (некрашенная), очень тяжелая — на ней в бельевой корзине спал Николайка;
 2 — стол (сейчас у Атрохиных) и 10 стульев с прямой высокой спинкой и с п/мягким кожаным сидением; 3 — широкая тахта (пружинный матрас) на низких ножках; 4 — стол обыкновенный; 5 — стул; 6 — кресло; 7 — стопка чемоданов (выше стола); 8 — кровати дерев. с низкими спинками, пружинным матрасом; 9 — платяной шкаф с зеркалом снаружи, 1-створчатый; 10 — тумбочка; 11 — туалетный столик со скамеечкой (мягкой); 12 — платяной шкаф, большего размера, чем № 9, с зеркалом, 2-х створчатый; 13 — кровати без спинок; 14 — письменный стол, однотумбовый (с настольной лампой метал.); 15 — комод угловой; ящик с игрушками, типа сундучка (мягкое сидение, открывается вверх); 16 — тахта, как № 3, но накрытая одеялом и всегда лежала подушка; 17 — кресло; 18 — камин; 19 — стол раскладывающийся и 8 стульев (как и в № 2); 20 — буфет (сейчас у Атрохиных) — за стеклом были книги, внизу была посуда; 21 — кухонный столик М. И. Цветаевой; 22 — кухонный столик Клепихиных; 23 — плита кирпичная с чугунным верхом на 3 конфорки и на ней 2 керосинки; 24 — раковина; 25 —



кресло (самое шикарное); 26 — стопки чемоданов (слева — М.Ц, справа — Клепининых); 27 — диван с высокой спинкой, черный кожаный; 28 — печь; 29 — настенные книжные полки; 30 — часы настенные с круглым циферблатом (с маятником). Электроосвещение: в гостиной абакур, в помещениях кухни и двух веранд — голые лампочки. Полы: везде паркет, а на верандах некрашенные доски.

нас было трудно в чужой еще среде деревенских ребятишек, которые любили дразнить нас, необычно для них одетых и не могущих (а может быть — не желающих) найти с ними общие интересы. Поэтому почти вся наша жизнь проходила на участке, огороженном забором, либо в той гостиной, которая днем была в нашем распоряжении.

Теперь я попытаюсь объяснить Вам то, ради чего я взялась (хотела сказать — за перо) за машинку. Не потому, что я хочу оправдать Мура в Ваших глазах, не потому, что, как мне кажется, Вы не очень хорошо представляете себе нашу тогдашнюю жизнь. Да, в наших двух семьях Аля была арестована первой, и беда эта впервые пришла в наш дом действительно в августе 1939-го. Но ведь семей, подобных нашим, было в то время немало в Москве (и вообще в Союзе), а аресты шли давно — с конца 1938-го (я имею в виду аресты тогдашних репатриантов). Все понимали, что стихийное это бедствие, как лавина, может захватить каждого, оказавшегося на ее пути. Более того — взрослые (а это все население дома, кроме нас с Муром) были (я теперь это точно знаю) готовы к тому, что и им придется разделить судьбу многих ни в чем не повинных людей, разве только повинных в чрезмерной любви к своей Родине. Ждали каждую ночь, хотя днем старались делать вид, что все в жизни идет, как надо. Можете Вы себе представить ту атмосферу тревоги, напряженности, страха, которую тщательно пытались замаскировать деловитостью, серьезностью, занятостью? И только мы двое, повторяю, словно выпадали из этой атмосферы, ибо ощущали ее тогда только как несправедливую жестокость взрослых, замкнувшихся от нас в своем и выходящих из этого своего только тогда, когда наши беготня и веселые лица взрывали их непонятным для нас раздражением. Самым спокойным среди взрослых был, по-моему, Сергей Яковлевич. Во всяком случае, я ни разу не слышала его повышенного или раздраженного голоса. Легче всех срывалась Марина Ивановна. Я думаю, нет, неправда, я знаю, что первая полоса отчуждения между Муром и ею пролегла именно тогда — летом 1939-го. То же произошло тогда между мною и моими родителями. Это было не столь заметно, потому что я была меньше Мура и лишилась обоих родителей через месяц после ареста Сергея Яковлевича — в ноябре 1939-го были арестованы и они, и мой старший брат. Но что-то пролегло тогда между нами: жестокость, какая-то отдаленность взрослых от нас, пусть и очень любимых детей; и разное восприятие окружающего — для нас в розовых тонах, для них в беспросветно черных; а главное, мы оба не могли понять, почему так резко изменились взрослые (по малолетству нам тогда казалось, не они изменились, а изменилось их отношение к нам, ушла куда-то их любовь, их тепло к нам), и острее всего оба мы ощущали это в матерях наших. Так, видимо, душой чувствовали страх и тревогу их (за нас, наверное, в первую очередь), а умом не могли понять, что с ними случилось, почему так, за что? Я так уверенно пишу Вам все это, потому что мы с Муром тогда не один раз говорили об этом, а однажды, помню, плакали с ним вдвоем в углу за шкафом на «нашей» веранде, хотя и он был мальчиком спокойным, да и я девочкой не плаксивой.

Тем летом Мур (и я) не знал, что Аля арестована, ее отсутствие объясняли нам отъездом за какой-то (теперь уже не помню). надобностью. Но арест отца потряс Мура. Через месяц такое же состояние потрясения, оглушенности и ненависти к миру пережила и я. И смею Вас уверить, что еще долгие годы я, до того бывшая покладистым и общительным ребенком, оставалась человеком, общение с которым доставляло людям мучение, даже людям очень ко мне расположенным.

Так что, думаю, резкость, грубость, нежелание пойти навстречу матери, о которых говорили Вам люди, знавшие их после их переезда в Москву, были вызваны не столько возрастом, юношеским максимализмом, сколько явились следствием того потрясения души, которое пришлось испытать ему осенью 1939-го.

Я больше ни Мура, ни Марину Ивановну не встречала. Но знаю, что средний мой брат Дмитрий встречался позднее с Муром в Москве, когда Мур учился в Литературном институте, а мой брат — в ИФЛИ. Знаю, что перед уходом на фронт Мур заходил к Мите прощаться и подарил ему фотографию свою (голова повернута вправо, в три четверти, под пиджаком клетчатая рубашка; повзрослевший, но очень знакомый мне Мур — только рот горек до неузнаваемости; и очень похож на Марину Ивановну). Эта фотография сейчас у меня. Есть ли у Вас такая?

Вот что хотела я Вам сказать о Муре. Не знаю, надо ли повторять уже Вам известное? Он был умен, талантлив, пытлив и бесстрашен (я знала в нем бесстрашие мысли, позднее люди узнали в нем бесстрашие подвига). Было в нем удивительное сочетание силы и хрупкости. И был он похож на мать умением (манерой? привычкой?) вдруг отодвигать от себя все, что не в себе, что вокруг. Тогда, так же, как Марина Ивановна, казался холодным и надменным. И так же неожиданно вдруг выходил из своей отчужденности, оглядываясь с легким недоумением (где был?).

И уж коль скоро я все-таки написала это письмо, то не могу не сказать Вам еще одного. Поскольку мы живем не в столице, то ни вечеров, посвященных Марине Ивановне, ни чтений ее стихов у нас в городе нет. Я не литератор (журналист, и то бывший), но очень люблю поэзию, знаю, что таких поэтов, как Марина Цветаева, за всю историю России было (да и будет) всего два-три. Я не располагаю материалами (только однотомник Марины Цветаевой да книга Ваша), но все же стараюсь, как могу, рассказать о ней. Нет, это не лекции, да я перед выступлением и предупреждаю всегда, что просто хочу рассказать о том, что знаю о Цветаевой и из Цветаевой, и о своей любви к ней. И читаю ее стихи, ибо иначе — как рассказать? Выступать приходится перед самой разной публикой: в библиотеке, перед школьниками-старшеклассниками, перед работниками книжного магазина, перед участниками войны, в рабочих общежитиях... И это удивительно: люди, не только не искушенные в поэзии, но даже элементарно не разбирающиеся в русской литературе и истории, — слушают с огромным вниманием. И еще ни одного раза не было в аудитории ни шума, ни недоумения, ни нетерпения. Такова сила не толь-

ко таланта, но и мысли, личности Марины Цветаевой. Вы правы — ее читают и знают во всем мире. Но ее сегодняшняя слава — лишь миллионная часть той, которая будет принадлежать ей в будущем, ибо история русской (и, следовательно, мировой) культуры немыслима без Цветаевой, как без Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского...

Спасибо Вам за любовь к ней, за память о ней, за Ваши книги. Ибо свидетелей ее жизни — увы! — немного.

С огромным уважением и любовью к Вам.

С. Н. Львова-Клепинина

16.V.82
Волгоград



**Софья Николаевна Львова у дома в Болшеве. (Окно М. Цветаевой).
13 сентября 1982 года. Публикуется впервые.**

«...МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я ВИДЕЛА
ВСЕХ ВЧЕРА»

Я очень рано вышла замуж. Мне было 16 лет, я училась в школе, в 9 классе. Встретила очень красивого молодого человека. Он возил меня на открытой машине, дарил цветы. Короче говоря, вскружил мне голову. И я в него очень влюбилась. И мы очень скоро решили пожениться — что-то через неделю после нашего знакомства. Мои родители были этим очень обескуражены, настроены, конечно, против. И в отместку дали мне в приданое одну скатерть. С этим я и ушла из дому.

Какой был у нас брак? Сочетание несерьезного: мы могли играть в прятки или занимались чем-нибудь в этом роде. А через год у нас родился сын Николка.

В феврале 1939 года, сразу после родов, Клепинины забрали меня к себе в Болшево. День, когда меня выписывали из роддома, был очень морозным. И мой любящий муж прислал мне в роддом туфли на высоких каблуках и парижские тонкие чулки. И вот в этом виде меня со станции до дачи через сугробы тащила за шиворот моя свекровь: на станции стоял состав, пришлось выйти из машины, в которой меня привезли, и идти пешком.

Я очень хорошо помню день приезда. Топился камин в большой комнате: меня ждали. Когда развернули мальчика, меня поразили движения его рук и ног, я никогда не видела новорожденных. Мою свекровь это не удивило. Позже выяснилось, что ребенок плачет по ночам. Это мне тоже не понравилось.

С. Я. там тогда еще не жил.

Через некоторое время я уехала оттуда и во второй раз приехала уже летом. Вот во второй свой приезд я общалась и с Сергеем Яковлевичем, и с Мариной Ивановной, и с Алей, и с Муром.

Летом Клепинины на целый день уезжали в Москву. Оставались Софа и Митя. Я, в основном, целый день стояла у плиты, на руках был маленький ребенок.

В нашей компании (а я по возрасту относилась, конечно, к детям, а не к взрослым) происходили кое-какие трения, доходившие до небольших скандалов. Мы целый день играли в прятки, старались загнать Митю на крышу, отнимали у него лестницу. Однажды, несмот-

ря на его слабые легкие, закрыли Митю в погребе, захлопнули крышку и танцевали на ней. Но и получили по заслугам, когда вернулись взрослые. Однажды был курьезный случай. Играя в прятки, я залезла в собачью будку. И т. к. я после родов поправилась, то не смогла из нее вылезти. Так и ползла с будкой на спине.

Между прочим, Алексей Васильевич тоже принимал участие в этих играх. Ему было тогда 22 года. Он играл с нами в прятки, бегал, лазил на крышу. Один раз сделал вид, что с нее свалился (Алеша был длинный, когда он свесился с крыши, между его ногами и землей оставалось с полметра) и якобы потерял сознание

Вечером приезжали Нина Николаевна и Николай Андреевич — он работал в Москве, в Балчуге у него была квартира. Сережа приехал при мне. Дня его приезда я не помню, но помню, как я с ним общалась. Алю я знала до Болшева. Алексей Васильевич работал с ней в «Ревю де Моску» и познакомил нас.

Хорошо помню приезд Марины Ивановны. Было лето. Она приехала с мальчиком, и они сразу прошли в свои комнаты. У меня было непонятное любопытство. Что Цветаева—поэт я не знала, знала только, что они с сыном приехали из Парижа. И тут Нина Николаевна (она была женщина волевая и меня с первых же дней подавила) сказала мне следующее: «Ты туда не вздумай ходить. Люди только приехали. Это неприлично».

Потом вышла Марина Ивановна. Она была в сером платье, подтянутая. Со мной она особо не общалась. Я даже не очень хорошо помню Мура в это время, когда он был с ней. Марина Ивановна вошла в свою комнату, закрыла дверь — и будто ее и не было. Не показывалась. Вещей у них было немного.

Я слышала только отрывки ее стихов. «Белые лебеди» — мне это так запомнилось. Отец мой был человеком партийным, а тут я попала в совершенно другую среду.

Моему ребенку поставили корзинку на террасе. Мальчик был славенький, синеглазый, и все к нему подходили. Марина Ивановна тоже.

Летом мы все крутились на террасе (на цветаевской половине). Сергей Яковлевич проводил на ней больше времени, чем Марина Ивановна. Вторая терраса была закрыта. И только когда Софа поранила ногу (у нее была огромная флегмона), туда поставили кровать для нее. Иногда там ночевали Аля и Мур.

Сергей Яковлевич был очень светлоглазый, с добрыми глазами, смуглолицый. Он занимался воспитанием Мура. Тот был полным мальчиком. И Сергей Яковлевич следил за тем, чтобы Мур пробегал несколько раз по территории дачи.

Хорошо помню, когда мы, молодежь, собрались на террасе, Сергей Яковлевич предложил: «Давайте разыграем театральный сюжет. Представьте, что кто-то залез к вам в карман». И мы все, кто как мог, разыгрывали эту сцену.

Сегодня, когда я смотрю их фотографии — Сергея Яковлевича, Марины Ивановны, Али, Мура, — мне кажется, что я видела всех вчера.



**Ирина Петровна Горошевская и Алексей Васильевич Сеземан. 1938 год.
Публикуется впервые.**



Открытка, присланная М. Цветаевой А. Сеземану в феврале 1939 года.
«Алеше — с самыми сердечными поздравлениями и пожеланиями».
Публикуется впервые.

Ко мне они не относились серьезно, о серьезных вещах со мной не разговаривали.

На участке у нас ничего не росло. Только под окнами моей комнаты была одна лилия — ее посадила Нина Николаевна. Были сосны и все.

Для нас повесили кольца (повесил С. Я.), на этих кольцах каждый занимался, чем мог. Приходила золовка Н. Н. Зоя Сергеевна Насонова. Ее брат был знаменитым футболистом, и она тоже была очень спортивной. Вот она показывала на кольцах разные трюки.

Я не понимала тогда, что это были люди необыкновенные. Я была девочкой, у меня была своя жизнь. Я была из другой семьи, среды. В нашем доме, например, презирали балет. Считали его «пережитком», хотя мать моя была культурным человеком: это была в основном позиция отца.

Дружили тогда со спортсменами, эдакими «людьми из пятилетки», простыми и грубыми. О Есенине вообще говорили бог знает что. И о Марине Ивановне как поэтессе у нас не было разговора никогда. Уже то, что она была эмигранткой, говорило о многом.

Когда Алексей Васильевич пришел к нам в дом, отец был настроен против него: Алеша жил в эмиграции в Париже, т. е. был «несоветским человеком». Я помню такой факт: отец запретил мне оставлять Алешу там, где находился его архив. В отношениях между людьми была подозрительность.

Незадолго до этого проходила «чистка партии». Я была тогда девочкой, кое-что слышала, но понимала не все. Мы жили тогда на Садово-Триумфальной в гостинице, бывшей «Тироль». Комнаты в ней располагались по сторонам длинного коридора, и я помню, как люди сидели на вещах в ожидании своей судьбы. Хотя меня репрессии коснулись только в связи с арестом Алексея Васильевича, но друзей, родители которых прошли в больших процессах, мне в дом запрещалось водить. Так что к Марине Ивановне было соответствующее отношение. Как поэта у нас ее не знали. Только гораздо позже я поняла, какой это колоссальный поэт. Мур после смерти Марины Ивановны, когда он вернулся в Москву, часто бывал у нас на Якиманке, даже жил. И перед уходом на фронт он в знак благодарности оставил нам некоторые вещи. Но я не отнеслась к ним с той серьезностью, с которой отнеслась бы сейчас. У меня были аметистовые бусы Марины Ивановны. Она о них писала. Бусы были крупными, дымчатыми. Они лежали-лежали, а потом пропали. Сейчас я бы их хранила, как великую реликвию. Сохранились только серебряные вилки и ложки с какой-то монограммой. Эти вилки и ложки я хотела вернуть Але после ее возвращения из ссылки. Все собиралась к ней поехать, но мешали какие-то дела. И вдруг прочла, что она умерла...

Я уехала с дачи в конце лета, после ареста Али. Обо всем я рассказать не могу, разве что на том свете перед Богом. Будете знакомиться с делом — многое узнаете. Из того, что происходило со взрослыми, меня касалось только то, что было связано с моим мужем Алексеем Васильевичем Сеземаном. Все через эту призму.

Я хорошо помню Алю. У нее были хорошие руки. Крупные. Она

никогда не делала маникюра, но форма ногтей была красивая. Руки были очень рабочие. Глаза большие, навывкате, больше чем у Сергея Яковлевича.

Аля был умной и очень талантливой. С ней у меня были более близкие отношения, чем с другими членами ее семьи. Она вязала моему Николаю какие-то ботиночки.

У нее были русые волосы. Она делала небольшой пучок и подворачивала его. Одеята всегда была очень обыкновенно.*

Приходил к ней Гуревич, она его называла Мулькой, — обаятельнейший человек. Белозубый, с сухим ртом. Очень приятный человек. Потом я познакомилась с его женой, сыном. Жен у него было что-то очень много. Но у Али был с ним большой роман. Она приезжала и уезжала с ним вместе.

Ко мне он относился безукоризненно. Одно время (еще шла война, он еще не был арестован) стал бывать у меня очень часто. То 100 грамм маслица принесет, то что-то еще. У меня было много подруг, он находился среди них.

Аля приезжала, привозила продукты, какое-то время была и уезжала. Она жила у теток в Мерзляковском переулке. Я у нее там бывала, когда мы с А. В. только познакомились. Между прочим, она обещала мне сделать один подарок, но так и не сделала. И мне кажется, что это повлияло на мою судьбу. Она говорила: «Я тебе подарю серьги из слоновьего волоса: они приносят счастье». Она так это сказала, что я очень хорошо запомнила. Но так она мне их и не подарила. Через несколько лет мы с Алексеем Васильевичем разошлись.

* * *

*В ночь с 6 на 7 ноября 1938 года арестовали моего мужа Алексея Васильевича Сеземана в возрасте 22 лет. Всю ночь был обыск. Комнатка у нас была очень маленькая — 8 или 9 метров, поэтому все было перевернуто. Я была абсолютно обескуражена и очень плакала. Плакал и ребенок. И они как-то все с дворником вместе ушли, оставив все брошенным на полу.

Я, очень испугавшись, тут же поехала в Болшево. Позвонила подруге, чтобы ехать не одной, второй подруге мы оставили ребенка.

В этот день шел снег с дождем — ужасный был день. И было очень ветрено и очень холодно. Мы доехали до Болшева и пошли к той даче, где жила моя свекровь (А. Н. Клепинина-Львова). Там было пусто. И что на меня произвело ужасное впечатление: стояли голые деревья; у нас во дворе были кольца, был ветер, и они бились друг о друга. Это было страшное зрелище.

Я подошла к нашему входу (вход на клепининскую половину да-

* Текст дается по видеofilmу «145 дней». Режиссер О. Козлова, сценарист Н. Катаева-Лыткина.

чи), стала стучать. Мне никто не открыл. Тогда я подошла к другому входу. И вдруг открылась дверь, и вышла Марина Ивановна Цветаева. Она была то ли в накинутом на плечи пальто, то ли в чем-то еще, и у нее были очень растрепанные волосы из-за ветра. На меня она произвела впечатление пушкинского Мельника. Я ее спрашиваю: «Вы знаете, что сегодня ночью арестовали Алешу?» Она перекрестила меня и говорит: «Ирина, Бог с тобой. Здесь сегодня ночью арестовали Николая Андреевича».

А Нина Николаевна, жена Николая Андреевича была в тот день у своей матери Е. А. Насоновой в Москве, на Пятницкой. И ее тоже арестовали в ту же ночь. Значит, всех арестовали в один и тот же час.

Я очень плакала, и Марина Ивановна сказала: «Иди и не входи сюда». И мы с подругой ушли. Это была последняя моя встреча с Мариной Ивановной. Правда, потом ее сын Мур у нас жил, но Марины Ивановны я больше не видела.

Когда мы жили вместе летом на даче в Болшево, ко мне она относилась терпимо, неплохо. Марину Ивановну многое раздражало. У нас даже был такой случай. Я несла мимо ее комнаты кастрюльку с кашей для моего ребенка. Ручка у кастрюльки вывернулась, и каша разлилась. Марина Ивановна выскочила и бурчала ужасно, мол, нести нужно более аккуратно. Мне было очень неловко.

Вот что я еще вспоминаю. Мой муж находился в Москве, когда я жила летом в Болшеве. Это мне было не совсем приятно, потому что я была с грудным ребенком, который довольно часто кричал по ночам. И с ним было довольно много работы. Я сказала об этом своей свекрови: «Алеша все время в Москве, он мало занимается ребенком». И она ответила: «Вот он приедет, и мы с ним поговорим». Он приехал, и у нас вышел небольшой скандал. В это время вышла Марина Ивановна и сказала: «Алеша, тогда идите ко мне». И Алеша пошел на ее сторону обедать, что вызвало тоже массу недовольства. На террасе у нас стоял большой длинный стол. С одной стороны сидела наша семья, с другой — семья Марины Ивановны. И Алексей переметнулся на ее сторону. Но потом мы помирились.

После ареста Клепининых с Мариной Ивановной мы больше не встречались.

«...ОН БЫЛ НЕЗАУРЯДНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ»

БЕСЕДА ОДНОКЛАССНИЦ ГЕОРГИЯ ЭФРОНА
(ПО 7 «А» КЛАССУ КОСТИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 2)
ЛЮДМИЛЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ХАРИТОНОВОЙ
И ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ ВОЛЬФ

О. В.: В 1982 году я прочла «Воспоминания» Анастасии Цветаевой. Книга меня глубоко взволновала и заставила вспомнить свое детство. Как сейчас помню 1939 год, 7-й класс. Это был шумливый, веселый, очень дружный класс. И вот в один из осенних светлых дней — день был необыкновенный — к нам в школу пришел мальчик, наш новый одноклассник.

Внешне он отличался от наших мальчиков. Они были худенькие, тоненькие. Этот был выше почти на голову, полный, интересный, хотя красивым я бы его не назвала. Волосы у него были темнорусые. Интеллигентное лицо. Меня, как и всех, наверное, поразила не только его внешность, но и его одежда.

Мы носили пионерскую форму, она у нас всех была почти одинаковой. «Новенький» был одет в костюм: брюки с напуском, на пуговицах чуть ниже колен. На ногах кожаные краги, что меня очень удивляло. Ботинки на толстой подошве. Куртка со множеством замков, кармашков, в которых было множество ручек.

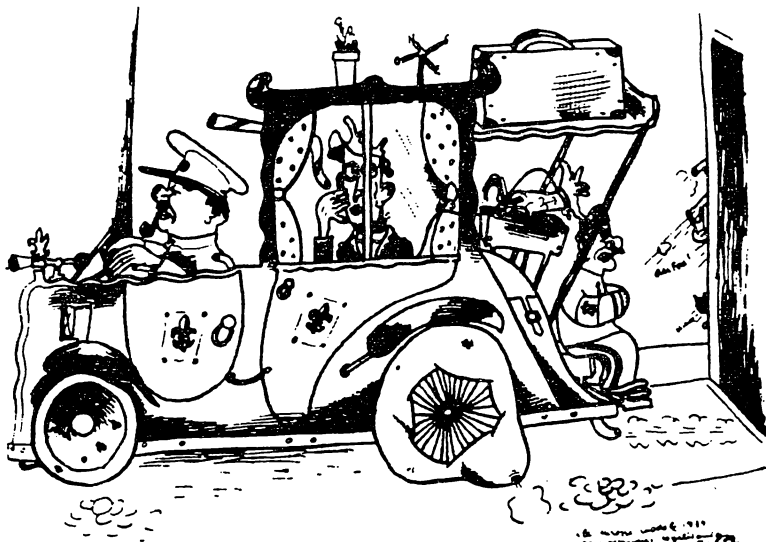
Мальчик был контактный, не дичился наших ребят: с ними у него всегда находились общие интересы. На переменах его всегда окружала стайка наших мальчишек. Он им что-то рассказывал, показывал, и все смотрели на него с любопытством. Потом я выяснила: он показывал ручки, которые мальчишкам очень нравились, и рисовал замечательные антифашистские карикатуры.

Держался он очень независимо. Казался взрослее всех нас. Мы были по-детски шумливыми, взбудораженными. А он был спокойнее, уравновешеннее, может быть, увереннее в чем-то. Во всяком случае, вел себя он свободно, и эта свобода обращения, интеллигентность импонировали даже нам, детям.

Каждый воспринимает окружающее по-своему. И я воспринимала нового ученика с точки зрения своих интересов. Как он учится? Каковы его знания? Чем увлекается? Выделялся ли он исключительными способностями в какой-либо области — сказать не могу. Не помню.

Л. Х.: А ты не помнишь, отличался ли он русским языком — литературным? У него ведь была прекрасная речь, прекрасный язык, да?

О. В.: Она у него какая-то колоритная была, очень русская. Это было удивительно. Я немножко критически относилась к его крагам, бо-



Рисунки Георгия Эфрона. 1938—1939 годы.

тинкам на толстой подошве (ну, это можно понять — тот период...). Какой-то диссонанс звучал между его внутренним сугубо русским миром, его русской речью и внешним видом. Меня всегда это немножко будоражило, что ли, зло даже брало. Вот все свое вроде, а внешность какая-то не своя.

Л. Х.: А ты не помнишь, говорил ли кто-нибудь нам, что это сын поэтессы? По-моему, мы ничего не знали об этом.

О. В.: Я точно могу сказать, что об этом мальчике мы ничего не знали: приехал ли он из Франции или еще откуда, с кем живет, где живет... Я помню, как он с шумной стайкой ребят и девочек куда-то уходил, потом появлялся.

Л. Х.: Ты же жила возле школы, попутчицей ему быть не могла. А вот мы — Люся Азарова, Олег Петров, вся компания, которая ходила в сторону линии, — были. Люся Азарова точно помнит, что он сворачивал ближе к «Новому быту» и через железнодорожный путь не переходил.

О. В.: Этого я совершенно не помню. Меня больше интересовал его внутренний мир.

Л. Х.: В отношении рисунков... Мне кажется, он и в классе рисовал легко, и приносил из дому рисунки, причем они всегда были сделаны тушью. Мне они напоминали карикатуры Бориса Ефимова — антифашистского, антивоенного содержания, прекрасно выполненные...

О. В.: Я могу вспомнить сам процесс, что ли, рисования. Бывало, прозвонит звонок, только ушел преподаватель — он сразу у стола или за первой партой. Сразу же его окружают мальчишки, и он что-то рисует. Так как я была маленькая ростом, а все стояли плотным кольцом и были гораздо выше ростом, то я не видела ничего. Слышала только возгласы удивления и страшный хохот. И помню, что он рисовал много и как-то очень быстро и... вдохновенно.

Л. Х.: А вот в отношении языков... Ведь мы в 7 классе изучали немецкий. И у нас был преподаватель немец... Из Германии.

О. В.: Венгерский немец.

Л. Х.: По фамилии Теглаш. Помнишь, какие у них были взаимоотношения?

О. В.: Да, очень хорошо помню. Дело в том, что фамилия мальчика была Эфрон, а моя Вольф. Это несколько диссонировало с «Харитоновым»... Как-то мы изучали «слабые глаголы», и я их плохо выучила. И этот Теглаш мне очень сердито сказал: «Как же это так: имея немецкую фамилию, не можете даже немецкие «слабые глаголы» выучить?»

Потом мы писали контрольную, и после нее нам стали выводить четвертные оценки.

Л. Х.: По-моему, этот мальчик месяца два только у нас и был.

О. В.: Не больше... И Эфрон получил четверку по немецкому языку. Я помню, сидела затаив дыхание: слушала свою отметку, потом отметки ближайших подруг. И думаю: а что этот «иностранец» получит? И вдруг — четверка! И тогда он встал и очень спокойно — у нас никто так не делал — сказал: «Немецкий язык я знаю хорошо. И то, что Вы мне поставили четверку, считаю совершенно правильным». А преподаватель ответил: «Вы читаете и знаете разговорную речь. С этим я

не спорю. Но язык надо изучать глубоко, в том числе грамматику. А в грамматике Вы не сильны».

И я подметила разницу: мы никогда не смогли б вступить в разговор с преподавателем, тем более оспаривать оценку. То ли у нас было недостаточно знаний, то ли мы были по-другому воспитаны... кто его знает! И вот это умение защищать свою правоту меня поразило.

Л. Х.: Я что-то не могу припомнить, какие успехи у него были по литературе, по русскому языку...

О. В.: Я не запомнила, как он учился по отдельным предметам. Учился он, может быть, так же, как все. К числу выдающихся учеников я бы не могла его отнести.

Мы к нему очень хорошо все относились, не чурались, приняли в свой дружный и чудесный класс. А что класс был чудесный — это ясно! Сколько наших мальчиков на фронте погибло! Сколько из них живыми вернулось?!

Л. Х.: Два — три...

О. В.: Только Николай Перевезенцев остался, который в ансамбле танцевал. Остальные погибли. Это уже о многом говорит. Поэтому, может они так живо интересовались его антифашистскими карикатурами — чувствовали, что и им придется воевать с фашизмом.

А вот как Эфрон ушел, я не помню. Ушел и ушел. Может, по детскому легкомыслию не запомнила, а может, так скрытно было сделано, чтобы мы не знали. И только теперь, когда я прочла эту книгу, поняла, какая это была семейная трагедия, какое большое горе! Это касается не только самой семьи, но и всех, кто любит творчество Цветаевой.

Вот что я хотела еще сказать. Я живу в Гродно. Это Западная Украина, от Москвы далеко. Но в Гродно очень многие знают, любят стихи Цветаевой. Книгу ее достать очень сложно, читают по очереди, по записи. И когда я пришла в библиотеку и сказала, что училась с Георгием Эфроном, ко мне появился какой-то повышенный интерес, наперебой просили рассказать все, что помню. Казалось бы, за многие годы все забыто, затянута каким-то илом... И вдруг — очистилось от тины, засверкало, как бриллиант!

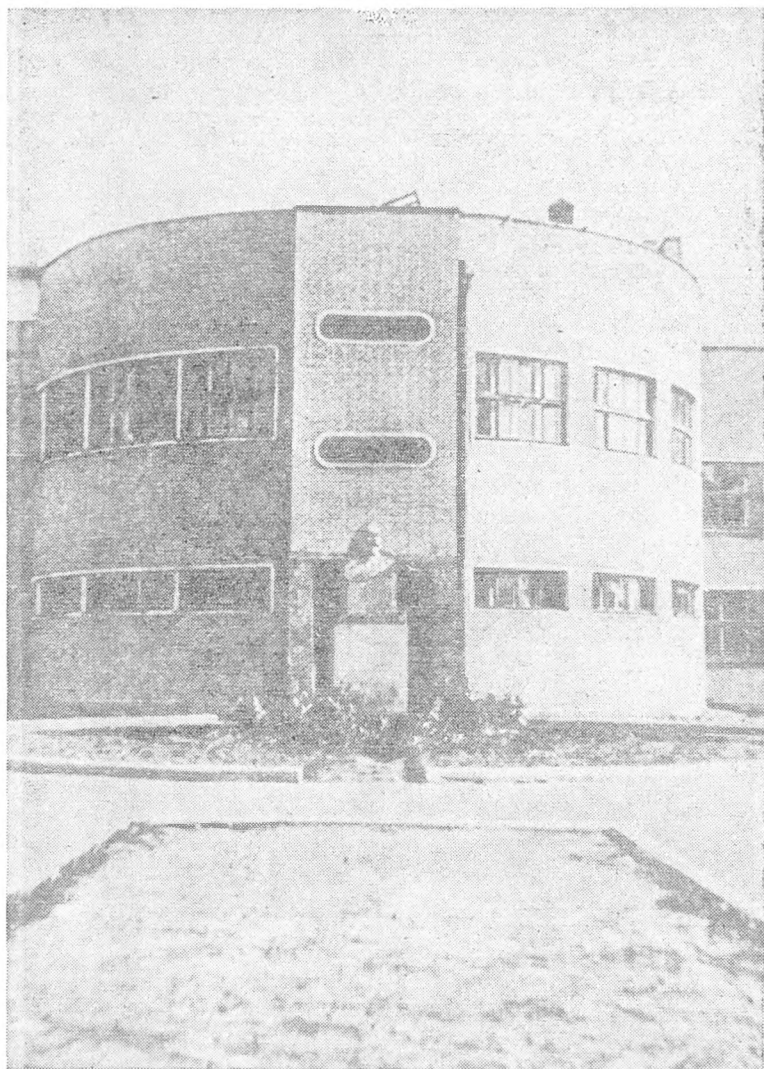
Л. Х.: Ведь сколько лет уже прошло, Оля! Сорок с лишним. И был он в нашем классе всего-навсего два месяца, а мы помним... Значит, он был незаурядной личностью. Чем-то он от нас отличался...

О. В.: Ты правильно говоришь. Но меня поражает другое: несмотря на внешнее различие, было у нас с ним глубокое духовное родство. В чем именно? То ли в языке, то ли в понимании чего-то общего...

Л. Х.: Он был исконно русский человек. Таким, видимо, его воспитала мать.

О. В.: Да, но как она это сумела, находясь в эмиграции?..

Я прочла, как они скудно жили в Германии, в чужой среде. И как смогла она найти в себе силы вернуться и привезти русского ребенка? И мы оказались к их судьбе немножко причастны. Может быть, наши воспоминания — если их так можно назвать — кому-нибудь помогут? Что-то прояснят? Все, что могли, мы, кажется, вспомнили...



**Учебный комбинат в Болшеве, где в 1939 году учился Г.Эфрон.
Публикуется впервые.**



А. Эфрон и И. Гордон. Москва. Март 1937 года. Публикуется впервые.
278

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Не знаю, успею ли я написать об Але все, что хочется, все, что знаю и помню о ней. Но прежде чем прокомментировать ее письма ко мне, думаю, надо предварить их хоть кратким описанием нашей дружбы и наших отношений. А главное, хоть коротко рассказать о событиях многострадальной жизни ее и ее семьи.

С Алей — Ариадной Сергеевной Эфрон-Цветаевой — я познакомилась сразу же после ее возвращения в Советский Союз, в марте 1937 года.

Мой муж, Иосиф Давыдович Гордон, был немножко знаком с ней еще во Франции, и Аля, приехав, позвонила нам домой и тут же пришла, вручила Юзу трубку «Донхил», а мне духи от Вовы Бараша, ближайшего друга мужа в Париже.

Она покорила меня сразу. Высокая, стройная, с огромными светлыми, прозрачными глазами; умная и острая, необычайно простая и легкая в общении. Мы сразу заговорили с ней на «ты» и подружились на всю жизнь.

Было ей тогда двадцать четыре года. Жила она, до возвращения отца, у своей родной тети Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке. Жила в малюсенькой проходной комнатке, спала на каком-то сундучке, жестком и маленьком, помогала во всем теткам (с Елизаветой Яковлевной всю жизнь жила ее подруга Зинаида Митрофановна) и, казалось, что никогда она от нас не уезжала — такая она была своя.

Аля вскоре устроилась на работу в «Жургаз», во французский журнал «Ревю де Моску», а я тогда уже девятый год работала в «Жургазе» секретарем Михаила Кольцова, так что виделись и общались мы с ней ежедневно.

Но общались не только в «Жургазе» — больше у нас дома. Потом, когда я осталась одна, Аля часто затаскивала меня к себе на Мерзляковский, и мы сидели в проходной комнаткушке, на ее жестком ложе.

— Аля, как ты спишь на нем, ведь коротко? — А я подставляю та-

буретку. — Да ведь некуда, сундучок-то впритык к стене? — А я по диагонали, Ниночка, по диагонали, — отвечала она смеясь.

Сундучок, неудобства, собственный быт ее мало занимали. Но зато сколько внимания и души отдавала она Елизавете Яковлевне — Лиле, которую очень любила. Она стремилась все для нее сделать — до работы успевала что-нибудь сготовить вкусное, сбегать за цветами, что-то купить, чем-то порадовать. У Елизаветы Яковлевны было большое сердце, и она большей частью полулежала на своей узенькой — то ли кровати, то ли кушетке — в комнатке рядом с Алиной. Вот в этих двух малюсеньких комнатках они и ютились втроем — Аля, Елизавета Яковлевна и Зина. Без конца приходили ученики и ученицы Елизаветы Яковлевны, самым любимым учеником ее был Дмитрий Николаевич Журавлев, и мы часто вчетвером ходили на его концерты.

Человеком Аля была недюжинным, талантливым и ярким, как вся Цветаевская семья. Была хорошим художником, хорошим журналистом и превосходным переводчиком и прозы, и поэзии. Обладала даром великолепного рассказчика и говорила таким ярким, сочным, таким поистине могучим русским языком, что окружающие слушали ее, как замороженные. Поражали ее начитанность и эрудиция.

Два месяца — март, апрель — мы трое: Аля, муж и я — молодые и веселые, прожили, как мне теперь кажется, как в сказке. Все с интересом работали, работали много, но сил хватало и на театры, и на выставки, и на чтение, а главное, на встречи по вечерам и втроем, и в большой компании, и на какие-то не пустые, а очень интересные разговоры и рассказы. Аля и Юз наперебой вспоминали Францию, своих парижских друзей; разговоры были и серьезные, и, наоборот, с безудержным Алиным хохотом и сдержанной улыбкой Юза. Я слушала их с огромным интересом, и все их друзья, а которых так много и с такой любовью они говорили, вошли в мою душу как близкие и дорогие люди. Неслучайно, когда много лет спустя, уже в 1967 году, мы с Юзом приехали в Париж, я с ними встретилась, как с родными.

31 марта 1937 года Юз уехал в отпуск, в Сочи. Уехал печальный, одинокий. Мы должны были поехать вместе, но как раз на этот месяц Михаил Ефимович Кольцов приехал из Испании и я, естественно, уехать не могла. С Алей продолжали видеться ежедневно, и она очень помогала мне справиться с тоской по Юзу — ведь мы были женаты только четыре месяца.

23 апреля Юз вернулся, и мы втроем дивно отпраздновали его приезд. Договорились, как и где вместе мы будем проводить майские праздники — ведь Аля *впервые* была на этих праздниках в Советском Союзе. Все расписали по дням...

30 апреля, ночью, мужа арестовали.

Когда третьего мая я пришла на работу, Аля зашла ко мне в секретариат Кольцова и, сев на подоконник, с обидой и удивлением спросила меня: как же мы могли забыть ее на праздники и даже не позвонили ей?

Мертвая от горя, я сказала ей, что случилось.

Аля не проронила ни слова — молча, долго смотрела на меня ос-

тановившимися глазами, а когда кто-то пришел, так же молча обняла меня и ушла к себе в редакцию.

После этого она часто ночевала у меня, и с какой-то удивительной, ненавязчивой душевной тонкостью старалась поддержать.

Потом приехал из Франции ее отец Сергей Яковлевич Эфрон. Было это в конце тридцать седьмого года. Ему дали полдачи в Болшево, к счастью, недалеко от станции, и Аля переехала от тети к отцу. Работала она много, но каждый день после работы, нагурузившись двумя авоськами с продуктами, неизменно ехала на дачу.

Часто по воскресеньям я и Муля (Самуил Давыдович Гуревич, друг Али) ездили к ним. Дача была разделена на две половины — одну занимали Эфроны, другую — еще одна семья, знакомая им по Франции и тоже недавно вернувшаяся оттуда. У Али с отцом была большая пустая застекленная терраса и две маленьких смежных комнатки. Кухня была общая с соседями. Довольно большой сосновый участок.

Обстановка самая примитивная. Собственно, обстановки как таковой не было. В каждой комнате стояло по раскладушке, в первой, проходной комнатке, где спала Аля и где обедали, был еще небольшой обеденный, он же письменный, он же какой угодно столик, пара стульев, пара табуреток. Шкафа не было ни в одной комнате — платья, пальто висели на стене, под простыней. В комнате Сергея Яковлевича, кроме раскладушки и табуретки, ничего не было.

И все же Аля как-то умудрялась скрасить быт, создать какой-то уют в комнате — на окне висели немудрящие занавесочки, на стене, на гвозде, — еловая ветка с шишками... Никаких разговоров о приобретении чего-бы то ни было, о нехватке чего-то, вообще о быте — не помню. Быт и все связанное с ним воспринималось между прочим — как есть, так и есть, как будет — так и будет...

Работала она зимой тридцать восьмого уже не во французском журнале, а в журнале «За рубежом», который редактировали Максим Горький и Михаил Кольцов и который тоже до ликвидации «Жургаза» и ареста Кольцова выходил в «Жургазе». Потом, после ликвидации «Жургаза», журнал передали куда-то в другое издательство (не помню куда), но Аля, как и весь коллектив редакции, продолжала работать в нем. Редакция была сильная, возглавлял ее Самуил Давыдович Гуревич (он был зав. редакцией) — великолепный работник, умный, эрудированный человек.

Работала Аля безотказно много, хорошо зарабатывала и старалась как можно лучше кормить отца. Думаю, что она хотела перекрыть их нищенскую жизнь во Франции.

Я не помню — сразу ли дали Сергею Яковлевичу полдачи или он какое-то время жил в гостинице, или еще где-то — наверное, так.¹ Я с ним познакомилась у Е. Я. Эфрон, когда мы вчетвером — Елизавета Яковлевна, Сергей Яковлевич, Аля и я пошли на концерт Дм. Журавлева, а потом уже много и часто видела его на даче в Болшево. Он

¹ Полдачи в Болшево Сергей Яковлевич Эфрон получил в феврале 1938 года.

был очень красив — высокий, худой, с черными, начинающими седеть волосами и огромными светлыми глазами на темном лице. У Али были глаза отца.

Это был человек полного обаяния: интеллигентный, воспитанный, деликатный, умный; говорил он негромко, мягко, с доброй улыбкой, и движения его были мягкими, нерезкими. Но чувствовалась за всей этой внешней мягкостью сила воли и твердость характера. Эрудирован был беспредельно.

Как и все в их семье, он был необычайно прост в обращении. Я очень стеснялась и робела перед ним, понимая всю свою немощь перед этой духовно могучей семьей, но как же со всеми ними было легко и просто, какое тепло исходило от них, как все они были чутки, заботливы, добры к окружающим. И как скромны были сами, как ничего ни от кого не требовали, не просили и не ждали.

Помню, как Сергей Яковлевич заболел и его положили в б. Екатерининскую больницу, рядом с «Жургазом» у Петровских ворот. Однажды я пошла с Алей его навестить. Большая, совершенно пустая палата, у входа, за дверью, напротив окна одна койка, на которой лежал Сергей Яковлевич, и одна или две табуретки. Больше ничего. Не помню даже тумбочки у кровати — может быть, и была. Никаких цветочков, никаких чашечек, мисочек и т. д. — ничего. Я присела на стул, мне было неуютно и очень жаль Сергея Яковлевича — какой-то он был одинокий, но он встретил нас доброй улыбкой и тут же стал рассказывать что-то смешное.

Еще помню день рождения Али — 18 сентября тридцать восьмого года. Мы провели его с Алей вдвоем у меня дома. Сергей Яковлевич был в санатории где-то на юге (кажется, в Крыму). Около двенадцати ночи Аля помчалась на центральный телеграф и дала ему телеграмму: «Поздравляю с днем рождения единственной дочери» (узнав предварительно у Елизаветы Яковлевны, что никаких поздравлений дома нет). Аля говорила потом, что Сергей Яковлевич был очень смущен ее телеграммой и прислал ей покаянное письмо. Она умела пошутить, поострить, поддеть, но всегда по-доброму.

Особенно запомнился зимний морозный вечер тридцать девятого года. Муля и я на даче в Болшеве, у Али, — еще до приезда Марины Ивановны. Ужинаем вчетвером — Аля, Сергей Яковлевич, Муля и я — в Алиной комнатке. Топится печка, неяркий свет лампы под потолком, на столе клетчатая скатерочка, окна занавешены, на стене свежая еловая ветка, и от нее пахнет Рождеством; вкусный ужин, тихий, какой-то радостный разговор, надежда на скорый приезд Марины и Мура, Алины шуточки, громкий ее смех, добрая, с мягкой иронией улыбка отца. Какие-то все радостные, оживленные. Уют, покой...

Кто мог подумать тогда, как зыбок и ненадежен этот покой, как жестоко и безжалостно будет уничтожена эта семья; с какой изломанной, израненной, истерзанной душой будет жить уцелевшая Аля, пряча поглубже от людей свою боль и свое неизбывное горе. Она выйдет из лагера к трем могилам — матери, отца и брата — и рядом с этими могилами пройдет вся ее жизнь; вернее даже не с могилами,

а тремя портретами на стене, ибо могил как таковых и не было. Три портрета на стене — все что осталось у Али в жизни, да еще вечная, жгучая, жестокая боль за них.

Измученная, истерзанная, она все же найдет в себе силы посвятить оставшуюся жизнь матери и в течение двадцати лет, до последнего дня своей жизни, будет собирать и работать над архивом Марины Цветаевой.

18 июня 1939 года приехала из Франции Марина Ивановна Цветаева с сыном Муром (Георгием). Было мальчишке 14 лет, но выглядел он старше. Высокий, очень красивый (действительно с наполеоновскими чертами лица) — блондин, светлые глаза, ярко очерченные губы, румянец на загорелом лице. Тоже умный и острый, много читавший и эрудированный для своих лет необычайно.

Марина обожала сына, все для него делала и как могла и сколько могла баловала его. Мур был эгоистичен, самолюбив, порой грубо разговаривал с ней. Но нельзя забывать и его возраст, и то, что через три месяца после приезда он остался без сестры и без отца, ошарашенный, оглушенный, потрясенный всем происшедшим.

Две комнатки были предоставлены матери и отцу, а Аля и Мур спали на маленькой застекленной терраске на половине их соседей. По бокам этой терраски стояли какие-то кофры-сундучки, на них устроили одно ложе для Али, другое для Мура. На окнах марлевые занавесочки, на подоконниках стояли бесчисленные любимые Алей игрушки — все больше разные зверюшки, и мягкие, и из уральских камней — белых, серых, терракотовых, — которые без конца дарил ей Муля.

И опять Аля берет на себя всю заботу о семье, всю работу в семье. Она стирает, гладит, убирает, моет полы, выносит ведра с грязной водой, таскает из Москвы продукты. И это все при огромной работе в журнале. Когда я приезжала летом в воскресенье к ним на дачу, обычно часам к двенадцати или к часу, открывая калитку, я уже видела развешанное на веревках в огромных количествах белье — стирка-то на четверых! — и понимала, что Аля, встав ранехонько, все перестирала, все убрала (готовила Марина тоже), все сделала, чтобы быть свободной весь остальной день и пообщаться спокойно с Мулей и мною. В субботу тогда работали, и на все про все у нее было одно воскресенье.

Обедали на большой террасе. Там стоял длинный деревянный стол и по бокам такие же длинные деревянные скамейки (а может быть, стулья — не помню) — больше ничего не было. Всегда было весело, дружно, а главное, интересно. Живые, умные рассказы и разговоры, воспоминания, острые шутки.

Аля собирала посуду со стола и несла мыть на кухню, а меня Марина Ивановна, обняв за плечи, выводила в сад и там мы с ней гуляли по большому сосновому участку, сплошь засыпанному хвоей. Была у них лишь одна хилая клумбочка с цветами перед террасой, по-моему, вскопанная и засаженная Алей к приезду матери.

И вот свалилось горе, задавившее всех.

27 августа того же тридцать девятого года Алю арестовали. Вместе семья прожила всего два с половиной месяца. Я узнала об аресте от Мули. Он приехал ко мне в тот же день прямо из Болшево, черный, опустошенный, вдруг постаревший и рассказывал о случившемся каким-то глухим, бесстрастным голосом человека, потерявшего все.

Накануне он был у них на даче, поздно засиделся и его оставили ночевать (был еще какой-то отдельный чуланчик). Пришли ночью, был обыск, уводили утром, на рассвете. В конце он добавил:

— Я хотел еще раз взглянуть Але в лицо... Пробежал вдоль террасы ей навстречу... Она шла и плакала...

Я поехала в Болшево. Терраса была пуста. Марина Ивановна и Сергей Яковлевич сидели в комнате. Внешне и она, и он были спокойны, только плотно сжатые губы да глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина Ивановна собралась гладить. Я сказала, дайте я поглажу, я люблю гладить. Она посмотрела долгим отсутствующим взглядом, потом сказала: «Спасибо, погладьте» и, помолчав, добавила: «Аля тоже любила гладить».

Я стояла и гладила, молча и тихо глотая все время подступавший к горлу комок, а Сергей Яковлевич все сидел и сидел на раскладушке и неотрывно глядел на стол. Его глаза, огромные, застывшие, забыть невозможно...

10 октября того же, 1939 года, Сергея Яковлевича арестовали.

* * *

Расстались мы с Алей в августе тридцать девятого, а встретились в августе сорок седьмого.

Она отсидела восемь лет, сначала в Комиллагерях, а последние год или два в Мордовии. Оттуда, прямо из мордовских лагерей, она и приехала к нам в Рязань, где мой муж, отсидевший пять лет на Колыме, жил со своей матерью. Я курсировала между Рязанью и Москвой. Работала уже у К. М. Симонова.

Незадолго до выхода Али из лагерей мне позвонил Муля и сказал, что ей после освобождения негде жить. Как все бывшие ЗК, она не имела права жить в Москве и во всех больших городах. Не может ли она приехать к нам?

— Конечно, может. Но подождите два дня — я еду в Рязань и спрошу мужа, ведь в Рязани-то живет он...

Когда я сказала обо всем Юзу, он минуточку помолчал, а потом отвел:

— Друзей в беде не бросают! Пусть едет к нам.

На слабые возражения и боязнь мамы он лишь повторил твердо: друзей в беде не бросают!

Я была счастлива. У меня тогда преобладали эмоции — лишь бы увидеть Алю, но Юз был спокойный, умный, много перестрадавший человек, и он-то хорошо понимал, что, конечно, идет на риск, беря Алю к себе. Тогда, после войны, в еще очень тяжелые времена, совсем неласково глядели на бывших ЗК и не всем могло понравиться, что их двое под одной крышей. Но иначе он поступить не мог.

С присущей ему энергией он тут же стал добывать третью железную койку для Али: одна, узенькая, была у мамы, вторая, пошире, наша с Юзом и третью поставили Але. Все в одной комнате. Достали матрац, подушку, застелили постель какими-то куцыми простыночками — ничего путного у нас не было. Время было голодное и раздетое (не помню, были ли еще карточки на продукты и промтовары или нам просто не на что было купить). Юз донашивал парижские брюки с огромными заплатами на коленях, и как бедная мама ни старалась разгладить эти злосчастные заплаты и руками, и утюгами — они все равно выпирали.

Жили мы тогда в Рязани уже не на частной «квартире», а Юз получил от работы какую-то странную комнату на первом этаже каменного старого дома на улице Горького (Рязань, ул. Горького, 84), площадь Рязанского Управления кинофикации). Комната была довольно большая, метров четырнадцать, в два окна, с толстенными каменными стенами и чудовищным каменным же сводчатым потолком. Наверное, до революции здесь был какой-нибудь лабаз. Вход был со двора, всегда грязного и дурно пахнущего, прямо к нам, в небольшую, темную, без окон как бы прихожую — она же у нас и кухня, из нее проем в комнату. Двери не было, повесили какие-то тряпочки.

В этой же прихожей оказался еще маленький, отгороженный досками чуланчик, битком набитый противогАЗами — очевидно, до нас здесь было или отделение Осоавиахима или осоавиахимовский кружок. У мамы болели глаза, и она — раз уж так «повезло» — решила надевать противогАЗ, когда терла хрен. Именно в то утро и в то время, когда Аля пришла к нам, мама стояла в противогАЗе в кухне и занималась хреном.

Юз случайно встретил Алю на улице. Это было рано утром в воскресенье; мама уже встала, Юз пошел за водой. Он скоро вернулся и еще с порога взволнованно крикнул:

— Смотри, Нинон, кого я привел!

И пока я, вскочив, натягивала халат, я услышала:

— Мама, познакомьтесь, это Аля!

Мама обернулась и, вероятно, с присущей ей светской улыбкой протянула руку.

Аля потом говорила с юмором:

— Я увидела загрубевшую тонкую руку, а подняв глаза, похолодела — на меня смотрела харя! Свят, свят, свят, — подумала я. Апокалипсис!

— Мама, да снимите же противогАЗ.



**И. Гордон, Н. Гордон, А. Эфрон. Сологча, под Рязанью, 1948 год.
Публикуется впервые.**

Мама стащила с себя резиновую маску, и Аля увидела уже очень пожилое, но все еще красивое, интеллигентное лицо.

Позже Аля рассказывала, как нашла нас. Муля написал ей, чтобы она ехала «к Нинке в Рязань», адреса же сознательно не указал. Она приехала в Рязань рано утром, сдала в камеру хранения свой деревянный чемоданчик с деревянной же затычкой в петле, куда вешается замок (как выяснилось потом — изготовление лагерных умельцев), и решила идти прямо по улице, в ожидании, когда откроются справочные киоски. Так она дошла до центральной площади Ленина, прошла ее и пошла дальше, все прямо, по другой улице — имени Горького, на которой мы и жили, и буквально через два или три дома от угла она увидела Юза, идущего ей навстречу с двумя *полными* ведрами воды. Она особенно подчеркивала и радовалась, что ведра были полные. Удача!

— Ну, Ниночка, понимаешь, — говорила она, — как в кино. Иду, а он идет навстречу... Это после стольких-то лет... Все такой же худой, и с полными ведрами. Обнялись. Потом он сказал: Вот это и есть наш дом. Пойдем...

Она рассказывала, как, выйдя из ворот лагеря еще с одной освобожденной женщиной, они молча пошли.

— Иду... Потом чувствую — не могу идти. Что-то не то, надо посидеть. Опустилась на пригорок, посидела, и вдруг дошло: не могу идти с непривычки, вернее, отвычки ходить одной. Странно — могу идти прямо, могу — направо, захочу — налево, куда хочу, туда и пойду — и никакой тебе охраны, никаких окриков. Куда хочу, туда иду... — повторила она. — Странно...

Потом дошла до вокзала и поехала к нам в Рязань.

В первое время Аля иногда вечером уходила в кухню, что-то там делала и вдруг начинала петь печальным тихим голосом какую-нибудь грустную, рвущую душу лагерную песню. У меня перехватывало горло, а Юз хватался за нитроглицерин.

Постепенно она отходила от своего душевного оцепенения, делалась веселее, живее и бодрее. Когда мы с ней кинулись при встрече друг к другу, обнялись, а потом стали глядеть друг на друга, я увидела ее, конечно, постаревшую, конечно, измученную, уставшую, но это все довольно скоро прошло. А вот глаза ее при встрече — второй встрече — опять пронзили меня. Они были все такие же огромные, все такие же светлые и красивые, но какое же застывшее горе и страдание, какая мука и тоска глядели на меня из глубины их. Исстрадавшиеся глаза... Эту застывшую ее муку я ощущала всю жизнь...

Вскоре после того как Аля поселилась у нас, к ней приехал из Москвы Муля (Самуил Давыдович Гуревич). Аля созвонилась с ним по междугороднему телефону со станции, так как у нас дома, естественно, телефона не было. Он приехал каким-то ночным поездом и рано утром пришел. Мы все вместе позавтракали, а потом они ушли бродить по городу — в комнате-то нас четверо, и куда им деться? Они бродили весь день, благо, погода была чудесная, теплая. Это бы-

ло, вероятно, в начале сентября. Заходили только пообедать, выпить чаю, потом пришли уже поздно, поужинали, и Аля уложила Мулю хоть часок поспать, так как ночным поездом он уезжал, а с утра должен был быть на работе — две ночи не спавши... По-моему, он тогда работал в ТАССе.

Потом Аля, Юз и я пошли провожать его на вокзал, чтобы Аля не возвращалась одна ночью через весь город. Мы шли с Юзом немного сзади, чтобы они могли свободнее говорить, — оба хорошо понимали, какой тяжкий это был день для Али, какой трудный разговор для обоих, какая еще одна страшная потеря для нее.

Я никогда — ни тогда, ни после — не спрашивала ее о Муле. Их роман был на моих глазах. Я видела, как этот без конца увлекавшийся женщинами человек впервые по-настоящему, безгранично, безоглядно, самоотверженно полюбил Алю, и уверена, если бы ее тогда не взяли — они были бы вместе. Он оставался ее другом все годы ее лагерей — писал ей, помогал вещами, деньгами, очевидно, делал все что мог. А вот сохранить свое чувство, пронести его через восемь лет разлуки, очевидно, не смог.

А Аля любила его еще много лет. В 1969 году, когда Юз умер внезапно от инфаркта и я ходила с залитой цементом душой, она мне писала: «...Что делать, что делать! Жизнь — всегда *банкротство*, ибо она всегда заканчивается или потерей — для тебя — близкого, или потерей тебя — для близкого, что одно и то же. Впрочем, это касается лишь нас, однолюбков, ни в какой среде не растворимых упрямцев!...»

Очень долго на Аэропортовской, в ее маленькой квартирке, висели на стене у письменного стола три портрета — матери, отца, брата — и четвертый — Муля. Потом этот портрет исчез...

Но это все потом.

А сейчас, проведив Мулю до поезда и посмотрев вслед, на красный огонек последнего вагона, я взяла Алю под руку, Юз — меня, и мы пошли по пустой темной ночной Рязани, прямо по мостовой. Шагали молча, никто не проронил ни слова...

Аля устроилась на работу в Рязанское художественное училище. Для училища она была находка — с ее образованием, ее эрудицией, с теплым и простым подходом к людям она там быстро завоевала любовь учеников и сотрудников. Сама прекрасный художник, она позже с гордостью показывала мне работы ребят, а две из них подарила на память. Одна — Рязанский Кремль — мне понравилась и сохранилась до сих пор.

Но покоя и в училище ей не было — все время висела над ней угроза увольнения. Как же, бывшая ЗК и вдруг работает в училище. Но пока все же работала...

Дома у нас она взвалила на свои плечи изрядную часть хозяйства, освободив от него маму. Мама роптала на это и говорила с обидой, что она «больше не хозяйка в доме». Характер у Али был трудный, спорить с ней было бесполезно, мама тоже с характером, и бедный Юз вертелся между ними, стараясь смягчить обиду мамы и доказывая ей, что Аля делает непосильную уже для нее работу.

Конечно, жилось тяжело. Три взрослых человека (из которых одна — большая старая женщина), каждый со своим нелегким характером, каждый со своей тяжелой судьбой, перенеся тюрьмы и лагеря, измученные, издерганные, втиснулись в одну комнатку и вынуждены были жить и спать на глазах друг у друга, не имея никакой возможности хоть изредка отдохнуть в одиночестве. Сейчас даже представить себе невозможно, как же им было трудно. И тогда все все понимали, но молчали — ибо изменить ничего было нельзя.

И все же жили и даже, когда могли, радовались и смеялись.

Аля и Юз были друг для друга неким кислородом — было с кем поговорить обо всем на свете, понимая друг друга с полуслова, взгляда. Было с кем вспомнить и прошлое — Францию, Париж, оставленных там друзей.

Я курсировала между Москвой и Рязанью. Каждые две-три недели Константин Михайлович давал мне два, а то и три дня «на Рязань», и я являлась туда с авоськами и рюкзаком за спиной, нагруженная, как верблюд. Жилось всем трудно — зарплату Юза съедали квартира и дрова. Он работал денно и нощно, стараясь как-нибудь где-нибудь подработать, чтобы свести концы с концами. Он по-мужски просто страдал, когда я старалась сунуть деньги. Поняв это, я стала просто привозить из Москвы еду и «подарки»: рубашки, белье, какие-то хозяйственные вещи — все, что могла достать. Так было до Али и после ее приезда тоже.

Постепенно Аля становилась веселей и бодрей. Человеком она была широким, добрым, внимательным, любила доставлять радость людям, без конца что-то вязала и перевязывала для всех. Ее природное остроумие и юмор не покидали ее никогда и помогали нам всем жить. Ее шутки иногда спасали от тягостных дум или разряжали домашние конфликты.

Запомнился один смешной случай. Я приехала в Рязань на два дня октябрьских праздников. Приехала поздно вечером, а с утра Юз ушел на демонстрацию, и его очень долго не было. Я сидела мрачная, Аля что-то вязала, а мама ходила по комнате и время от времени драматически восклицала:

— Нина, я его так не воспитывала...

Наконец, где-то часов в шесть-семь вечера он пришел (оказывается, их всех звал к себе домой один из сотрудников Управления кинофикации, где работал и Юз). Я сразу увидела, что он выпил, хотя он умел пить и не пьянел. Он же, увидев мой мрачный вид, с досадой сказал: Я так и знал, что меня так встретят...

Аля поняла сгущающуюся атмосферу, подошла к Юзу, который сел мрачно у стола, провела сжатым кулаком по его бровям, раскрыла ладонь — в ней лежал окурочок — и громко сказала: «Ну вот, я так и знала, что придешь на бровях...»

Все расхохотались, напряжение спало и ужинали весело.

Таких шуток было множество.

И внимание Али трогало и брало за душу. Так, 28 ноября 1948 года, в день нашей свадьбы, мы с Юзом получили от нее сразу два поздравления с рисунками и стихами. На одном акварелька — повар

с роскошным тортом в руках, с бегущим песиком у ног. На торте — цифра XII и даты 1936—1948, под ними стихи:

«Друзья, примите к юбилею
Сей торт — на вкус не очень важный,
Хоть компонентов не жалею —
(Он акварельный и бумажный!)»

А к следующему юбилею, когда я разбогатею, торт будет видный, миндальный, бисквитный, блестящий, хрустящий, одним словом — настоящий. Пока же примите вот этот — вымысел художника и поэта как дань любви и уваженья при неважном материальном положении! Изготовлено в Рязани, кем — знаете сами!

28.XI.48 г.»

На другом рисунке две малюсеньких фотографии — Юз и я, два аиста и та же цифра XII. На обороте стихи:

«Пусть в горькой разлуке шли горькие годы,
Пусть были дороги смутны и печальны,
Я верю — закончились ваши невзгоды
И судьбы сомкнулись — кольцом обручальным.

28.XI.48

Р. С. Обратите внимание на аистов!»

А фотографии Аля вырезала из карточки, где она была третьей. Летом 1948 года Юз и я отдыхали в Доме отдыха в Солотче, под Рязанью. Аля приехала к нам на воскресенье, и мы провели вместе весь день. Много гуляли по чудным мещерским лесам, и там какой-то знакомый сфотографировал нас всех, сидящих на зеленой солотчинской травке. Эта фотография у меня сохранилась...

Но остались и другие воспоминания. В день моих именин 27 января 1948 (или 49-го) года Аля была в Москве, вероятно, у тетки и днем пришла ко мне, принесла в подарок шесть маленьких тарелочек с розовой полоской по краям и акварельку — венок из цветов, в середине которой написала:

Утомленный Дед Мороз
Вас растрогает до слез,
Он на Нины

именины

Шесть тарелочек принес!

(Все ее рисунки, стихи и письма у меня сохранились.)

Мы хотели провести этот день вместе, втроем. Юз приехал ночным поездом — то ли в командировку, то ли на воскресенье — и спал на тахте. Аля сидела тихо за столом и по обыкновению что-то вязала. Я была в кухне.

Раздались два звонка в дверь — ко мне. Я бросилась открыть. Пришла одна женщина из нашего подъезда и попросила то ли луковку, то ли морковку и хотела войти в комнату. Я не пустила, сказав, что муж спит, и провела ее в кухню. Она взяла то, что ей якобы было нужно, и, выйдя обратно в переднюю, вдруг со словами: «А я хочу его видеть спящим!» — рванулась в мою комнату, распахнув дверь.

Аля встала и молча прошла мимо нее в кухню. Дамочка ушла, а я опять принялась готовить, хотя на душе стало противно и тревожно.

Через какое-то время раздалось опять два звонка. Я подошла к двери и спросила: кто? — Милиция. Я махнула Але рукой, и она вылетела в кухню. Юз остался в комнате, по-видимому, он все-таки приехал в командировку.

Я открыла дверь. Вошел молодой симпатичный милиционер и спросил, кто у меня находится? — Муж. — А еще кто? — Никого! — Я распахнула перед ним дверь. Он вошел в комнату, посмотрел за дверь, посмотрел на Юза, постоял минуту-другую и сказав: — Извините! — ушел.

Юз сидел все это время спокойно и молча на тахте, а я с ужасом думала: что, если милиционер пойдет в кухню, — там Аля! Но Али в кухне не было. Мои соседи — добрые, хорошие люди, знавшие историю и Юза, и Али, как только милиционер вошел в мою комнату, сунули в руки Але своего новорожденного внука, и выпихнули ее на балкон кухни, закрыв за ней плотно обе двери. Аля оказалась совсем невидимой в синей мгле морозного вечера. Уму непостижимо, когда соседи успели накинуть на нее пальто.

Как только милиционер ушел, Алю вернули с балкона, и она тут же позвонила Муле. Он приехал и увез ее. Кажется, она уехала прямо в Рязань.

Аля, как и Юз, как и все бывшие ЗК, не имела права приезжать в Москву, если нет командировки. Но люди остаются людьми и им, ни в чем не повинным, хотелось иногда повидать родных, близких, побывать у них, посидеть в человеческих условиях. Кому от этого могло быть плохо? Но нет! — какая-нибудь такая гадина, как эта дамочка, развлекалась доносами на хороших людей, делала из них загнивших, не знающих за собой вины, но тем не менее отверженных людей.

Именины не состоялись. Мы ели с Юзом вдвоем, почти молча. И как он ни старался поднять мое настроение, я сидела подавленная и напряженная, ждавшая с минуты на минуту, что придут и за ним.

А Аля — осталась Алей. Когда она немного отдышалась, уходя сказала мне с юмором на ухо, чтобы не слышали соседи:

— А я, Ниночка, когда ходила по балкону с младенцем, чтобы он не закричал, все пихала ему в рот свой грязный палец...

Помню пасхальную ночь 1948 года. Я приехала в Рязань с куличами и разной едой. Аля изумительно раскрасила яйца, в комнате прибрано, занавески постираны, какие-то зеленые веточки и вербочки на столе.

В 12-м часу ночи Аля, Юз и я пошли к заутрене. В церковь попасть не удалось — полным-полно народу. Пробрались к ограде, посмотрели Крестный ход, послушали в открытые окна и двери «Христос Воскресе»... Потом бродили по городу, пошли к Рязанскому кремлю. Ночь была изумительная — звездная, теплая, весенняя, душистая — поистине святая ночь!

Мы все трое ходили какие-то размягченные, оттаявшие, с какой-то тихой тоской и мягкой грустью в душе. Аля вдруг заговорила и много и долго рассказывала, вспоминая о других пасхальных ночах,



**Б. Гордон и И. Гордон. Рисунки А. Эфрон. Рязань.
1947—1948 годы. Публикуется впервые.**



там, во Франции, с Мариной, отцом и братом. Говорила ровным тихим голосом, а сама время от времени смахивала рукой слезы.

Это было в первый раз, что она заговорила о своих, так страшно погибших и так ею любимых родных. Говорила о том, как узнала о гибели матери. Она сидела тогда в Комилагерях, и туда ей написала об этом ее тетя — Елизавета Яковлевна Эфрон.

— Я получила это известие — и замолчала. Я молчала долго — год, два, никому ничего не рассказывая. Я отрешенно делала свою работу, односложно отвечала, когда что-то спрашивали, а сама была только с Мариной. И день и ночь думала о ней, только о ней, и только с ней я жила...

Она всю жизнь прожила с этой страшной болью утраты. Много позже она мне писала:

«...Что тебе сказать, когда на все это слов нет человеческих, а одни бессловесные чувства, и уж кому-кому это знать, как не мне, ибо — кому повем печаль свою! — в горе человек *всегда* одинок и безутешен, а мне приходилось быть одинокой среди толп и полчищ, т. е. — один на один с горем; и еще — за горем горе. Сколько лет прошло — почти столетий! — и *острота* прошла, вернее, спряталась и сбросла плоть, как неизвлеченный и неизвлекаемый осколок, и чуть не так повернешься, та же *острая* боль; а в жизни только и делаешь, что не так поворачиваешься. И вся жизнь всегда к тебе не так поворачивается. Вот я уже почти на 10 лет старше родителей (того их возраста, в котором они погибли), а до сих пор просыпаюсь от глаз отца (ты помнишь, какие у него были глаза?) — от взгляда отца перед расстрелом. От *вида* материнских рук — таких всегда огрубелых от черноты быта, от черноты нищеты. От *вида* последнего *узла* в этих руках. Узла, которого никто и никогда не развяжет...» (23 мая 1969).

«...я старше и «мудрее» тебя на все мои потери, из которых каждая — единственная, и на тысячу лет раньше, чем ты, узнала, что *такая* потеря вырывает и тебя из числа живых, подрубает *твоей* основной жизненный корень; а дальше живешь мелкими, подсобными корешками... Дальше — живешь таким Маресьевым... привыкаешь, казалось бы, к своим протезам так же, как к ним (охотно!) привыкают окружающие; но вот по окончании «трудового дня» отвинчиваешь свои искусственные конечности или свою искусственную сердцевину и остаешься — обрубком...» (19 мая 1969).

В двадцатых числах февраля 1949 года Юз приехал из Рязани в Москву, в «краткосрочный отпуск», как он говорил, а попросту накопил отгулы. 23 февраля день Красной армии и день именин моей сестры Валентины, и мы решили съездить и поздравить ее. Сестра жила с мамой и братом, и Юзу, которого все в моей семье очень любили и он всем платил тем же, хотелось их повидать.

Вечером, часов в пять или шесть, когда мы уже одевали пальто, раздался звонок в дверь — принесли телеграмму. Юз прочитал ее и

молча передал мне. В телеграмме было: «Аля заболела увезли в больницу мама».

— Арестовали! — глухо сказал Юз.

В пальто мы оба вошли в комнату, чтобы не будоражить соседей и ошарашенные, прибитые, присели на тахту и долго молчали.

Юз потерял виски, как бы что-то вспоминая, потом сказал:

— Сперва заедем на телеграф, дадим маме телеграмму, а потом к Валентине, и никому ничего не скажем. А завтра прямо на вокзал — и в Рязань, нельзя маму долго оставлять одну.

Я молча кивнула. Все у меня внутри сжалось, оборвалось, ледяной страх за Алю, за Юза опять залил душу.

Алю взяли в Рязани повторно одну из первых. Всех бывших ЗК постепенно изымали и изымали. Был обыск дома — обыскали только ее кровать и ее чемоданы. Чего там было обыскивать! Если мне память не изменяет, то ее взяли в училище и пришли с ней домой с обыском. Составили акт, подписанный мамой тоже. Бедная мама, напуганная и измученная, потом подробно обо всем рассказывала.

На следующий день Юз уехал. На вокзале он молча обнял меня за плечи, прижал к себе и не отпускал до отхода поезда. Оба молчали, а думали об одном — увидимся ли?

Проводив его, я побрела домой. Тяжело брела пешком, чтобы никого не видеть, через всю Москву — опустошенная, застывшая, изредка тихо повторяя: «О, Господи! Аля... Бедная Аля...»

И опять передо мной неотступно стояли ее огромные исстрадавшиеся глаза...

Вскоре Юзу предложили «освободить» жилплощадь, и после упорных поисков он снял частную комнатку на улице Свердлова, и мы переехали к одной чудесной, какой-то на диво доброй одинокой старушке.

А 27 июля того же 1949 года умерла Берта Осиповна Гордон — мать Юза. Мама умерла в больнице, похоронена на Рязанском кладбище. Никогда не забыть мне этих отчаянно-печальных, одиноких похорон. Мы с Юзом вдвоем шли по мостовой за телегой, запряженной лошадей. На телеге стоял гроб. И всю дорогу, через весь город до кладбища по пыльной, каменистой, ухабистой мостовой, он подпрыгивал, качался, трясся, и я, сцепив руки, все время с ужасом ждала, что вдруг он свалится с телеги и мама выпадет из гроба.

На кладбище, у могилы, нас ждали товарищи Юза по работе...

Потом, где-то позже, мужа уволили с работы. Он молчал, но ужасно страдал и переживал эту очередную несправедливость. Долго ходил без работы, потом устроился в какую-то аэрофотолесостроительную экспедицию.

Алю из рязанской тюрьмы отправили в бессрочную ссылку в Туруханск. Зимой 1949-го мы получили от нее новогодний акварельный рисунок со словами:

«С Новым годом, дорогие Нина и Кузя! Желаю вам счастливо встретить, провести и проводить его, этот самый 1950, а главное — чтобы вы были вместе и чтобы все у вас было хорошо, давно пора!

Крепко вас целую и часто вас вижу во сне, как та самая одинокая сосна ту самую пальму!

Ваша Аля

12.12.49»

(Я звала Юза — Кузя, Але это очень понравилось и она тоже всегда звала его Кузей!)

Прожили и проводили мы с Юзом 1950 год вместе, как того и пожелала нам Аля, но наступивший 1951-й опять разорвал нас пополам! В феврале Юза арестовали вторично, а в июне отправили на десять лет в ссылку в Красноярск.

Я поставила ограду на могиле мамы и распрощалась с Рязанью. А 18 мая 1952 года, поменяв свою московскую комнату на квартиру в Красноярске, уехала к мужу, как думала, навсегда!

1984

М. ЦВЕТАЕВА И А. ВИШНЯК

В основу публикуемой повести Марины Цветаевой в письмах была положена ее непродолжительная переписка с Абрамом Григорьевичем Вишняком.

А. Г. Вишняк (1895—1943) был редактором и управляющим делами небольшого литературного и художественного книгоиздательства «Геликон», которое в сентябре 1921 года возобновило свою деятельность в Берлине.

С концом гражданской войны, введением Нэпа и установлением дружественных отношений между Советской Россией и Веймарской Республикой в Берлине возникает целый ряд издательских предприятий, которые печатали книги в Германии русских авторов, живавших как в России, так и вне ее, обслуживая одновременно и советский, и эмигрантский рынок. Некоторые издательства, в том числе и «Геликон», проставляли на титульных листах своих книг: «Москва/Берлин».

Еще в Москве издававшиеся «Геликономом» с 1918 года книги привлекли внимание критики высококачественным полиграфиче-

ским и художественным исполнением. Эту репутацию издательство старалось сохранить и в Берлине. За свои два с небольшим года берлинского существования «Геликоном» было выпущено около 50 названий книг и журналов, включая произведения А. Белого, Б. Пастернака, И. Эренбурга, А. Ремизова, М. Цветаевой.

Однако экономические условия деятельности издательств в Берлине скоро начали осложняться и в конце 1923 г. настолько ухудшились, что издательства стали одно за другим закрываться.

Тяжелый удар по издательствам нанес и введенный российским правительством запрет на ввоз в страну заграничных изданий.

После краха своего издательства А. Г. Вишняк переезжает в конце 1925 года в Париж, где живет вплоть до немецкой оккупации. 22 июня 1941 года его арестовывают и отправляют в концентрационный лагерь в Германии, находившийся на границе с Чехословакией. Он погиб от силикоза легких в 1943 году в Чехословакии, где узники лагеря работали на соляных коях.

М. И. Цветаева впервые услышала о Вишняке, скорее всего, от И. Г. Эренбурга, водившего с издателем дружбу и активно сотрудничавшего с ним. По рекомендации Эренбурга «Геликон» выпустил в начале 1922 года книжку стихов Цветаевой «Разлука», дабы помочь ей собрать денег на поездку к мужу, попавшему после поражения Белой армии в Прагу.

Личное знакомство Цветаевой с Вишняком состоялось буквально на другой день по приезде Цветаевой 15 мая 1921 года в Берлин. Эренбург пригласил его отобедать в пансионе, где остановилась Цветаева и где жили сами Эренбурги. С этого дня у Цветаевой завязалась с Геликоном (в Берлине было принято называть издателей именами их заведений) близкие отношения. Она часто приходила в контору «Геликона», неизменно с дочерью Алей, иногда читала сотрудникам восхитительные записки из Алиного дневника (См. описание Геликоновой конторы глазами девятилетней Али в книге: А. Эфрон. О Марине Цветаевой. М., 1989).

А. Г. Вишняк, который сам был не лишен поэтического вкуса, восхищался Цветаевой как поэтом. Он с энтузиазмом взялся за издание ее сборника стихов «Ремесло», предложил ей перевести повесть «Флорентийские ночи» Г. Гейне, убеждал Цветаеву сделать книгу прозы из ее дневниковых зарисовок московской жизни 1917—1919 гг.

Однажды Вишняк посвятил Цветаеву в свою семейную драму — увлечение жены, которую он обожал, другим, — рассказывал ей о своих душевных муках, ища сочувствия и утешения. Он, по-видимому, не предполагал, на какую благодатную почву падут его исповеди. Цветаевой, движимой всепоглощающей страстью любить, показалось, что она нужна человеку. Да и Вишняк давал понять, что не равнодушен к ней. Трудно сказать, насколько искренне Вишняк был увлечен Цветаевой. Человек аристократической стати и мягкой обходительности, столь импонировавших женщинам, он, по некоторым свидетельствам пользовался репутацией сердцееда.

Как бы то ни было, возникшее взаимное притяжение перешло в

почти ежевечерние долгие прогулки с чтением стихов, беседами, признаниями. Полетели цветаевские письма, писанные ночами после встреч, полились стихи, обращенные к возлюбленному.

Влюбленность поэта длилась всего несколько недель. Все произошло (и будет еще не раз случаться впоследствии) по как бы заданному кругу: Цветаева влюблялась в выдуманного человека, пыталась оторвать его от земли и унести в свои заоблачные духовные выси, а потом вдруг обнаруживала, что этот человек вовсе иной породы. Наступало горькое прозрение и расплата за «попытку жить». Этот трагический жизненный сюжет и составляет пафос «Девяти писем...», как, впрочем, и многих других цветаевских произведений.

31 июля Цветаева, разочарованная и опустошенная, уезжает с дочерью в Прагу. После непродолжительной спорадической переписки с Геликоном (в основном делового характера) Вишняк, к которому кроме неприязни Цветаева уже больше ничего не испытывает, исчезает из ее поля зрения. Однако спустя чуть более десяти лет Цветаева воскрешает его в образе одного из двух (правда, безымянных) действующих лиц «Девяти писем...».

Публикуемый текст был частью более широкого замысла автора: издать по-французски небольшой сборничек из двух вещей, объединенных общей темой бренности и обреченности поисков абсолюта в «земной любви». Как раз в этот период она пытается пробиться к французскому читателю. В сборник мыслилось включить «Девять писем...» и «Письмо к Амазонке» — написанное по-французски эссе, обращенное к американской писательнице Натали Клиффорд Барни — известной парижской «амазонке». Французский язык, который не был для Цветаевой каждодневным, давал ей, по-видимому, какую-то дополнительную свободу выражения.

К реализации замысла Цветаева приступает в 1932 году. Она составляет русский текст повести и переводит его на французский язык, снабдив письма в ряде мест ремарками и комментариями, отразившими ее реакцию на события десятилетней давности. Цветаева дополнила повествование сценой «Последняя флорентийская ночь» и послесловием.

Однако эта работа так и осталась неопубликованной при жизни поэта. 7 марта 1933 года Цветаева пишет своему чешскому другу А. Тесковой: «Стихов за зиму писала мало: большая работа о М. Волошине и перевод своей собственной вещи на французский: 9 (своих собственных настоящих писем и единственное, в ответ, мужское — и послесловие: *Posthface ou Face Posthume des choses* (Послесловие или Посмертное слово вещей — фр. — Ю. К.) — и последняя встреча с моим адресатом, пять лет спустя, в Новогоднюю ночь. Получилась *цельная* вещь, написанная жизнью. Но с моим обычным везением — похвалы (французов) со всех сторон, а рукопись лежит. И очевидно будет лежать, — как мой французский Молодец иллюстрированный Гончаровой.»

Эта французская миниатюра увидела свет лишь в 1983 году благодаря стараниям итальянской славистки Серены Витале, которая осуществила первоначальный цветаевский замысел — издать по-

французски под одной обложкой «Девять писем...» (повести публикатором было дано название «Флорентийские ночи») и «Письмо к Амазонке».

Двумя годами позднее под тем же названием, «Флорентийские ночи», повесть была опубликована в русском переводе в журнале «Новый мир», 1985, № 8 по тексту французской машинописи с авторской правкой, хранящемуся в ЦГАЛИ. Настоящий перевод выполнен по копии той же машинописи с учетом русского текста из дневниковых записей Цветаевой, легшего в основу французского рассказа.

Ю. Клюкин



**А. Г. Вишняк с сыном Женей, Остенде (Германия), 1925 год.
Публикуется впервые, с любезного разрешения Е. А. Вишняка.**

ДЕВЯТЬ ПИСЕМ
с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым,
полученным,
— и Послесловием

— ПИСЬМО ПЕРВОЕ —

17-го июня 19...

Мой родной! Книга, которая сейчас — Вашей рукой — врезалась в мою жизнь — не случайна. * Прочтя на обложке его имя — обмерла.

Вы сами не знаете — Вы ничего не знаете — до чего все правильно. Но Вы ничего не знаете, Вы только очень чутки (не сочувственно, чувствуя не душой, — как волк: всем востромордием, не сердцем, — ощупью) — в какие-то минуты Вы безошибочны.

Я не преувеличиваю Вас, все это в пределах темнот (которые беспредельны: самая беспредельность) — мехов и шкур (все тот же волк приходит на ум — видите?).

Я знаю Вас, Вашу породу, Вы больше вглубь, чем ввысь, всегда будет погружение в Вас: не подъем — говорю лишь об ощущении направленности.

Погружение в ночь (точно по лестнице — с одной ступеньки на другую, — которой никогда не будет конца).

Погружение в самую ночь. Поэтому мне с Вами так хорошо, без света. («Деревня в сорок светильников...») С Вами — я деревня без единого огонька, может, большой город, а может, и ничто — «была когда-то...» Я Вам ничем себя не обнаружу, ибо гасну дотла)... Без света: в голосах (как в мехах!). Поэтому во все *такие* часы Вашей жизни Вы будете — со мной, присутствующим в отсутствии.

Есть люди страстей — чувств — ощущений — Вы человек дуновений. Мир Вы воспринимаете наочно: это не меньше чем: душевно. Через кожу Вы воспринимаете и чужие души, и это верней. Ибо в своей области Вы — виртуоз. Вам не надо всей руки в руку, достаточно одного — даже смутного — желанья. Чуткость на умыслы. Гений

* «Флорентийские ночи» (сноска М. Цветаевой. Речь идет о новелле Г. Гейне, написанной в 1836 г. — прим. перев.)

умысла. Мгновенное схватывание умысла. Инстинкт. Звериный инстинкт. (Если бы знала, что все так просто!)

Возле Вас я, бедная, чувствую себя оглушенной и будто насквозь замороженной (привороженной). (Не делайте из меня глухую или немую: я не емь, что же до слепости — вспомните Гомера.)

Я не преувеличиваю Вас в своей жизни — Вы легки даже на моих пристрастных, милосердных, неправедных весах. Я даже не знаю, *есть* ли Вы в моей жизни? В просторах души моей — нет. Но в том возле-души, в каком-то *между*: небом и землей, душой и телом, в сумеречном, во всем предсонном, после-сновиденном, во всем, где «я — не я и лошадь не моя» — там Вы не только есть, но только Вы и есть.

Вы слегка напоминаете мне одного моего друга — несколько лет назад — благодаря которому я написала много стихов, враждебных всем как не мои и близких только — всей его породе. Но я не хочу сейчас говорить о нем, я его давно и *совсем* забыла, я хочу сейчас радоваться Вам и тем темным силам, которые Вы из меня выколдовываете. Колдун-открыватель родников может и не сознавать: ни своей силы, ни достоинства ключа. Это — случайный дар и посему чаще всего достается неведающим и неблагодарным. Как все дары: кроме дара души, которая есть не что иное как сознание и узнавание. (Для смеха: если Вы — ключелов, то я Крысолов из немецкой легенды, уводящий своей флейтой крыс и детей, а, может, заодно и ключи!)

Последние годы я жила такой другой жизнью, так круто, в таких ледяных задыханиях, что сейчас руками развожу: я???

Мне от Вас нежно (человечно, женственно, зверино) как от меха. Другие *Жудут* говорить Вам о Ваших высоких духовных качествах, еще другие — о прекрасной внешности. Может быть. — А для меня — огненность (лисьего хвоста). Но мех — разве меньше? Мех — ночь — логово — звезды — завывающий голос (голос — *волос*) — и опять просторы...

Мой нежный... (от присутствия которого мне нежно: дающий мне это великое блаженство: быть нежной, нежить руки...).

— ПИСЬМО ВТОРОЕ —

19 июня, ночь.

Вы высвобождаете во мне мою женскую сущность, самое темное и скрытое во мне. Я не становлюсь менее зоркой. Зоркость не убита, но блаженное право на слепость.

Мой нежный (от которого мне...), всей моей двуединой сущностью, вдвойне и неразрывно единой, всей моей сущностью двуострого лезвия (одаренного утешающей добродетелью ранить только себя) я хочу к Вам — *в Вас*: как в ночь. — «Стихи и сон!» а проще: прочесть и уснуть — (Ваши слова, — все помню) Как многие увидели во мне только стихи.

Всё через душу, дружок, и всё обратно в душу. (Самопитающийся фонтан. Великие фонтаны Великого Короля.) Только шкуры — нет. Вы это знаете, с Вашей звериной, гениальной ощупью. (Мой «сплошной мех»). Мех не только зверь, — и хвоя, ель, любимый можжевеловый...

А если в окрасках: Вы — карий. Как Ваши глаза.

Мой родной, таких писем я не писала никому (с тех пор как перо стала держать — нет, как перо держит меня, — нет, даже до пера, когда на мне еще были ангельские перышки! — всем, всегда. Поверьте мне).

Всё знаю, Человече, — и Вашу поверхностность, и легковесность, и пустоту, но Ваша безграничная звериность мне безгранично дороже других душ. Вы так хорошо знаете, что такое холодно, жарко, хотеть есть, пить, спать. За Вашей пустотой — пустота, которую нельзя представить иначе как заполненную звездами или атомами, то есть населенную живыми мирами. Будьте пусты сколь Вам будет хотеться и мочья: я — жизнь, не терпящая пустоты.

Мое дитя (позвольте так...) — мой мальчик! Если я иногда не отвечаю в упор, то потому что иных слов в иных стенах нельзя говорить, не терпит, в иных стенах, сам воздух. Стены — всё терпят и ничего им не делается, они — единственное, чего я не терплю и от чего я больше всего натерпелась. Ибо знайте: та, которую Вы видите только словесницей, в большие часы жизни — тот спартаец с лисенком: помните? (Позвольте повеселиться: с целым выводком лисенят!)

Не знаю, залюблены ли вы (закормлены любовью) в жизни — скорей всего: да. Но знаю — (и пусть в тысячный раз слышите!) — что никто (ни одна!) никогда Вас так не.....И на каждый тысячный есть свой тысяча первый раз. Мое *так* — не мера веса, количества или длительности, это — величина качества: сущности. Я люблю Вас ни так сильно, ни настолько, ни до.... — я люблю Вас *так* именно. (Я люблю Вас не настолько, я люблю Вас *как*.) О, сколько женщин любили и будут любить Вас сильнее. Все будут любить Вас больше. Никто не будет любить Вас *так*. Если моя любовь остается исключительной во всех жизнях, то исключительно благодаря двуединству в ней любимого и меня. Поэтому ее никогда и не принимают за любовь.

«Любите меня великим, любите меня красивым, любите меня всяким!» Я же всегда хотела, больше — требовала, чтобы меня любили — такой, какая я есть, — за то, что я есть, — потому, что я есть. Не за то, какой, по-Вашему, я могла бы, должна бы, должна была быть. Пусть во мне любят — меня, а не идеальное и ложное существо, плод воображения того новоявленного поэта третьего разряда, который именно так и любит, коль скоро не отродясь-поэт, не отродясь-мыслитель. По мне, лучше быть сфотографированной, отраженной, повторенной, данной в невыгодном свете равнодушным объективом, чем написанной, то есть данной в выгодном свете, одушевленной художником, у которого не известно, ешь ли душа? и рука которого зачастую в руках какой-нибудь одной мании.

Не делайте меня хуже, чем создала природа — или делает зеркало — это все, о чем я смиреннейше прошу художника и любящего. — «Лицо — лишь отправная точка» — Да, но хорошо ли Вам известна моя (своя) направленность? Чем бы я в конце концов стала, до чего бы я в конце концов поднялась, если бы...? Можете ли Вы хотя бы следовать за мной — Вы, хотящий обогнать меня, чтобы вести за собой? Великий мастер может явить идеальное, ибо он являет то, что долженствует быть, реальное в потенции. Высокую реальность. Всем же остальным, заурядным мастерам в искусстве и любви, дано только списывать (живописуя, любя) с природы. Явите «меня» — если можете.

Я всегда предпочитала быть узанной и посрамляемой, нежели придуманной и любимой. Посмотрите на меня всею зоркостью Ваших глаз или идите «творить» Вашу подругу, которая будет Вам за это только признательна и которая будет узнавать себя в каждом из Ваших «портретов», ибо она не знает самое себя — просто потому, что в ней нечего знать. Ничто, годное для любых форм. А я, я уже сотворена и сотворил меня Бог. Довольно и одного творения. Такого творца.

Меня могла бы осуществить только любовь того, кто избрал бы меня из всех существ — прошлых, настоящих, будущих; мужских, женских; водяных, огненных, воздушных, земных, небесных. И прочих — на других планетах!

Вот я какая. Если я Вас огорчаю — простите, что я *есмь*.

Подумать только, если бы мы были вместе, я бы так и не знала того, о чем только что Вам поведала!

Как все находит разлука. Как все сводит отдаленность!

Мой маленький! Сейчас четыре часа утра, я с Вами, лбом в плечо, я бы все свои стихи (бывшие и будущие) отдала Вам: не как ценности, — как вещи, которые Вам нравятся.

— И еще это — хотите?

Верность: невозможность иначе. Остальное — Люцифер (гордыня) и Лютер (долг). Как видите, учусь у сердца.

И возьмите меня как-нибудь на целый вечерок с собой. Чтобы я немного забыла Вас, обретя. Чтобы мы несли Вас вдвоем.

— ПИСЬМО ТРЕТЬЕ —

Когда я только что сидела с Вами на той бродяжной скамейке — скорее поврозь, чем рядом — у меня душа разрывалась от нежности, мне хотелось взять Вашу руку к губам, держать, так, долго — так долго...

Скамья отказная,
Скамья бродяжная...

(Отказ. Это богатство бедности, так чудно дающее одним только словом две вещи, одним только звуком — два смысла, расширяя его и обогащая!)

Но Вы видите: мы расстались... галантно (Первые птицы! Наш невозможный час!). Я могу без Вас, я не девочка и не женщина, мне не нужны ни куклы, ни мужчины. Я могу без всех, но, может, в первый раз мне хочется не мочь.

Может быть Вы скажете: — Такой мне Вас не нужно (слабой, как все другие, и куда менее милостивой). Иду и на это! На одно не пойду: обман. Я хочу, чтобы ты любил меня всю, какая я есть. Это единственное средство быть любимой — или нелюбимой. Чувствую себя Вашей (Вас не чувствую моим). Уже не боюсь слов, не бойтесь и Вы, ибо это важно только для меня и никогда не будет — для Вас. Когда возобновятся все ваши перекрестные крутежи, я сделаю прыжок, как прыгают с лодки, которая потом вальсирует. О боли моей Вы не будете знать. Не останетесь даже пустыми, потому что я не занимала никакого места в Вашей жизни. Что до «душевной пустоты», — чем душа пустее, тем полнее наполняется. Имеет значение лишь пустота физическая. Пустота вот этого стула. В жизни Вашей не будет стула, пустующего мной.

Наш век с Вами — час, который уже проходит. И мне нужно от Вас только одного: Вашего разрешения любить Вас: только вот этих сухих слов: «Люби меня как хочешь и как не хочешь: всей собой».

Я ведь говорю не о жизни, не о беге часов. Знаю, что все жизни и все часы заняты, и я вовсе не хочу посягать на право собственности (одинаково презираю и права и собственников). Любовь моя не соответствует никакому времени, никакому месту. Она никогда не будет вхождением в такую-то комнату в такой-то час. Она есть вход из всего, начиная с моей собственной кожи! Когда она кончается, наступает великое возвращенье в себя самое. Пока я Вас люблю, Вы всегда будете находить меня *между* собою и мной; никогда в Вас или во мне. В пути, как струя фонтана или поезд. Какое время когда вмещало любовь, ведь сама душа изливает ее целыми потоками (я тебя люблю невместно! — где? в моем теле!), ведь ее первое слово — «всегда», а последнее — «никогда». Полночь не более ее час, чем полдень, — все это из словаря влюбленных, из обихода — такого расхожего! То, что время вмещает, думая что вмещает любовь — нечто иное. Отказ любить. Дорога, кончающаяся комнатой — лодка, и именно по ней я никогда не давала бежать своим ногам.

Я говорю о Вашем разрешении на внутренний разбег, ибо и его могу сдерживать. Сдерживаю. (Уже не сдерживаю!)

Мне нужно от Вас: моя свобода к Вам. Мое доверие. Мне нужно от Вас: моя любовь к Вам, Вами принятая. — И еще: знать, что Вам от этого не смутно.

Небо совсем светлое. Над колоколенкой слева — заря. Это не-

вино и вечно. Я тебя люблю сейчас, как могла бы любить твоего сына, кем ты должен был бы быть.

Не думай, что я миную в тебе простое земное. Люблю тебя всего — с глазами, с улыбкой, с повадками, с твоей исконной, родной, прирожденной ленью, со всем твоим темным (для тебя, не для меня) началом души: жаления, страдания, отдачи. Что это не на меня, не из-за меня идет — ничего. Я для себя от тебя хочу так многого, что ничего не хочу. (Лучше не начинать!)

Только знай — мой недолгий гость — что никто и никогда тебя... (не настолько, а так. Таким образом, *так именно, так по-моему*). И что я отступив от тебя, уступив тебя: как всё всем, всякому — дорогу, никогда от тебя не отступлюсь.

Рассвет. Я сейчас совсем спокойна, как мертвая, и в этой полной ясности утра и головы говорю тебе: «с тобой мне нужны все тесноты логова и все просторы ночи. Вся ночь вне и вся ночь внутри.»

Какое бесправье — земная жизнь! Какое сиротство!

Жму твою руку к губам. Пиши мне, пиши больше. Буду спать с твоим письмом. Мне необходимо от тебя что-нибудь живое. Все небо в розовых раковинах. Если небо — пляж, что тогда море? Это самый нежный час. Спи спокойно. Первые шаги на улице, наверное рабочий. — И птицы.

Рассвет какого-то июньского дня, суббота.

— ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ —

Несколько слов в Ваш утренний сон: только что рука от нежности все-таки не удержала пера.

У меня к Вам еще два камня, две блаженных горы на сердце — колеблюсь — нужно, чтоб знали, но — если Вы человек — Вам не может не сделаться больно. Буду ждать. Не камни: две лютые мечты, неосуществимые в сей жизни, немислимые в той, врожденная, до меня рожденная жажда, самая тайная жажда моего существа, запечатанная, как колодец камнем Рёнгштаттена, дабы Ундина не смогла возвратиться в лоно свое: обрести *себя*. (Все врожденное есть дорожденное. Наша врожденная жажда — наше родимое море.)

Эти две жажды теснейше связаны: нет одной без другой. То для чего я на свет родилась и без чего мне надо будет уйти.

Кто знает? — Было однажды у Вас — при мне — слово, которое уже тогда (мы увиделись мельком) ожгло меня болью. (Не забудьте: живу наперед, опережая жизнь!)

Когда-нибудь это письмо будет для Вас так же ясно, как эти буквы. Но будет уже поздно.

(Только у большого человека такое письмо не вызовет самодовольной улыбки. У большого — вообще и у большого в любви. Казановы, от меньшего — плакавшего!) Посмертная пометка.

— ПИСЬМО ПЯТОЕ —

25 июня, воскресенье.

Дружочек! Рвусь сейчас между двумя искушениями: Вами и солнцем. Две поверхности: песчаная — этого листа, и каменная — балкона. Обе чистые, обе жесткие и обе усыпляют. И одолевает песчаная!

Вчера не горел свет, и я руки себе грызла от желания писать Вам (от ярости, что не могу). У меня были такие верные, такие вещице — в упор — слова о Вас, к Вам. Неслось и неслось, как поток. Это был *самый мой* час с Вами, час, который у меня отобрали, украли, с ключьями вырвали. Я лежала на полу — и рычала, как собака.

Я сейчас поняла — с другим у меня было *p*, моя любимая (мужественность!) буква:

мороз, гора, герой, Спарта (зверенок-лисенок!): все прямое, твердое, крепкое во мне.

А с Вами: шепота, жжение, малодушие, тишина и — больше всего — «дружочек»!

Мой родной дружочек, знаю, что это безобразие с утра: любовь вместо рукописей. Но это со мной так редко, так *никогда!* Все боюсь, что это мне во сне снится, что проснусь и опять: гора, герой...

— ПИСЬМО ШЕСТОЕ —

26 июня, ночь.

Родной, то, что сегодня слетело на пол и чего Вы даже не увидели — так скоро я его спрятала, было письмо к Б.

Сейчас, когда я пишу это, Вы спите. Боже, до чего я умиляюсь всеми земными приметам в Вас! Усталостью (тигрино-откровенными зевками), зябкостью («не знаю почему — зубы стучат» — у подъезда, — я же знаю: потому что три часа бродил со мной по пустым улицам города и не менее пустынным проспектам моих мыслей. Без единой чашечки «обычного кофе» для тела и без единой улыбки — для души.).

До чего Вы меня умиляете внезапной, еженощной (но непременно) прозорливостью и...

— Но Вы из меня делаете какое-то животное!

Не знаю. Люблю таким.

И еще — меня сейчас осенило. Вы добры: Вам часто жаль того, что необязательно случается с Вами. И еще в Вас есть болевая возбудимость: Вам часто больно и необязательно от чего-то физического. (У меня болит. Что у меня болит? Палец? Нет. Голова? Нет. Зубы? Нет. Тело не болит. Вот что: душа.)

Мой родной мальчик, беру в обе ладони Вашу дорогую головочку — как странно чувствовать вечность черепа через временность волос, вечность горы через временность травы... Теперь слушайте, это настоящая жизнь. Вы спите, я вхожу. Сажусь на край этой огромной кровати-русла реки нашего сна, этой огромной реки сновидений, замечаю свешивающуюся руку, завладеваю ею (такой не мой глагол), несую ее (такое мое действие!) к губам... Вы приоткрываете глаза.

Я Вам рассказываю — всякие нелепости, вы смеетесь, я смеюсь, смеемся. Ничего любовного: ночь наша, что хотим, то и делаем. И счастливая — такая счастливая, что не влюблена — что могу говорить — что не надо целоваться — из чистой благодарности: я Вас целую.

Вы прелестно целуете (уничтожьте мои письма!) — так человечно. В этом больше всего ощущается Ваша душа. (Как я не догадалась раньше: зверь — что может быть одушевленное зверя? 1) ведь стоит только в *anima** убрать *l*, чтобы получилась душа. ** 2) ведь он на целую букву больше души. А если серьезно: зверь — по самой своей сути существо одушевленное. Почти душа.)

С вами не смутно (тяжелой смутой), ничего муторного. Мы не в неведомой стране. Хорошо, очень хорошо, еще лучше, сверх-сил хорошо... Оставаясь при этом собой. Это не зло-деяние, а добро-чувствие и раньше всего: добродушие. Да, Вы добродушны. Вы не враг, не сопреступник. Товарищ. Тьмы Вы сюда не вносите. Только темноты.

Как я бы хотела, как я бы хотела — ведь это нежнейшее, что есть! — Вашего засыпания, какой-нибудь недоконченной фразы, вязнущей во сне, всей предсонной нежности с Вами. Чтобы лучше любить. Ибо тогда души безоружнее и значит более достойны любви.

(«Предсонье.....разоруженье душ»...)

Милый друг, я только в самом начале любви к Вам — еще ничего не было (все будет!) Я только учусь. Вслушиваюсь!

Я бы хотела многих Ваших слов, никогда не скажу каких. Чувство: ничего не опережать, заострить внимание (напряжение ума), замереть, чтоб услышать Вашу жизнь (рождение?). Вся любовь — огромное ухо (меня подмывает сказать: слух — рыб) и как раз поэтому она слепа: ничего не видеть (не знать), чтобы все слышать (понимать). («Бабушка, бабушка, отчего у Вас такие длинные уши? — Чтобы лучше слышать тебя, дочка». О, какие у любви длинные, предлинные уши!)

* зверь — (франц.)

** *anima* (лат.) — душа.

Уши в сторону — из этого может вырасти подлинно огромное, но все можно повернуть самовольно, исказить. Посему давайте замрем.

Придет час, когда мне будет не до смеха — ах, знаю! — но это еще не скоро, и ни от чего в мире, включая Вас, — ни от Вас самих не зависит отдалить или приблизить его.

Это — будет еще одной ступенью бесконечной лестницы: ночи.

Дружочек, загодя предупреждаю: не обманывайтесь внешними признаками: руки и губы нетерпеливы, это — дети, им нужно давать волю (чтобы не мешали!), но не они (губы и руки) играют главную роль: выигрывают. Это будет только переход к.

Спокойной ночи. Прочтите это письмо на ночь, и тут же — выпадающим от сна карандашом — несколько слов мне, не думая.

Сегодня вечером в кафэ мне на секунду было очень больно. Вы невинны, это я безмерна, Вам этого не нужно знать.

Спите. Не хочу ввинчиваться в Вас как штопор, ничего не хочу преодолевать, ничего не хочу хотеть. Если все это — замысел, а не случайность, не будет ни Вашей воли, ни моей, вообще — не будет, не должно будет быть — ни Вас, ни меня. Иначе — ни складу, ни ладу. «Милых мужчин» — сотни, «милых дам» — тысячи.

— ПИСЬМО СЕДЬМОЕ —

28 июня, ночь.

Мой дорогой друг! — Ибо сейчас обращаюсь к безразличной привязанности. Хотите правду о себе, правду, которую Вы никогда не услышите от любящей Вас души, тем менее от не любящей.

Мы сейчас сидели за столиком. Вы слушали музыку, и стихи, и меня. Теперь я дома и одна и думаю. И первая мысль: это человек прежде всего наслаждения. О, не думайте: «наслаждение» — я беру это слово во всей его тяжести и оттого, что я его так беру — мне больно, ибо это — неизлечимо. Не наслаждение: женщины, бега и прочие плотские банальности, а: растение, звук, свет. *Всё* доходит, но исключительно через шкуру, которая у Вас бесконечно *глубока* и которая, боюсь, у Вас вместо души. *Всё* Вас гладит, *всё* по Вас — как ладонью. Мне любопытно: чем Вы слушаете Бетховена? Не говорите: не люблю. Боюсь слишком явной расщелины, ибо бетховенское: «через страдание — к радости» — мое первое и последнее на земле и на не-земле!

Ладонь — люблю, вся жизнь — в ладони, но поймите меня! — нельзя — только ладонь! И есть вещи больше «жизни»!

Служат ли Вам твердая тыльная часть ладони, сила пальцев, упругость кисти? Любить теплое, гладкое, мягкое — велика заслуга! Лучше уж оставаться в материнской утробе.

Стихи Вы любите — даже не как цветы: как духи: приятность, без которой можно обойтись. Разрывается у Вас от них душа? Боль — что она в Вашей жизни? (В моей — всё.) Мой любимый! Если бы

это окончательно было так на все дни Вашей жизни, я бы нынче не говорила этих слов, как ничего не говорят стихотворцу, у которого все стихи — одинаковые нули. Но я еще в Вас верю! Я хочу для Вас боли, но не грубой, когда поленом или железкой по голове и человек тупеет или погибает, а такой: по жилам как по струнам. Как смычок! И чтобы Вы за этот смычок — отдали последнюю душу. — Чтоб Вы жили в ней, поселились в ней совершенно по своей воле, чтоб Вы дали ей в себе волю, отдали все то место в Вас, занимаемое наслаждением, чтоб Вы не разделялись с ней в два счета (вечно-мужским): «больно — не хочу». Чтобы Вы, сплошная кожа (со всей глубиной Вашего кожного покрова), в какой-то час жизни стояли — без кожи. С содранной кожей, живым мясом наружу.

Я не хочу, чтобы Вы — такой — такой — такой — (все восторженные эпитеты, какие только найдете) в искусстве, миновали что бы то ни было «потому, что оно причиняет боль». (Должно быть больно, иначе это «оно» — чем бы оно ни было — не существует, не имеет права называться «оно», оно меньше, чем ничто.) Вы не любите (не хотите) Бетховена и Вам чужд Микеланджело — пусть это будет сила в Вас, а не слабость, преодоление через знание, а не закрытие глаз и затыкание ушей — жалким страусом в пустыне наслаждения! (Ничто так не вызывает у меня представления о наслаждении, как песок, и ощущения песка, как наслаждение. Думал утонуть в море, в целом море, а стал задыхаться в сухом, бесконечно раздробленном, чему никогда не быть целым.)

Ах, мой маленький! Перечисляя Ваши звериные качества («Вы так хорошо знаете, что такое холодно, жарко...»), я забыла одну существенность: что-такое-страшно. Ибо именно страх заставляет Вас не любить Бетховена, тот самый страх, заставляющий выть волка на луну, собаку — под роyleм.

Я не могу Вас слабым, потому что не смогла бы Вас любить. (Любить презирая — для других!)

Будьте слабым в проявлениях, что называется, личной жизни, но есть жизнь без проявлений, и она не терпит ни слабости, ни личных вольностей. Помните, что эпикурейцы из всех искусств жизни лучше всего умели умирать. Эпикурейство обязывает. Будьте...

Это слово случайно осталось последним. Это слово не случайно осталось последним.

Бесконечно (не вдоль времени, а вглубь того, у чего нет времени, что не есть время, что есть не-время) — бесконечно! Вы мне дали так много: всю возможность человеческой нежности во мне, столько сожалений, столько желаний... Сделайте так, чтобы Ваша грудь — эта клетка из прутьев Ваших ребер — меня вынесла, — нет! — чтобы мне было просторно в ней, — нет! — чтобы я растворилась в ней, рас-

ширьте ее, раздвиньте себя — не ради меня: случайности, а ради всего того, что через меня в Вас рвется.

Возьми меня с собой в твой самый сонный сон, я буду очень тиха: только сердце. Мне так бы хотелось однажды — («однажды жила-была» — всю мою жизнь только и было что «однажды жить-будет», однажды, которое *будет* так же сомнительно, как было до него...). Слушай, я непременно хочу, понимаешь? — (я — нет: глагол, время, наклонение так мало мои!). Я непременно хочу в какой-то день увидеть тебя спящим — день, который был бы ночью, — иначе это будет жечь меня (тоска по тебе, спящему, Спящему Красавцу) до самого моего последнего часа.

Поцелуй за меня мою вторую тоску.

Пометка на полях: («У надежды есть крылья». Мои же надежды — камни на сердце: желания, которые, не успев стать надеждами, были отродясь, дородясь — безнадежностями, грузом, груженным грузовиком.

Дай мне Бог никогда ни на что больше не надеяться!)

— ПИСЬМО ВОСЬМОЕ —

2-го июля, ночь.

Милый друг! Как Вы похожи на Ваше письмо (читала его более внимательно, чем Вы — писали). Все та же линия наименьшего сопротивления.

Мне нравится Ваше письмо: перечитывала его за два дня — четыре раза. Я бы одно только хотела знать: для меня ли Вы его писали или для себя?

...Не гребя, по течению, на спине — Вашей и волны. Как это у Вас еще хватило силы держать перо? (Не силы — действенности!)

Все места, которых сразу не разобрала, так и остались темными. Утешаюсь тем, что там, должно быть, — самое любовное. Вы зря считаете Ваше письмо «косноязычным». Всё абсолютно связно, плавно, *плывуще*. Не заика тот, кто запинается нарочно. Ничего темного, кроме почерка. — А Вы уже вообразили, что тонете в лирическом потоке?

Вы любите слова, Вы к ним нежны, и Ваша нежность ко мне — на самом деле к ним. Я не знаю, любите ли Вы глагол, требующий большего, требующий всё. Но точно знаю: Вы любили меня через мои стихи. Другие любили мои стихи через меня. В обоих случаях скорее терпели, чем любили. Чтoб было совсем ясно: меня всегда было несколько больше для людей, со мной соприкасавшихся: «несколько» — читайте: на большую половину, на еще одну меня или меня живущую или живущее во мне моими стихами. Никому не приходило в голову, что это — два лика одной и той же силы, силы, спо-

собной принимать тысячи ликов и быть тем не менее единым целым. Но у Вас уже напрягается чело — от благородного усилия сосредоточиться — и также напрягаются желваки — от не менее похвального усилия подавить неудержимую зевоту.

Впрочем, как говорят немцы, «Ich schenke es Ihnen» (по-французски: я Вам это прощаю). Подарите мне в ответ мундштук — только чтоб ни из янтаря, ни из серебра, ни из пенки, ни из слоновой кости, ни из всего, что пахло бы обладанием. Я свой вчера потеряла, во время большой прогулки с Б. Список моих просьб растет (По слову одной женщины-поэта: «Сколько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает» ...В данном случае — сколько просьб у любящей!).

Вчера с иронической рыцарственностью весь вечер защищала Вас. Все упреки к Вам — справедливы, но это мое дело, а не их — ведь ни у кого не хватило души (простодушия!) пострадать от Вас, кроме меня. «Из-за него мы теряем время!» «Из-за него» я теряю — большее.

Есть нежные слова в Вашем письме, глядящие по-сердцу: слова-ладони. С таким письмом хорошо спать. — Спасибо. И праведные слова — в моем: которые должны выправить Ваше сердце: слова-вербные ветви. С таким письмом хорошо бодрствовать. Благодарите.

По Вас не скучаю — пока, но (знаю себя) через три дня бы заскучала. (У меня свой счетчик разлук.) И потом — Вы дома, очень думать о Вас значило бы — и Вас заставить подумать обо мне, то есть из дому — увести на воздух, высвободить Вас. А я против даже самого освободительного насилия.

А если сами думаете обо мне — Вам меня уводить не приходится, я уже уведена из всех земных мест и из самой себя к единственному, до которого мне никогда не дойти. (Какое малодушие говорить Вам такое!) И для вящей точности и дабы не обременять Вас — даже тенью ответственности: *я уродилась уведенной!*

Продолжайте писать мне. Второе письмо — испытание. Испытайте себя!

«Нежность на исходе» (от растраты). Это глубоко и правильно, но это не всё. И смотрите: от «на исходе» (нежности или всякой другой силы) — неизбывность. Чем больше даем, тем больше остается, начинаем растрчивать — тут же прибывает! Вскрываем жилы — свои — и вот мы — живой родник.

... Я бы хотела прочесть Ваши стихи. — Дадите? — Прочту внимательно и скажу правду. (Правда! какой прелестный соблазн для любителя и любимого, которые только и живут тем, что скрывают ее от себя. Оттого, видно, и не дал. Пометка на полях.)

Вы, конечно, не напишете мне ни строчки — потому что у Вас есть мои стихи. Вы вроде ребенка, которого учат ходить, соблазняя яблоком — протягивают, но не дают, так как стоит ему завладеть яблоком, он больше не делает ни шагу. Вы это яблоко заполучили.

Вы не напишете мне: днем — море, вечером — сон.

Когда я уеду — и вот, не знаю, что дальше. Вижу себя, глядящую

(согласно Вашему определению, возможно, это так и есть) вполоборота, через плечо, но не на Вас, дружок: на себя — эту, которую я уже начинаю преодолевать.

Мой родной! Завтра или послезавтра спрошу Вас, что в точности Вам снилось во втором часу ночи, нынче, в воскресенье. Мне приснилось, что Вы умерли.

Помню Ваши утренние волосы: кудрявые, и дневные: проборные, и ночные: лохматые — самые юные. И всю Вашу небрежную нежность. Но слишком думать о Вас нельзя.

Спокойной ночи. Если Вам сейчас мирно спится — то, конечно, моей милостью. Я бы могла быть коварной, как другие, но это не была бы я, и если бы Ваша любовь ко мне была результатом моего коварства, Вы любили бы не меня. (Смогла бы я быть коварной, подобно другим?)

Я отродясь больше любила убаюкивать, а не лишать сна, кормить, а не лишать аппетита, образумливать, а не заставлять терять голову. Мне отродясь было дороже давать, чем лишать, давать, чем получать, давать, чем — иметь.

P S. (Внезапная мысль) Подлинный палач, палач средневековья, имевший право поцеловать свою жертву, — тот, кто предаёт смерти, а не тот, кто лишает жизни. Это не одно и то же. Подумайте над этим.

— ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ —

9 июля, полночь.

От сосредоточения (напряжения) мне страшно захотелось спать. Я ждала Ваших шагов, мне не хотелось, чтобы я когда-нибудь смогла сказать себе, что проглядела Вас — в трижды печальном смысле: упустить случай, не заметить Его Высочества и, — как ребенка — проглядеть глаза в ожидании матери, — хоть раз по своей вине. Я легла на пол — головой в дверях балкона, на совершенно плоском и твердом, чтобы не заснуть. Подымаю глаза: две створки двери — и все небо. Шагов было много, я скоро перестала слушать, где-то играла музыка, я вдруг почувствовала свою низость (всех последних дней с Вами — о, обиды нет! — я была малодушной, Вы были собой). Я знаю, что я не такая, — это только потому, что я пытаюсь — жить.

Жить — это кроить и неустанно кривить и потом выправлять и ни одна вещь не стоит (да и не стоит! простите эту грустную, серьезную игру слов).

Как только я пытаюсь жить, я ощущаю себя последней захолустной швейей: ей никогда не сшить ничего красивого, она только портит работу и ранит пальцы, и вот, бросив всё: ножницы, лоскутья, нитки, она пускается петь. У окна, за которым льет вековечный дождь.

Я еще полна этим пустым небом. Оно плыло, я лежала неподвижно, я знала, что я, лежащая, пройду, а оно, плывущее, останется, пребудет. Небо плывет вечно и безостановочно: и я всё прохожу безостановочно и вечно. Я — это все те, которые так лежали и смотрели, будучи так лежать и смотреть. Видите — я тоже «вечна».

Я ли — этим утром? Это просто была не я. Разве я — могу кроить и рассчитывать? Я могу рваться — да! — как ребенок: к тебе! — раскинуть руки: одну — к востоку, другую — к западу, но больше... но меньше... Нет, это жизнь — насильница душ — заставляет меня силой играть этот фарс.

Подбирать на коленях лоскутья (урезки) после такой кройки?... Нет и еще раз — нет. Завожу руки за спину. И — прямость хребта!

Разве могла я искать — даже ради Царства Небесного! — такого осуществления — такой ценой? Мой дорогой друг, должно быть небо — и для любви. Не над-ложное. А радужное.

Мой дорогой друг, Вы не пришли сегодня вечером, потому что писали письма (своим). Мне уже не больно от таких вещей — приучили — Вы и все, Вы ведь тоже вечны: неисчислимы (как та я: на полу и в небе). Все тот же Вы, не идущий к все той же мне, все так же ждущий его.

Когда Вы когда-нибудь, на досуге, перечтете мои записные книжки — не только ради формулы и анекдота — когда Вы их перечтете, чтоб найти там меня живую, Вы заново увидите нашу встречу.

В жизни со мной поступали обычно, а я чувствовала, как было обычно *для меня*. Поэтому никого не сужу.

От Вас как от близкого я видала много боли, как от чужого — только доброту. Никогда не чувствовала Вас ни тем, ни другим, боролась в себе за каждого — значит: против каждого.

Это скоро кончится — чую — уйдет назад, *под* веки, за губы. — Вы ничего не потеряете, стихи останутся. Жизнь прекрасно разрешит задачу, Вам не придется стоять распятием между своими и «другой» (да простят мне Бог и Ваше чувство меры — от которого я так безмерно страдала! — непомерность сравнения).

Родной! Вне всех любезностей, ласковостей, нежностей, бренности, низостей — Вы мне дороги. Но мне с Вами просто нечем было дышать.

Я знаю, что в большие часы жизни (когда *Вам* станет дышать нечем, как зверю, задохнувшемуся в собственном меху) — минувя мужские дружбы, женские любви и семейные святости — придете ко мне. По свою бессмертную душу.

А теперь — спокойной ночи. Целую Вашу черную головочку.

— ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ,
НЕВОЗВРАЩЕННОЕ —

— ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ, ПОЛУЧЕННОЕ —

29 октября 19...

Вы поймите, мой друг, как мне трудно писать: я сознаю себя кругом виноватым, виноватым прежде всего в отсутствии той воспитанности, внутренней и внешней, которую Вы так цените. Но постигает же людей чума, и я впал на многие месяцы в состояние жестокой прострации, полного оглушения и онемения.

Все проходило мимо, и никакие силы не могли бы заставить меня делать то, что делать было необходимо. Сейчас, когда я Вам пишу, все это — позади, и я чувствую какую-то особенную, послеболезненную бодрость. Мне очень тяжело, что мое молчание могло Вас навести на ложные предположения. Спящие не ходят на почту. (Пометка на полях: но все же ходят в ресторан!) Прошу этому верить.

Я возвращаю Вам письма, дабы у Вас была полная уверенность в том, что они — не у меня. Я оставил только одно — последнее, переданное Вами в день отъезда. Оно мне дорого, как завершение какого-то пути, как последнее слово удаляющегося голоса. Впрочем, если Вам не по себе от этого листочка в моих руках — верну его тотчас.

Я шлю Вам (заказным):

- 1) 2 конверта с письмами
- 2) толстую синюю тетрадь
- 3) стихи 19...
- 4) стихи 19...
- 5) две записных книжки
- 6) книжки с автографами X
- 7) Buch der Lieder

Книжечку цвета замши, куда Вы записывали стихи, посвященные мне, я оставил. Не в виде документа или памятки, а просто как кусок жизни, переплетенный в кожу. Если это не по праву, если это вопреки Вашим «законам», — у Вас они есть на всё! — напишите, пришлю.

Ради Бога вышлите как можно скорее книгу Б. с посвящением, которую я зыбыл у Вас взять перед Вашим отъездом. Вы знаете, сколь я дорожу автографами! Экспресс-заказным, пожалуйста! Не буду спать спокойно, пока ее не получу.

* Книга песен — (нем.)

Если напишете — ответу без промедления. Я проснулся. У меня отшибло память на события личной жизни. Помню человеческое и общее. И Вас помню на балконе, лицом вверх и глазами в ночное небо, равно безжалостное для всех.

Х. шлет Вам привет и просит прислать что-нибудь для его журнала. Что пишете нового? Продолжаете ли переводить «Флорентийские ночи»? Из записных книжек не хотите чего-нибудь смастерить? Много ли новых стихов? Пришлите, пожалуйста, в память о былом. Желая Вам всяческого добра. — — *Пометка на полях:*

«Все люди берегли мои стихи. Все — возвращали мне мою душу (возвращали меня к моей душе)». —

Кстати, о коже: «кусочек жизни, переплетенный в кожу» — противная ассоциация. И еще: плохо сказано — три слова вместо одного — сердце. (Сердце в коже). Кроме того, не сомневаюсь, что наряду с остальными, моему корреспонденту сильно нравилась сама видимость «книжечки» («толстую-то синюю тетрадь» он мне вернул!) — замша столь же приятна на вид, как и на ощупь и на запах.

Так, и на этот раз оправдалась — с почти нежданной естественностью и негаданной очевидностью — моя о нем «кожа».

— ПОСЛЕДНЯЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ НОЧЬ —

Новогодняя ночь. Бал-маскарад. Залы, гостиные. В одной из них с притушенным светом и удушливой мебелью — нищая заемная роскошь! — я, без маски, в кругу нескольких знакомых.

Врывается шумный хоровод в костюмах, один отделяется от группы, подходит, кланяется. Белый бурнус, тюрбан. Маски нет.

— Вы меня узнаете?

— Нет.

— Вглядитесь, разве костюм может так изменить меня? (Я «вглядываюсь»).

— Неужели Вы меня и впрямь не узнаете? (Его голос, сперва радостный, все больше выдает уязвленное самолюбие.)

Молодое, довольно привлекательное лицо. Смуглые волосы.

Я, нетвердо: — Да-да, у меня сейчас такое впечатление, что мне действительно, кажется, приходилось, быть может, Вас однажды где-то видеть... Скорее слышать... Мне кажется, что Ваш голос для меня не...

(Смотрю еще раз.) — Нет-нет, я решительно вижу Вас впервые!

Вокруг оживленно-изумленные смешки, возгласы, и из глубины всего этого гула — явственно:

— Я — (такой-то).

— Вы? Господи! Извините ради Бога, но я так плохо вижу, и у

меня нет никакой зрительной памяти, да и не виделись мы очень давно, и к тому же у Вас были тогда усы.

— У меня усы? Я в жизни не носил усов!

— Не может быть! Я точно помню: маленькие такие усики, щеточкой.

— Уверяю Вас, клянусь, что я в жизни не...

Другие, вмешиваясь: — Вы ошибаетесь, мадам, Вы его принимаете за кого-то другого, он действительно никогда не носил усов!

— Странно. Я точно помню. Вот такие маленькие, щеточкой.

Он, в отчаянии: — Я *никогда* не носил никаких усов — маленьких или больших, щеточкой или под Вильгельма!

Я, тронутая тем, что незнакомец так огорчился из-за меня:

— Ну что Вы! Успокойтесь! Я Вам верю! И все-таки — странно: я точно помню: черненькие усики. Впрочем — постойте, постойте! — не могли ли это быть очки? Наверняка это было что-то, чего сейчас нет — да, конечно очки, а усики щеточкой — это были брови. (И соотнося): Большие брови. Так оно, должно быть, и было. Только все равно удивительно — я точно помню...

— И в самом деле удивительно.

Он, уязвленный, удаляется.

Руку на сердце: узнала ли я его или нет? Неужели я его так напроць не узнала?

В первое мгновение — да (то есть нет), во второе — что-то мелькнуло, в третье — я уже *знала* (узнала) голос, не лицо (которое, кстати, я так и не узнала), но под воздействием моего первого правдивого «нет», уже взятого тона, я продолжала не узнавать до последнего.

С тех пор — ни слова. Иногда я слышу о нем — всегда одно: дела идут скверно, сын взрослеет.

Ну а усы? В усы я верила совершенно искренне. Я не только их помнила, но едва он назвался, я их *увидела* и увидела, что их не хватает. И эти «щеточки бровей» вовсе не были выдумкой ради забавы. Было видение чего-то над чем-то. А было ли это два уса над парой губ или пара бровей над очками — это уже деталь, знать которую должен он, а не я. Довольно с него и «щеточки».

Надо ли еще говорить, что он никогда не носил очков?

ПОСЛЕ-СЛОВИЕ
или
ПОСМЕРТНОЕ СЛОВО ВЕЩЕЙ

Мое полное забвение и мое абсолютное неузнавание сегодня — лишь тождественность твоего абсолютного присутствия и моей полной поглощенности вчера. Насколько ты был — настолько тебя нет. Абсолютное присутствие с обратной стороны. Абсолютное может быть только абсолютным. Такое присутствие может стать только таким отсутствием. Вчера — всё, сегодня — ничего.

Мое полное забвение и мое абсолютное неузнавание — лишь эхо (увеличенное!) Вашего собственного забвения и неузнавания — неважно, узнаете ли Вы меня на улице или нет, справляетесь ли обо мне или нет.

Если Вы не забыли меня, как я забыла Вас, то это потому, что Вы никогда не болели мной так, как болела Вами я. Если Вы меня не забыли абсолютно, то это потому, что в Вас нет ничего абсолютного, даже равнодушия. Я кончила тем, что не узнала Вас; Вы же и не начинали меня узнавать. Я кончила тем, что забыла Вас, в Вас же никогда не было меня настолько, чтобы было что забывать. Что такое забыть кого-то? Это забыть причиненные им страдания.

Я больше не знаю о Вашем существовании, Вы же никогда не знали, что я существую.

Чтобы мне, не знавшей вчера ничего, кроме Вас, не узнать Вас сегодня, надо было именно не знать вчера ничего, кроме Вас. Мое забвение Вас — еще один патент на благородство. Удостоверение Вашего достоинства в прошлом.

Посмертная месть? Нет. Во всяком случае — не моя. Какая-то сила (великая сила!) мстит за меня и через меня. Вас интересует ее имя, которое я еще не знаю? Любовь? Нет. Дружба? Тоже нет, но совсем близко: душа. Раненная душа во мне и во всех других женщинах. — Раненная Вами и всеми другими мужчинами, вечно ранимая, вечно возрождающаяся и в итоге неуязвима.

Неизлечимая неуязвимость.

Это душа мстит за себя, покинув Вас, в ком она находила кров и кого укрывала лучше, чем море укрывает берег, — и вот Вы наги, как пляж с оставшимся от моего прилива: башмаками, досками, пробками, обломками, щебнем — моими стихами, в которые Вы, до сих пор ребенок, играете — это она мстит за себя, ослепив меня настолько, что я забыла Ваши черты, прояснив мне Ваши *настоящие*, которые я бы никогда не полюбила.

Перевел с французского
Юрий Клюкин.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей

1

Марина Цветаева. Стихотворения	6
Сергей Эфрон. О добровольчестве	50
Октябрь (1917 г.)	59
Н. А. Клепинин. Из книги «Святой и благоверный Великий князь Александр Невский,»	92

2

«Я возвращаю себе свободу»	108
Петер Хубер. Смерть в Лозанне	120
Н. Катаева-Лыткина. 145 дней после Парижа	129
Маэль Фейнберг, Юрий Клюкин. «По вновь открывшимся обстоятельствам...»	145

3

Письма Марины Цветаевой	167
Письма Ариадны Эфрон	190
Письма Георгия Эфрона	210
Письмо А. Сеземана	225

4

Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний	228
Из неопубликованных воспоминаний	241
Дмитрий Сеземан. На болшевской даче	244
С. Н. Львова. «Тогда жили страшной жизнью»	252
И. Горошевская. «...Мне кажется, что я видела всех вчера»	266
«...Он был незаурядной личностью»	273
Нина Гордон. Из воспоминаний	279

5. Приложение

Марина Цветаева. Девять писем с десятым, невернувшимся и одиннадцатым, полученным, — и Послесловием	297
--	-----

Подписано к печати 04.12.92. Формат 84 × 108/32
Бумага офс. Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Тир. 5 000 экз. Заказ 451

Издательство "Писатель"

Набрано в МП "Ин-фолио" 7005 Москва, Денисовский пер., 30

Отпечатано в Московской типографии № 13
107005 Москва, Денисовский пер., 30

В альманахе публикуются стихи Цветаевой и ее письма.

Впервые в нашей стране публикуется статья Сергея Эфрона «О Добровольчестве» и его очерк «Октябрь 1917 года». Так же впервые публикуются отрывки из книги Н. А. Клепинина «Святой и Благоверный великий князь Александр Невский».

В статье Питера Хубера и воспоминаниях Эльзы Порецкой рассказывается об убийстве около Лозанны резидента-невозвращенца советской разведки Игнатия Рейсса, порвавшего со сталинским режимом. Публикуется и его письмо в ЦК ВКП. В связи с этим убийством С. Эфрон и Клепинины вынуждены были бежать из Франции. В статье Н. Катаевой-Лыткиной «145 дней после Парижа» рассказ о жизни Цветаевой в Болшеве. М. Фейнберг, Ю. Клюкин публикуют материалы реабилитационного дела Эфрона.

В альманахе собраны письма и воспоминания всех, кто жил в 1938—1939 году на даче в Болшеве: Ариадна и Георгий Эфрон, Алексей и Дмитрий Сеземан, Софья Львова, Ирина Горошевская.

В приложении дан новый перевод эпистолярной повести Цветаевой «Девять писем...» Альманах иллюстрирован редкими фотографиями и документами, многие из которых публикуются впервые.

Благотворительный выпуск
В пользу дома-музея Марины Цветаевой
в Болшеве

ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ 1992